80 коп. ИНДЕКС 73274

Дорогие читатели!

Желающие иметь в своей библиотеке
новый исторический роман
Валентина Пикуля "Барбаросса",
посвященный Сталинградской битве,
могут подписаться на журнал "Наш современник"
с № 2 1991 года.

Наш современник, 1990, № 11, 1–192.

ISSN 0027–8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России



№11 1990

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! РОССИЯНЕ!

К вам обращается Клуб друзей журнала "Наш современник" на Кавказских Минеральных Водах.

Наш клуб существует с начала 1990 года, среди нас люди разных политических взглядов и философских убеждений, но всех нас роднит стремление к национальному единению, желание видеть нашу землю богатой, сильной, единой.

На своих встречах мы обсуждаем публикации журнала, приглашаем с выступлениями деятелей культуры, политиков, представителей казачества.

Сейчас, когда под угрозу поставлена целостность России, создание таких патриотических обществ крайне необходимо.

Космополитические силы, которые смотрят на Россию как на сырьевой придаток или полигон для очередного эксперимента, заинтересованы в очередных великих потрясениях и предвещают нам "распад империи" как полезную необходимость, хотя любая страна заботится о целостности своих земель.

Так неужели мы распродадим в вечную аренду то, что вручили нам наши предки, что создавали веками и за что отдавали жизни!

Не получится ли так, что в результате многочисленных "суверенитетов" русским не найдется места в своей стране? Неужели мы станем инородцами на своей земле?

Мы призываем к созданию Клубов друзей журнала "Наш современник", а также к созданию других патриотических обществ во всех городах и весях. Мы за тесное сотрудничество со всеми организациями и гражданами, кому дорого величие России, во имя возрождения святого нашего Отечества!

Для желающих сотрудничать с нами наш адрес: 357600, г. Ессентуки, ул. Белоугольная, 14б/7, Клуб друзей журнала "Наш современник" на Кавказских Минеральных Водах.
ПОПОВИЧ В. Г., ЧЕСНОКОВ И. В., КРАСНЫХ В. Н., ГОРНОВ А. В., АНДРЕЕВ Ю. П.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

В адрес нашей редакции приходит масса подобных писем. Яркое и взволнованное обращение подписчиков из г. Ессентуки заставило нас как-то по-новому взглянуть на наше с вами единение, давно уже ставшее явлением общественным, выходящим за рамки литературного процесса.

Наш журнал, на протяжении многих лет восполняя потребности пробуждающегося русского самосознания, естественным образом обретает сегодня новое качество в общественно-политической жизни, становится одним из центров движения за возрождение национальной самобытности.

Обширная почта и встречи с многочисленными аудиториями читателей убеждают, что от нас ждут реальных действий по духовному единению всех патриотических сил, группирующихся вокруг журнала. Сегодня во многих городах страны существуют Клубы друзей "Нашего современника". Однако им не хватает конкретной и организованной работы в деле становления культурно-патриотических структур, несущих народу правду о своем Отечестве, любовь к своим традициям и истокам.

Дорогие читатели! Мы горячо поддерживаем инициативу подписчиков из г. Ессентуки и предлагаем вам объединяться в каждом областном (и, разумеется, любом) городе в Клубы друзей "Нашего современника".

Мы просим сообщить нам адрес вашего клуба для налаживания с ним конкретного делового контакта. Имеется в виду приезд к вам наших представителей, публикация на страницах журнала наиболее важной и интересной информации от вас, координация культурно-просветительской и патриотической работы.

Дорогие читатели! Мы ждем ваших инициатив, смелых решений, требующих единства действий всех патриотов в этот час испытания для нашей Отчизны.

Редакция.

НАШ СОВРЕМЕННИК



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР

№11 1990

ИПО
«ЛИТЕРАТУРНАЯ
ГАЗЕТА»
МОСКВА

Содержание

И. о. ответственного секретаря **З. С. Гуляевская**
Технический редактор **Л. Л. Ежова.** Корректоры **М. И. Кононова, Л. Н. Тихонова**

Адрес редакции: 103750, ГСП Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 200-24-94 (заместители главного редактора), 921-43-59 (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-24-28 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 928-32-16 (международный отдел), 200-24-32 (технический редактор), 200-23-54 (корректоры), 200-24-12 (зав. редакцией), 200-24-76 (отдел писем).

Сдано в набор 14.08.90. Подписано к печати 21.11.90.
Формат 70×108 1/16. Бумага типографская № 2. Печать высокая.
Усл. печ. л 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 21,63. Тираж 467 388 экз. Заказ 2062

ИПО «Литературная газета». 103750, Москва, Цветной бульвар, 30
Ордена «Знак Почета» типография «Красная звезда».
123826, Москва, Хорошевское шоссе, 38.



ПЕТР ГОНЧАРОВ

КУДА ИДТИ РОССИИ

Очередное тысячелетие мировой истории завершается под знаком самого значительного события второй половины XX века, события, получившего наименование «перестройка».

История реформ дает широчайший выбор аналогов, в которых силы реформаторства, воспринимая цели и процесс преобразований субъективно, через свое сознание, не ведали о том, какую мощь всесокрушающей энергии человеческого сообщества они будили. Субъективное уступало место объективному, менялись действующие лица и декорации, на этом пути часто исчезали в небытие люди и народы — изменялось лицо мира.

Перестройка, как процесс политических преобразований на одной шестой суши планеты имеет значение истока грядущих геополитических изменений. На наших глазах пришли в движение границы государств Европы. Казавшийся навечно установившимся консенсус европейского сообщества вновь стал заложником грядущих взаимных территориальных претензий и межэтнических противоречий, на политическом горизонте Европы рука об руку с единой Германией возникает призрак балканских проблем.

Политические преобразования в СССР можно характеризовать лишь одним собирательным понятием — антитоталитаризмом, и при всей высочайшей гуманистичности этой цели путь к ее достижению диалектичен — созидателен настолько же, насколько разрушителен.

Геополитический правосубъект — унитарное государство СССР шаг за шагом утрачивает себя. Интенсивный процесс политического разгосударствления, громадный товарный долг уставшим от отчаяния гражданам, дефицит государственного бюджета и растущие внешнеэкономические задолженности по кредитам с тающей унитарной возможностью распоряжаться, владеть и пользоваться «всенародным достоянием» — все это превращает некогда единое и могущественное государство в политический фантом.

В дополнение к этому следует учитывать, что одна за другой республики, отстаивающие полный суверенитет от СССР, выставляют и свои требования — раздела валютного и золотого запасов, компенсаций за ущербы, категорически отказываясь выступать правопреемниками не только по «унитарному наследству» (национальному богатству СССР), но и по обязательствам и долгам.

В этих условиях возникает правомерный вопрос — кто наследует долги СССР, сегодня гораздо большие, чем были у России в период первой мировой войны.

Ответить на этот вопрос без анализа экономических взаимоотношений унитарного СССР и его основы — РСФСР, непосредственно и полностью интегрированной в экономическую структуру Союза, невозможно.

СКОЛЬКО СТОИТ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ?

Основные экономические показатели РСФСР с точки зрения ее места в экономике СССР — стоимость основных фондов, объем продукции и другие — располагаются в промежутке от 60 до 70% соответствующих общесоюзных показателей. Закономерность компактной группировки экономических показателей РСФСР подтверждается и удельным весом РСФСР в производстве национального дохода СССР (60% и выше).

В 1988 году при формировании государственного бюджета СССР применялась норма его отношения к производству национального дохода, равная 71%. При равноправных экономических взаимоотношениях между союзными республиками этот норматив должен быть применен и к расчетному бюджету РСФСР за 1988 год.

По этой норме бюджет республики должен составлять 269,8 млрд. рублей. Фактический бюджет составил 129 млрд. рублей. 37% национального дохода РСФСР было изъято в союзный бюджет, и абсолютная величина изъятия составила 141 млрд. рублей.

Такого рода изъятия год за годом повторяются, и 1988 год — не самый тяжелый год финансовой разверстки, удельно,

пожалуй, значительно уменьшившейся за последние 45 лет.

Эти изъятия — цена «интернационального долга» перед братскими республиками, их нерушимого Союза.

Попытаемся разобраться в механизме этих изъятий, понять, что изымается — лишнее или фатально необходимое. Кем изымается и у кого.

КАЗНА ВОЮЕТ, А СУМА ГОРЮЕТ

Существует несколько основных классов формирования государственного бюджета и активов Государственного банка, по которым производятся изъятия финансовых ресурсов в союзную мошну:

— часть налога с оборота;

— плата за основные промышленно-производственные фонды;

— часть прибыли предприятий, расположенных на территории РСФСР;

— кредитные ресурсы банков РСФСР и Госстраха РСФСР.

Можно расчетно установить абсолютные величины изъятий по этим классам на примере 1988 года. Объем розничного товарооборота по РСФСР составлял в 1988 году 210,6 млрд. рублей. 10% этой суммы получены от реализации импортных товаров, а 90% их цены поступает в союзный бюджет. В 1988 году союзный бюджет пополнился 19 млрд. рублей из 21 млрд. рублей, выплаченных населением РСФСР за импортный ширпотреб.

Объем собственного товаропроизводства в РСФСР за тот же год составил 186,3 млрд. рублей. Посчитать налог с оборота на эту сумму не представляется возможным, так как отрасли и территории имеют целую «россыпь» нормативов налога с оборота. Расчетно оценить этот налог мы можем как не менее чем 40% от цены реализации (экспертная оценка составит 74 млрд. рублей). Из этой суммы часть средств изымается в союзный бюджет, а часть остается в распоряжении бюджета РСФСР. Даже если мы предположим, что союзная «щедрость» достигает 50% от объема начислений налога с оборота (этот налог не платит Якутская АССР и некоторые другие регионы), сумма изъятий составит 37 млрд. рублей.

Итак, операциями по налогу с оборота из бюджета РСФСР изымается не менее чем 56 млрд. рублей (19 млрд. руб. + 37 млрд. рублей).

Еще более интересная картина оказывается при расчетах платы за основные промышленно-производственные фонды. Первоначальная стоимость фондов 1835,5 млрд. рублей (по территории РСФСР). От платы за фонды освобождено сельское хозяйство и целый ряд отраслей. Оценочно можно считать исходной для расчета суммой 0,7 — 0,8 триллиона рублей, 6% от этой суммы составляет не менее чем 48 млрд. рублей.

Доходы народного хозяйства СССР от экономики РСФСР составили в 1988 году 165,6 млрд. рублей, из них изъято в союзный бюджет 36,4 млрд. рублей.

Итак, 56 млрд. рублей налога с оборота + 48 млрд. рублей платы за фонды + 36,4 млрд. рублей отчислений от прибыли составляют 140 млрд. рублей, изъятие которых мы и пытались анализировать.

КУДА ИСЧЕЗЛИ ПУШКИ, ТАНКИ, КУДА ИСЧЕЗ НАШ САМОЛЕТ?

С пугающей легкостью поиски исчезнувших 141 млрд. рублей привели к несомненным следам 140 из них. Как же так? Государственная статистика учитывает весь произведенный продукт, вне зависимости от его назначения, в величине валового и чистого продукта, произведенного на данной территории. Нами найденные 140 млрд. рублей имеют цивильный характер и к военно-промышленному производству никакого непосредственного отношения не имеют. Между тем известно от Президента СССР т. Горбачева М. С., что на территории РСФСР дислоцировано 90% оборонных предприятий, подчиненных Государственному комитету Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам. Известны официальные данные затрат на нужды обороны — 50 млрд. рублей, из которых около половины расходуется на приобретение боевой техники и снаряжения. Если приобретается такой продукции на 25 млрд. рублей и 90% производится на территории РСФСР, то 22,5 млрд. рублей должны оставить следы в величине соответствующих общеэкономических показателей РСФСР.

Более того, на состоявшейся в 1990 году советско-американской конференции экономистов СССР и экспертов ЦРУ США утверждалось, что военные расходы СССР составляют 200 млрд. рублей, из которых 100 — стоимость боевой техники и снаряжения. Но тогда на территории РСФСР производится такой продукции не менее чем на 90 млрд. рублей.

Исходя из этих расчетов ясно, что в величине валового и чистого продукта, производимого на территории РСФСР, есть неучтенная часть, что эта часть изымается непосредственно общесоюзным механизмом, что мощный промышленный Китеж — прибежище современных технологий и достаточно высокой культуры производства практически не участвует в народном хозяйстве РСФСР, несомненно участвуя в освоении тощих фондов общественного потребления и социальной инфраструктуры республики.

В таком случае возможны оценки не полученного республикой экономического эффекта. К такого рода потерям следует отнести и валютные поступления от реализации военной техники и снаряжения, составляющие ежегодно 2 млрд. долларов США, и расходы на социальное и инфраструктурное обеспечение каждой семьи, члены которой трудятся на оборону, и многое другое.

Правда, косвенный источник покрытия затрат на оборону с достаточной степенью вероятности может быть определен — эту функцию могут исполнять изымаемые союзным механизмом кредитные

ресурсы банков РСФСР и резервы Госстраха РСФСР, а это не менее 60—70 млрд. рублей ежегодно.

Тогда и изъятия активных финансовых ресурсов выглядят по-другому — вместо 141 млрд. рублей следует говорить о 200 млрд. рублей.

ПОЧЕМ ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ?

Для не посвященного в дебри практической экономики человека сотни миллиардов рублей, левов или долларов также неосязаемы, как понятие «бесконечность». Для романтика вместо 200 млрд. рублей могут встать силуэты 74 000 домов по 200 квартир каждый или 2,5 млн. рабочих мест на селе, да еще и с жильем. Все это было бы возможно, если бы изымаемые 200 млрд. рублей представляли собой чистый доход.

Строгий экономический расчет показывает, что изымается не «жирок», а живая кровь экономики Федерации. Судите сами.

При первоначальной (учитываемой в расчетах платы за фонды) стоимости всех основных фондов на территории Федерации 1,8 триллиона рублей остаточная (реальная с учетом износа) их стоимость составляет всего 560 млрд. рублей. Иначе говоря, все основное оборудование на территории РСФСР изношено на две трети.

Если не произвести опережающие убыль капитальные вложения в основные фонды, то через 10—15 лет в РСФСР не на чем будет работать. Объем таких капитальных вложений не должен быть менее 120 — 130 млрд. рублей ежегодно. Реально планируются суммы, не превышающие 0,5—0,3 потребности, вдвое меньшие необходимых. Трагичность ситуации заключается, в конечном счете, не в исчезновении 200 млрд. рублей, из которых 130 млрд. рублей необходимы как воздух. Рубли не станки, и инвестиция на бумаге не спасет основные фонды Федерации. Все машиностроение РСФСР ежегодно выпускает продукции не более чем на 10—12 млрд. рублей. Если восстановление обветшавших основных фондов вести такими темпами, потребуется лет 70. Такого запаса времени у экономики РСФСР нет. Вот где аукнулись техническое перевооружение и реконструкция на базе комплектного импортного оборудования столь модное в течение последних 25 лет. Практически с начала 60-х годов отрасли СССР стали закупать на «шальные нефтедоллары» не западные технологии, не лицензии, а готовые заводы на условиях комплектной поставки. Эти производства не имели будущего, так как не могли создавать себе подобных — они могли лишь прийти в негодность.

В то же время отечественное машиностроение, на себе вытащившее народное хозяйство СССР из разрухи после войны, оказалось не у дел. Подавленное отечественное машиностроение само нуждается в восстановлении, а значит, и в инвестициях, а тут уж и 200 млрд. рублей в год немного.

Тают силуэты 74 000 домов по 200 квартир каждый, исчезают как призрак уютные сельские дома. Общество, презревшее свои собственные творческие потенции, жаждущее получить, наконец, товары народного потребления, должно вновь произвести индустриализацию своей экстенсивной экономики, восстановить разрушенное хозяйство, начиная с перестройки группы А.

Оборудование бездушно. Изношенные технологические линии химических комбинатов столь же опасны, как и ненадежное оборудование АЭС. Грядут технические катастрофы, перед которыми бледнеют последствия Чернобыля, и общество, не сумевшее оказаться впереди, бросить все свои силы на остановку грядущих трагедий, окажется не только без зарубежных супермаркетов, а и без среды жизнедеятельности.

Уберечься от этой опасности не помогут западные кредиты на закупку ширпотреба за рубежом.

КАК РАБОТАЕТ РОССИЯ, КАК РАБОТАЮТ В РОССИИ

В каком состоянии находятся средства производства в РСФСР — ясно. Следует, вероятно, разобраться с мифом о русском работнике — лентяе, любителе выпить, да еще и не знакомого хоть с какой-нибудь культурой производства. Именно такой образ кормильца России нет-нет да и промелькнет на страницах революционной печати эпохи перестройки. Не свободны от этого образа даже люди, которым доверено управление народным хозяйством СССР, — члены правительства СССР.

Существует достаточно объективный показатель для экономик территорий, позволяющий определить их сравнительную эффективность. Речь идет о ресурсоемкости национального дохода.

При нерадивом работнике изношенная экономика РСФСР должна иметь самый высокий показатель ресурсоемкости национального дохода. На деле же этот показатель по всем республикам, кроме РСФСР, — 144%, по СССР в целом — 138%, а по РСФСР — 134%.

Парадоксальная ситуация, объяснимая только тем, что в РСФСР — источнике ресурсов для нужд союзных республик — относятся к этим ресурсам гораздо рачительнее, чем в других республиках — потребителях невосполнимых запасов, а также тем, что работник в РСФСР еще не утратил чувство ответственности и работает экономнее. Вот почему архаичная экономика республики куда более ресурсосберегающая, чем народное хозяйство некогда братских республик.

В ранее публиковавшихся материалах автор утверждал и утверждает это сейчас, что уровень эксплуатации работающего в РСФСР в 1,5 раза выше, чем аналогичный показатель в союзных республиках.

При этом Федерация поставляет за свои пределы 50% нефти, 40% газа, 12%

угля, 23% проката, 25% пиломатериалов, 38% бумаги — можно устать, перечисляя. Из 67 основных видов промышленной продукции РСФСР полностью обеспечивает себя по 51.

Даже в том запущенном состоянии, в котором находится сейчас народное хозяйство РСФСР, республика имеет наиболее самодостаточный характер экономики и может обеспечить самовосстановление.

Добавим к этому, что все вывозимое из РСФСР имело цены ниже расчетных среднемировых, а все ввозимое — выше.

СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ

Мы успели убедиться, что массовые закупки комплектного импортного оборудования привели к деградации отечественного машиностроения. Все закупки на протяжении почти 30 лет покрывались реализацией за рубежом первичного сырья, в основном энергоносителей — нефти, газа, угля, или продукцией сырьевого характера, требующей высоких энергозатрат, — металлы, грубый прокат.

В результате постоянно растущей общегосударственной потребности в валютных ресурсах опережающими темпами велась и добыча сырьевых ресурсов.

Народное хозяйство РСФСР приобретало характер все в большей степени полуколониальной страны, ориентированной на истощающий режим добычи сырья. При этом ввоз продукции извне (оборудование, технологии и т. д.) обеспечивал увеличение объемов добычи. Если в колониальной стране экономическим инструментом выкачивания ресурсов являются монопольно низкие цены, то в РСФСР к символическим ценам на сырье (имеющим ту же задачу) присоединяются и прямые изъятия ее национального дохода.

При этом средства, изымаемые в союзный бюджет, выступали как инвестиционные при их вложении в ресурсодобывающие отрасли, но уже от лица нового владельца — Союза ССР.

Пожалуй, это единственный в истории случай, когда государство (Россия), постоянно укоряемое грабежом национальных окраин, оказалось колониальными копями окраин, еще и оплачивая этот грабеж своими собственными финансовыми ресурсами. Более того, развитие добычи сырья требовало опережающих темпов развития энергетики. Самым дешевым источником электроэнергии долгое время казалась гидроэнергетика. В конце 50-х начале 60-х годов растущая нефте- и газодобыча в бассейне Волги, Татарии и Башкирии вызвала сооружение целого каскада гидроэлектростанций по Волге, Каме.

Заполнение водохранилищ привело к деградации самих рек, исчезновению заливных лугов (урожайность по кормовым культурам 1 га заливных лугов равна урожайности по кормовому зерну нескольких десятков га богарных земель). Резкое сокращение кормовой базы отбросило назад производство мяса, потребовало импорта кормовых зерновых культур. Речная рыба стала деликатесом. Дешевая электроэнергия гидроэлектростанций вряд ли окупит колоссальные ущербы, порожденные ее производством.

Гипертрофия ресурсодобычи и энергетики вызывала к жизни и ресурсоемкие (по сравнению с мировыми) или энергоемкие производства, как правило, ориентированные на выпуск полуфабриката.

Структурная разбалансированность народного хозяйства РСФСР растет с каждым годом, и единственный путь выхода из порочной цепи взаимозависимостей — мораторий на любое увеличение объемов добычи сырья с последующим поэтапным сокращением добычи.

Если половина ресурсов России уходит за ее пределы, то стоит ли обрекать на нищету будущие поколения ради призрачных обещаний, если Россия даст завтра больше, чем дает сегодня?

СКОЛЬКО ПЛАТИТ РСФСР ЗА МОНОПОЛИЮ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР?

Импульсивный Н. С. Хрущев был потрясен химчистками и прачечными за рубежом. Вернувшись в свою страну, решил потрясти женщин в СССР, да и то в крупных городах, химчистками и прачечными. Это, пожалуй, единственный случай исключительного социального эффекта от монополий внешней торговли Союза ССР. Следует иметь в виду, что народное хозяйство СССР во времена Н. С. Хрущева еще было достаточно автономно и не нуждалось во внешнеэкономических кредитах на увеличение потребления в стране. С приходом к власти команды Л. И. Брежнева за политическую стабильность внутри страны и любительские занятия экономикой пришлось платить уже постоянно. Оплаты требовал и нерушимый блок социалистического лагеря, да и геополитические амбиции обходились довольно дорого.

На первых порах наибольшую головную боль приносила продовольственная программа — ровесница СССР, имеющая сейчас шанс пережить нерушимое братство республик. С 60-х годов начался неукротимо растущий ввоз импортных товаров продовольственной группы в СССР: зерна, сахара, растительного масла, мяса и мясопродуктов, масла сливочного, птицы, картофеля.

Вскоре к товарам продовольственной группы стали присоединяться и непродовольственные товары: обувь, одежда, бытовая техника и другие.

СССР, не удосужившись войти в мировое разделение труда, стал входить в мировое потребление продукта. Это было возможно только за счет самого примитивного товара — сырья, причем, как во времена доэллинской цивилизации, развилась государственная меновая торговля, стыдливо называемая «бартером». Помните, у Маркса — один топор равен двум шкурам?

«Топор» РСФСР равен не менее чем 40 млрд. инвалютных рублей ежегодно. Кроме того, за рубеж реализуются военное снаряжение и техника, произведенные на территории РСФСР, на сумму, близкую к 2 млрд. рублей. Эти 42 млрд. инвалютных рублей эквивалентны 66 млрд. долларов США.

Для ориентации заметим, что валютные ресурсы собственно Совета Министров РСФСР год за годом составляли от 6 до 10 млн. (не миллиардов — миллионов!) инвалютных рублей. Несоизмеримые величины! Итак, внешнеэкономические обязательства СССР подкрепляются исчезающими в союзном бюджете 66 млрд. долларов США.

Напомним при этом, что, располагая таким источником валюты, СССР на сегодня имеет внешнеэкономическую задолженность, перешагнувшую оценку в 60 млрд. долларов США, и по целому ряду обязательств не является платежеспособным, что задолженность за годы перестройки увеличилась вдвое, не оставив даже ощущения перемен в экономике.

КТО ИЩЕТ, ТОТ ВСЕГДА НАЙДЕТ

Пророческие эти слова как нельзя лучше подходят к отношению сопредельных республик к народному хозяйству России. Кажется, что взять больше нечего, но союзные республики, через планирующие и распределяющие органы союзного правительства, тем не менее кое-что находят. Народнохозяйственные поставки ресурсов из РСФСР союзным республикам, поставки по прямым межхозяйственным договорам в пересчете на мировые цены и со значительной скидкой на невысокое качество дают расчетную оценку в 30—35 млрд. долларов США.

Какова же структура межреспубликанского обмена? РСФСР ввозит пшеницу, сахар, растительное масло, картофель, мясо, обувь, сложную бытовую технику, некоторые виды станков, стальные трубы, готовый прокат черных металлов сложных профилей. Всего номенклатура ввоза укладывается в 16 позиций.

Причем поставки импортные и поставки из союзных республик совпадают по номенклатуре, хотя последние имеют качество более низкое, чем продукция собственно РСФСР.

Поставки зерна из Канады и США, оценочно потребляемые в РСФСР, составляют около 15 млн. тонн пшеницы и обходятся в 2,4 млрд. долларов США. Примерно столько же приходится на оплату поставок всех остальных продовольственных товаров, ввозимых из-за рубежа. Ввоз же непродовольственных товаров, приобретаемых за свободно конвертируемую валюту, не превышает 3 млрд. долларов США.

Итак, весь импорт в РСФСР обходится в 8—10 млрд. долларов США, а это не более чем 15—20% от объема реального экспорта. Аналогичные поставки по номенклатуре товаров в межреспубликанском обмене обходятся (с учетом разной ценовой эффективности в рублях и валюте) втрое дороже. В качестве примера: трикотажная кофта, произведенная в Эстонии, имеет оптовую цену 50 рублей, а 1 кубометр деловой древесины, поставленной из РСФСР в Эстонию, стоит 37 рублей.

Такой же кубометр леса, проданный в ФРГ, стоит более 100 долларов США, а трикотажная кофта более высокого качества, произведенная в Индии, имеет оптовую цену 3,5—4,0 доллара США. В первом случае за один кубометр леса РСФСР получит безрукавку, во втором (продав лес на Запад, а не в Прибалтику) — 25 кофт.

Учитывая совершенно иную внутреннюю шкалу цен реализации, потери бюджета РСФСР от изъятия валюты в союзный бюджет в рублевом эквиваленте составляют не менее (56 млрд. долларов США×6,28) 351,7 млрд. рублей. В межреспубликанских взаимоотношениях сумма потерь равна (30 млрд. долларов США×6,28) 188,4 млрд. рублей.

351,7 млрд. рублей + 188,4 млрд. рублей = 540,1 млрд. рублей.

Оказывается, что на территории РСФСР у населения на руках нет «лишних» рублей, а есть расчеты фиктивными денежными знаками за изъятый без какого-либо покрытия реальный продукт.

ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ, МНОГО В НЕЙ ЛЕСОВ, ПОЛЕЙ И РЕК

Обширное пространство России, казавшееся почти бесконечным во времена гоголевской птицы-тройки, сократилось в наш быстрый век как шагреневая кожа. И об этом дает представление всего-навсего один научный термин.

Термин этот — экология.

Проблемы разрушения среды обитания актуальны для любой из союзных республик, но актуальны по-разному. На первых местах по степени воздействия на окружающую среду стоят энергетика, химия, горные разработки, первичная переработка сырья всех видов. Как раз эти отрасли гипертрофированно развиты на территории РСФСР. Лидером разрушения невосполнимого мира природы является г. Норильск, за ним г. Уфа, Кузбасс, Ангаро-Байкальский ТПК, Куйбышевская область, Москва, Ленинград. Поражены реки Урал, Иртыш, Обь, Нева, Волга, Кама. В критическом состоянии озера Валдая, умирает Байкал. Особая зона опасности складывается в нижнем течении Волги в связи со строительством Астраханского газо-конденсатного комплекса.

Разрушенная природа мстит человеку — продолжительность жизни в РСФСР составляет 68,9 года, на Украине — 70,9 года, в Белоруссии — 71,7 года, Литве — 72,4 года, Латвии — 71 год, Эстонии — 71 год.

Так же убедительно говорит о ситуации и младенческая смертность. В 1988 году в РСФСР — 18,9%, на Украине — 14,2%, в Белоруссии — 13,1%, Литве — 11,5%, Латвии — 11%, Эстонии — 12,4%.

Каждая пятая проба продуктов питания в РСФСР фиксирует наличие пестицидов и отравляющих веществ выше предельно допустимой концентрации. Земли Центрально-Черноземного, Волго-Вятского, Восточно-Сибирского регионов потеряли 30% своего гумусного слоя. Увя-

дающая, кричащая о срочной помощи земля зовет тех, кого уже нет, — крестьян и их детей — живую плоть уходящего народа.

НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЗМ НА ПОГОСТЕ

Угроза фашистского движения в России заботит «консерваторов» и «революционеров». Одна сторона ставит знак равенства между возвращением самосознания народов России под собирательным наименованием «русские» и национализмом; другая сторона бьет в набат, ибо тот же рост самосознания воспринимается ею как знак возрождения великодержавного русского шовинизма и самая опасная угроза демократии.

Не обращая внимания на политические стычки и исторические призывы обратить внимание на «угрозу справа», статистика утверждает: великий русский народ, который на протяжении последних трех веков перестал быть моноэтносом, а представляет собой полиэтнос, или семью народов и народностей, нуждается в реанимации — ему не до национализма и прочих измов. Составляя 51,4% всего населения СССР с численностью 147,4 млн. человек, в 1988 году этот народ «достиг» абсолютного естественного прироста в 779 тыс. человек (0,5% вместо 1,5%, необходимых для простого воспроизводства).

В Центральном и Центрально-Черноземном экономических районах естественный прирост населения составляет 1,0%, в Северном, Северо-Кавказском, Уральском и Западно-Сибирском — 7%, в Восточно-Сибирском и Дальневосточном районах немногим более 10%. Пять областей РСФСР — Псковская, Тульская, Тверская, Тамбовская, Ивановская — вошли в состояние демографического коллапса. Они образуют своеобразное «кольцо демографического упадка» в центре России с апексом в г. Москве. В этом кольце падение рождаемости приводит к старению населения и потере активности.

В сельских районах РСФСР (все области Центрально-Черноземного и Центрального районов; Новгородская, Псковская, Горьковская, Пензенская области, Мордовская АССР) убыль жителей деревни составляет 10% ежегодно.

Территория РСФСР как бы закрыта двумя концентрическими кольцами, внутреннее из которых с центром в г. Москве населено безудержно стареющим населением, а внешнее стало громадным сельским погостом.

В итоге с 1939 по 1989 год в РСФСР численность сельского населения сократилась вдвое — с 72,1 млн. человек до 39,0 млн. человек. Именно эти 39 млн. стариков и старух с тоненькой прослойкой населения фертильного возраста, прикипевших душой к убогому российскому полю, в 1989 году засыпали в «закрома» Родины 53% зерновых, 51% картофеля; сдали 35% мяса и мясопродуктов, 70% яиц, 44% молока, 44% шерсти и 35% овощей.

Убедительные доводы в пользу великодержавного шовинизма! Именно они, не разбираясь в амбициозных политических спорах, кормят как «консерваторов», так и «революционеров», ежегодно производя продукции на 100 млрд. рублей в ценах, имеющих скорее символический, чем реальный смысл.

Сегодня Россия, исполняя госзаказ на селе, ввела чрезвычайное положение в своих сельских областях. Уже лишенная «помощи» от братских республик — в автотранспорте и водителях, — она наполняет тарелку, вокруг которой все еще едины ставшие лишь квартирантами СССР «братские» республики.

РОССИЯ И МАЛЫЕ НАРОДЫ

Процессы демоколлапса в европейской части РСФСР и традиционно экстенсивный путь формирования промышленных центров привели к изменению географии размещения производства. Обезлюдевший центр России уже не мог привлечь внимание союзных отраслей — с их точки зрения неизбежные затраты в инфраструктуру и социальный сектор не могли быть эффективны, поэтому в течение последних двух десятилетий новые промышленные центры возникали по широкой дуге, окаймлявшей зону демографического коллапса. С Севера в эту дугу попала Карелия, Кольский полуостров, затем по побережью Белого моря на Воркуту с глубиной до гг. Кирова и Перми, через Северный Урал (Качканар) на Южный Урал, по пути поглощая Западную Сибирь (Тюмень) и опускаясь к гг. Томску, Омску. На юге дуга мощным языком устремляется через Южную Сибирь и Алтай к Дальнему Востоку, а в противоположном направлении включает в себя Предуралье и берега реки Урал вплоть до Каспия. От Каспия вверх по Волге — в поисках новой живой крови. В своем движении дуга «поглощает» территории Карельской АССР, Коми АССР, Мордовской АССР, Ямало-Ненецкого автономного округа, Хакассии, Калмыкии, Башкирии, Татарии.

Процесс этот с очень большой натяжкой можно назвать «экономическим развитием». Плоды такого развития автономии видят в европейской части РСФСР и, естественно, не хотят для себя той же судьбы. Стремление убежать из-под катка привычной экономике СССР индустриализации приводит к политическому и межэтническому конфликту и бурному росту сепаратистских настроений. Это тем более ясно, если учесть, что для исчезновения половины сельского населения в РСФСР, в условиях геноцида, войны, восстановления разрушенного хозяйства и ликвидации «неперспективных» деревень, понадобилось 50 лет, а для малочисленных народов срок исчезновения с этнической карты мира укладывается в продолжительность активной деятельности одного поколения, то есть от 20 до 30 лет.

Вряд ли следует рассчитывать на межэтнический мир и политическую стабильность на территории РСФСР, предлагая лишь увеличить поступления в местные бюджеты. Жизнь народов не укладывается в нормативы налогообложения.

ПЕРЕПРАВА, ПЕРЕПРАВА — БЕРЕГ СЛЕВА, БЕРЕГ СПРАВА

Парадокс политического процесса заключается в том, что перестройка, как и правильно наведенная переправа, при очень четком, командном управлении движением должна была обеспечить переход советского общества от иерархического, архаичного типа к общедемократическому с минимальными потерями на этом пути.

Переправа оказалась не поперек реки, а вдоль нее. Ценностные ориентации предшествующего периода сожительства народов СССР оказались быстро разрушенными, новых объединяющих целей не прибавилось и единственной задачей перестройки оказалось построение такого правового государства, в котором всего много «как за границей». Естественно, ожидать изобилия легче всего, разойдясь по национальным «квартирам». Конечно, это отнюдь не гарантирует обретения изобилия, но значительно сокращает число конкурентов. Процесс общедемократических преобразований практически за два года — 1987—1988 принял форму сначала национально-демократических движений, а затем и национально-радикальных. По наследству от истока — общедемократического движения — национал-демократы и национал-радикалы оказались «левыми». Этот кульбит в любой демократической стране был бы для политического движения смертелен. Но не у нас.

Совершенно объективно и вполне заслуженно административная система, виновная в бездарном управлении 300-миллионным народом, была отнесена к политическим правым.

С левыми продолжались метаморфозы, так как в их число попали все те, кто не правые (не аппарат, не руководители, не коммунисты и т. д.).

В союзных республиках в рядах левых оказались откровенно националистические, фашистские движения, соседствующие с либералами и социал-демократами, христианами и мусульманами. Такой союз концептуально бесплоден. Единственное достижение республиканских «левых» движений — установление суверенитета де-факто — никому не облегчило жизнь, но разожгло аппетиты к разделу союзного наследства.

Строго следуя логике, требование раздела включает в себя как раздел имущества, так и раздел обязательств — то есть долгов. Отказ от долгов свидетельствует и отказ от имущества. Тем не менее каждое новое объявление национального суверенитета и права раздела имущества либо стыдливо умалчивает о долгах, либо декларирует отказ от них. Кто в таком случае является ответчиком по долгам? РСФСР, ибо лишь две республики в СССР в состоянии иметь ликвидный баланс в валюте — Азербайджанская ССР и РСФСР.

В таком случае, правосубъектность союзного правительства подтверждена реально лишь до тех пор, пока РСФСР не восстановила свой суверенный статус, эта правосубъектность требует способности отвечать по обязательствам и долгам.

Установление реального суверенитета РСФСР вообще приводит правосубъектность СССР почти к абсолютному политическому нулю. В этом случае единственным выходом на национальные богатства России может быть только разгосударствление самой РСФСР, а это достигается через дробление суверенитета РСФСР на возможно большее количество псевдогосударств.

ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ПОЛИТИЧЕСКИЙ?

Проблема правосубъектности СССР должна заботить не в меньшей степени и его кредиторов. В сложившейся политической ситуации согласованное и единое решение государств Западной Европы, США, Канады о непризнании национальных суверенитетов союзных в СССР республик, не принявших ответственность по внешнеэкономическим обязательствам и долгам СССР, способно было бы остудить политический пыл радикалов. Любого — правого или левого толка.

При этом условии возможен был бы переход от унитарного государства к конфедеративному. В таком случае РСФСР выступала бы как правосубъект равноправный по отношению ко всем участникам нового союзного договора и способна была бы защищать силой своего авторитета и мерами экономического воздействия как свои права, так и права русскоязычного населения на территориях союзных республик.

Другого пути сохранения правосубъектности СССР до нового союзного договора в какой-либо форме с сохранением гражданского мира на территории СССР нет.

Хотя следует сразу сказать, что таких правовых норм в мировой практике, при которых в случае реализации идеи конфедерации Россия оставалась бы экономическим донором соседей, нет и быть не может.

ПУТЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Проведенная после революции национализация земли практически ее денационализировала. Мера, направленная против «классового врага», превратила в манкуртов все народы России. Все аршины и пяди полей и оврагов, погостов и подворий из владения этносов превратились во владение государства.

Прежде гордые корнями, родством с землей, великие и малые народы России одним росчерком нетерпеливого пера были превращены в народы-люмпены. Логика подсказывает, что и восстановление нормальных взаимоотношений должно осуществляться с вопроса владения этносов.

Восстанавливать корни необходимо там, где эти корни подрублены. Если мы говорим о России, то восстанавливать надо сельское население в концентрических кругах демоколлапса. Для этого необходима общероссийская миграционная политика и программа, по которой россияне (лица, считающие себя гражданами РСФСР) организованно переселились с территорий союзных республик на пустоши колыбели России.

Для них должны быть предусмотрены особые льготы, свобода в организации землепользования. Социально привлекательным механизмом может в таком случае выступать наделение переселенцев (семьи, группы семей, одиночек) землей с пожизненным владением с правом ее ипотечного заклада для получения средств к освоению этой же земли.

Следует немедленно прекратить организованное переселение лиц коренных национальностей южных республик на земли РСФСР. Не может крестьянин с совсем иным традиционным опытом земледелия возродить житницы России. Каждый народ — носитель своего опыта и по отношению к земле тоже. Тем более что подавляющая часть переселенцев не знает даже русского языка и, как показала практика, землей не занимается.

Восстановление сельской семьи — восстановление русского народа; восстановление села — восстановление России. Если на полях России зазвучат голоса, инфраструктура вынуждена будет подтягиваться к этим голосам. Будут люди — будут дороги. Такая программа переселения с широчайшими налоговыми льготами переселенцам способна не только реанимировать Россию, а и покончить попутно с Продовольственной программой, ибо в 1988 году вне колхозов и совхозов на 1% земельных угодий РСФСР личным трудом земледельцев на их приусадебных участках было произведено 60% картофеля, 29% овощей, 24% мяса, 23% молока, 21% яиц, 20% шерсти. И это без кредитов, без техники, без строительства жилья.

Интенсивное строительство жилья на селе неизбежно снизит жилищный голод в городах, оптимизирует соотношение населения и сократит до минимума угрозу безработицы. В этих условиях трудовые ресурсы из избыточных превращаются в дефицитные — более побудительного мотива к интенсификации промышленного производства мировой опыт не знает. Технологии рождаются и быстро внедряются там, где живой труд дефицитен.

СОЗИДАНИЕ И ДУХОВНОСТЬ

Попытки облачиться в западноевропейские одежды, столь естественные для республик Прибалтики, выглядят довольно неуклюже, когда речь идет о России.

Если восточное побережье Балтики было веками лишь ганзейским полустанком между разноукладными экономиками европейских и славянских государств, то на территории России веками развивалась определенная данность — национальная экономика, основанная на культурных и духовных традициях российских народов. Этногенез, превращение русского народа из моноэтноса в полиэтнос свидетельствует о гибкости национальной экономики.

Расул Гамзатов писал: «Абуталиб сказал: если выстрелить в прошлое из пистолета, будущее выстрелит из пушки». Удивительно точные эти слова помогают осознать место духовного, высшего в жизни каждого этноса. Перестройка, провозгласив общечеловеческие ценности в качестве примата, дала запах свободы, но не свободу.

Все религии, все конфессии на территории РСФСР должны быть полностью свободны от государства. Регистрация религиозных общин должна производиться механически, без права «вето» на свободу совести. Наконец, стоит ли унижать дух народа налогом на совесть? Может быть, народные деньги, отдаваемые на храмы и мечети, синагоги и кирхи, на естественно-общественную жизнь этносов, освободить от аппетитов госбюджета? Образование и воспитание детей должно быть делом абсолютно свободным, ибо национальной культуры без традиций национального образования нет. Общечеловеческие ценности постигаемы только тогда, когда этнос может воплотить их в ценности национальные.

Сложившееся в последнее время отношение к россиянам как к национальному меньшинству, зараженному ненавистью и фанатизмом, чревато исключительными последствиями в будущем, ибо лишить великий народ его веса и значения не может никто, кроме истории, но ведь есть и историческая память этноса.

УСЛОВИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ

В недрах скрипящей и рассыпающейся экономики не может вызреть здоровое. К чему приводит бездумное разрушение плохо действующей экономики, показывают пустые прилавки. Естественным логическим путем лечения экономики было бы минимальное ее перекраивание сегодня. На взгляд автора, следовало бы:

— вычленить из действующей экономики самодостаточные системы, максимально их поддерживая. Для каждой из них определить режим выхода из кризиса;

— конверсионные производства переориентировать на отечественные технологии и машиностроение;

— поэтапно ликвидировать убыточные и планово-убыточные производства, на их базе создавать малые, гибкие предприятия, специализированные технологии;

— отраслевую систему организации экономики осторожно и бережно переводить на территориальную систему организации;

— изменить действующую систему и структуру власти. До тех пор, пока каждый район будет иметь свой Верховный Совет, восстановления страны не будет. Мировой опыт подсказывает: путь — муниципализация;

— областям, краям и автономиям Федерации передать полные права на местные виды ресурсов, внешнеэкономические программы комплексного развития территорий освободить от налогов, таможенных сборов и центрального регулирования.

Народы России! Вы — братья. Сегодня вы еще владеете краем Отчим. Не проснувшись от политической спячки, дробя бездумно Россию, придете вы не к изобилию, а к квартирантству на клочках земель Ваших. Никогда раньше не звучали так верно и трагично слова: будущее Ваших детей в Ваших руках.



ПОЭЗИЯ

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ



ЗОВ

Струна

В землю белый и красный легли,
Посылая друг другу проклятья.
Два ствола поднялись из земли
От единого корня, как братья.

В пыль гражданская распря сошла,
Но закваска могильная бродит.
Отклоняется ствол от ствола,
Словно дьявол меж ними проходит.

Далеко бы они разошлись,
Да отца-старика по наитью
Посетила счастливая мысль —
Их связать металлической нитью.

Слушай, слушай, родная страна,
В грозовую ненастную пору,
Как рыдает от ветра струна
И разносится плач по простору.

В ясный день не рыдает она,
И становятся братья родными.
И такая стоит тишина,
Словно ангел витает над ними.

«Бабьи слезы»

Эти слезы надо понимать!..
Я в пивной с названьем
«Бабьи слезы».
Тут услышишь про такую мать,
Что по коже побегут морозы.

Тут напомнит пьяный старикан:
— Впереди и сзади пулеметы! —
Если ты нальешь ему стакан,
Он расскажет про штрафные роты.

Ты услышишь:
— Я клянусь войной!
Впереди и сзади нет пощады.
Мы прикроем Родину собой!
Вырежем сперва заградотряды!

И другой напомнит старикан:
— Это я срывал с него награды! —
Если ты плеснешь ему в стакан,
Он расскажет про заградотряды.

Ты услышишь: — Я клянусь пивной!
Сталин дал приказ, и мы едины...

Да не становись ко мне спиной,
Я видал и не такие спины...

Мне на это нечего сказать.
Я уйду... Эх, белые березы!
Эх, моя Россия! Божья мать!
Дай тебе я вытру бабьи слезы.

Гири

Он во сне над землею летает,
Где брящает небесная медь.
Днем тяжелые гири таскает:
Он боится с земли улететь.

Равновесия ищет он в мире,
Но его осуждает народ:
— Видит бог, он украл чьи-то гири.
Он еще и весы украдет!

Он художник, а это не шутка!
Запершись на глухом чердаке,
Он рисует картину рассудка:
Немезиду с весами в руке.

Сознавая, что очень рискует
Оторваться от грешной земли,
На весах Немезиды рисует
Он тяжелые гири свои.

* * *

В воздухе стоймя летел мужик,
Вниз глядел и очень удивлялся.
И тому, что этот мир велик,
И тому, что сам не разбивался.

Так-то так. Но он не знал того,
Наблюдая за частями света,

Что таким представила его
Дикая фантазия поэта.

Между тем поэт о нем забыл:
Новым вздором голова богата.
А мужик летит среди светил,
И, пожалуй, нет ему возврата.

Газета

По вольному ветру, по белому свету,
По нашему краю
Проносит газету, проносит газету,
А я не читаю.

Я душу спасаю от шума и глума,
Летящих по краю.
Я думаю думу. О чем моя дума,
И сам я не знаю.

И вот в стороне человек возникает,
Подобно туману.
Прикрывшись газетой, за мной наблюдает,
Что делать я стану.

Рычит ли собака, мычит ли корова,
Система на страже.
Один соглядатай сменяет другого,
Газета все та же.

Наверно, сживут меня с белого свету
И с нашего краю,
Где даже скотина читает газету,
А я не читаю.

* *

Никогда мы не будем в раю,
Если верить марксистским цитатам.
Мы хороним отчизну свою,
Что накрыта огромным плакатом.

О, знаком этот красный плакат!
Чьи-то слезы его заливают.
В изголовье ракеты стоят,
И головки вот-вот запылают.

* * *

Оттого ли мы нынче горюем,
Что стоит наше горе ребром,
Нас воюют, а мы не воюем
На мосту между злом и добром.

Нас воюют шеренги бутылок,
Псы кошмара преследуют нас.
И подушка стреляет в затылок.
Словно отдан ей тайный приказ.

Нас стреляют подметные письма.
И сажают на все голоса.
Пустоцвет всеконечного «изма»
Пыль доныне пускает в глаза.

Нас торгуют великие торги
На мосту между злом и добром...
Но уже наше поле Георгий
Запирает незримым копьем.

* * *

Когда со свечой страстотерпца
Молитву творю в тишине,
То сердце открыто во мне
И в Боге разверзнуто сердце.

В молитве мы оба ясны.
Свет веры сквозь купол небесный

Проходит, связуя две бездны,
Два сердца и две тишины.

Господь отвечает на зов,
Окалину дух отряхает,
И с мира спадает покров...
И дьявол в аду отдыхает.

На закат

В. К.

Ты жил от сердца: песни пел
И мысль наслаивал годами.
И черт едва тебя терпел,
Качая русскими горами.

Ты даже тенью знаменит,
Но понимал, что в этом мире
Кольцо врагов тебя теснит,
Хотя круги друзей все шире.

Какие годы полегли!
Им не подняться... И порою

Печаль — ровесница земли —
В Москве беседует с тобою.

И с каждым годом реже свет,
Река времен уже по плечи.
Как написал не твой поэт:
Иных уж нет, а те далече.

Еще по-русски говорят,
И там Георгий скачет с пикой,
Где твой сливается закат
С закатом Родины великой.

ПРОЗА

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНЬЕ В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

Узел II

ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

РЕВОЛЮЦИЯ

61

Молодость проживя в низких нищих мазаных землянках, в дверях сгибаясь чуть не в пояс, а и в середине распрямляясь не во весь свой здоровенный рост, полюбил Захар Томчак высокие потолки. Да высоких потолков он, может быть, просто вообразить бы себе не мог, если бы к постройке нового дома не побывал в отметных зданиях Ростова, начиная с банка и биржи. И вот в новой экономии оба этажа он поставил семи аршин высоты, как не строили здесь, а нижнюю парадную залу возвысил и до восьми аршин, для того поднявши над ней пол в домашней верхней зале, куда стягивали старую мебель.

Парадная зала окрашена была золотисто-розово, маслом, но под вид обоев. А потолок был не просто гладкого цвета, но плавали белые пухлые облачка, а меж них летали херувимчики, только не церковные, а хитроватые, и поглядывали вниз на гостей. С потолка спускалась электрическая люстра на двадцать ламп, и из каждого оконного простенка тоже торчала кривая с тремя лампами. В одном углу залы, уступая дочке и невестке, мол так у всех порядочных людей, поставили красную рояль, да две пальмы по бокам. Зато другой угол убрали иконами по-христиански. А ещё в третьем углу такая стояла здоровая пальма, что вынести её могли только все четыре казака вместе. Одна стена убрана была и зеркалом, три раза перебрать разбросанными руками, рама резная, позолоченная, только не блескавая, а матовая (тоже, мол, так лучше), а само зеркало отлито на собственном Его Императорского Величества заводе зеркал, фарфора и хрусталя. По другой длинной стене между двумя распашными входными дверями и дверями в столовую размахнута была печь в розовых изразцах. Одна короткая стена была как бы стеклянная — на зимнюю веранду с заморскими тёплыми цветами, а другой короткой стены и не было совсем: вся она была вынута аж до самой арки, и могли гости, хоть по четыре в ряд, переходить в гостиную. А гостиная была крашена в голубой цвет, а мебель в ней — полированного розового дерева, хочешь в креслах таких сиди, хочешь — на стульях таких, а то хоть и на диване,— такой же. И по полу гостиной постоянно простелен был французский ковёр. А по зале осенью, вот как раз сейчас, к съезду, раскатывали текинский.

До того хороша и размашиста была эта зала, что даже нечего было в ней делать: обедали не в ней, танцовать экономисты особенно не танцовали, разве что в карты играть, так чересчур просторно, на карты шли в домашнюю залу. И за всё шестилетнее стояние экономии, кажется, лучшего случая не было, чем сегодня, первый случай — собрать всех окрестных экономистов, хоть друзей, хоть чужаков, с кем и не выпивали никогда за одним столом,— и размовляться о деле. Из-за этой-то самой размахнутой залы и сговорились собраться у Томчака.

К двенадцати часам такого же погожего солнечного дня с паутиною, разворачиваясь по парадному двору и ещё на дуговой проезд к самому крыльцу, подъезжали и подъезжали экономисты — на автомобилях, фаэтонах, в дорожных каретах, на рессорных бричках, на линейках, а штундист — без кучера, иа двухколёсном шарабане,— ещё б на гарбе воловьей приехал, что значит чужая вера!

Захар Фёдорович в шевиотовом сиреневом костюме и в галстуке (собачья завязь, шею душит) стоял иа крыльце и только руки успевал пожимать, к одним сшагивая до самого экипажа, перед другими опять запячиваясь на приступки. Приехало по отдельности трое здоровых чубатых Мордоренок — два Фомича и один Акимыч. А Дарьи не было, оно и всем легше. И осторожно спустился с высокого сиденья, как паук по паутине, круглотелый маленький Третьяк — потихонечку, оглядываясь, не укусят ли. Был он, как всегда, и летом, в старом чёрном пальто — нараспашку, а полы гребут по земле. И Чепурных прикатил на дикой тройке — гологоловый, так брит, что голова аж сверкает (носил оселедец, да в Ростове засмеяли, сбрил недавно), зато усы как казачьи пики, в стороны. И приехали Мясиянкины, дружные дядя с племянником, оба пунцово-лиловые, небось уж с утра набрались. И двое молокан приехали, с дальних хуторов. И вот штундист.

А Владимир Рудольфович фон-Штенгель не только сам не пожаловал, но и управляющего своего ие прислал. С мужиками не хочет.

Все они проходили в переднюю, а там стоял лакей Илья с седыми бакенбардами (так ему велено было, иметь бакенбарды) и в своей парадной ливрее. Он принимал шляпы, палки, пальто и с поясным приклоном показывал каждому на зал.

Где же было стать Роману? Не только о сути доклада своего он так ничего и не сказал отцу, из гордости, а тот не спросил, из гордости, но и как гостей встречать — тоже между ними не было обговорено. Стать теперь на крыльце рядом с отцом? — терялось отдельное значение Ромаиа. Стать в передней? — при лакее невозможно. Так принимал Роман гостей уже в самом зале — строгий, деловой, в чёрной тройке и безо всякой улыбки (знал он от зеркала и от Ирины, что никакая улыбка ему никогда не идёт, она как будто угрожающе выглядит). Принимал, рассаживал по залу и по гостиной и сразу деловыми замечаниями настраивал экономистов, что приехали — напрягаться головами, а не гоготать и обжираться.

Но и хозяев и гостей более всего удивил — кор-рес-пон-дент! Да, самый настоящий корреспондент екатеринодарской газеты! Никто его не ждал, никто его звать не догадался, а просто был он в Армавире, от кого-то пронюхал про совещание (верней — что покушать можно будет по-экономически) и приехал — поездом, со станции пешком. Был он беленький, каких на Кубани не бывает, и худой, как с глистами.

Роман сразу его оценил: вот то, что и нужно, как же сам не догадался? Очень был с ним любезен, внимателен. И за большим столом

Продолжение. Начало в №№ 1—10 за 1990 год.

совещания, по которому раскатано было синее сукно, наметил ему место рядом с собой.

А экономисты — аж ёжились: как держать себя при таком человеке? ведь пропишет. Хоть и рта не раскрывай вовсе.

Ну, всё же разговаривали, от него подальше, а как подходил — смолкали. Разговаривали — про ростовские мельницы. Всегда они работали на кубанском зерне, а теперь — запретили туда везти, и мельницы какие остановились, а какие — грубые сорта дерут. А тут — зерно томится. Это что, отвечали, вот с Питербурха чоловик прыйихав, там зовсим йисты нэма чого.— Да колы б хлиб и вэзты у Ростов — так хиба ж то цину дають? Задарма скоту скормыть, и то барышу бильш.— А бичёвка завжды була четыре с полтиной пуд, а зараз — пьятнадцать карбованцив.— То шо бичёвка? А подошва? — Та вы кажить, робитныкы почём? Ранийше парубок на усём хозяйском за пьятдэсят карбованцив на лито наймався, а тэпэр йому двисти дай! — Та шо парубок? Баба в страду от зари до зари радэшенька була за симдэсят копийок, а тэпэр йий як бы нэ тры карбованця? — Та хочь бы робыли за совисть, а то тильки грошы хватают, а робыть нэ робят.— И заплатышь, а шо ж, як робитныкив пидчистылы? Тильки инвалиды и осталысь, учётных вже нэма. А у том Ростови, дэ яка пукалка працюе, так биля нэй — учётный... Полонэных бы далы досыть, так и полонэных не прыжинут. А кого прысылають? — парыкмахеров та бухгалтэров, у полонэных, бачишь ты, *специяльность*! — Та хочь бы ци булы, кого заслалы. А то у саму страду — цап тоби, кудысь йих загрэблы, увэзлы.

Всё это верно говорили отчасти, но такими бесцельными бесформенными балаканьями сбивали романов доклад, портили ему. И, проворно ходя по залу, чёрный, подтянутый, поворотливый, с холодной любезностью, он предлагал отцу и другим старейшим — начинать.

А как его делают — *совещание,* никто не знал. Шли к большому столу под синим сукном, и даже братья Мордоренки, даже Яков с платиновыми зубами, не лезли занимать первые места. С непривычной уступчивостью отнекивались, не вылезать бы вперёд, препирались не чтоб себя выставить, как обычно, а чтоб себя загородить.

И покашивались на Корреспондента.

Отец как хозяин вроде и начал — бот, мол, собрались, побалакаем, кто як розумие... Но председателя — не предложил избрать. Ждал Роман, может скажет: вот у сына — *доклад.* Не сказал.

Что ж, оставалось действовать самому. Два десятка несуразных, мордатых, бронзовых и красных сидели в развалистых креслах вокруг просторного стола и без стаканов, без игральных карт не знали, чем руки занять, даже угребали их с синего сукна. По виду раззявились, а ощущали себя неловко. И на обширном синем овале не было ни единой бумажки. Ни единой, кроме большого бухгалтерского тома перед Романом и маленькой книжечки перед корреспондентом. И уже две этих записных книги всех заставили насторожиться и поглядывать на Романа. И теперь, не ожидая больше, он поднялся, строго оглядел собравшихся и сказал:

— Господа. Для того, чтобы наше совещание было плодотворно, не покажется ли вам удобным, если я сделаю доклад, дам анализ главным хозяйственным проблемам, стоящим перед нами, и предложу практические действия, после чего вам будет удобно высказываться?

Да — захолонули все! Не ожидал никто: ведь вот, оказывается, среди нас какой говорун вырос! Да такие слова — тут может быть и знал только один штундист, на дальнем углу, с маленькой чёрной бородкой.

И этим молчанием, этим согласным растерянным бормотом расчистился без председателя путь докладу. Роман распахнул толстую книгу и, поглядывая туда, а то уже и не поглядывая, свободно, твёрдо выговаривал, то поворачиваясь вправо, то влево:

— Первая группа проблем — это цены на нашу продукцию, в первую очередь, конечно, на хлеб.

И иногда перешуршивая листами книги и там карандашом что-то отмечая и выделяя, рассказал экономистам и про хлеба, и про кукурузу, и про шерсть, что́ они сами знали хорошо, но сложить так бойко и быстро ни за что б не сумели. (Да у кого б это терпения хватило всё выписывать!) Возмутился Роман низкими твёрдыми ценами, но напомнил, что и на реквизируемый скот первоначально были поставлены слишком низкие цены, а когда настояли хозяева, то подняли их, и за пару быков стало платить государство 400 и 500 рублей.

Корреспондент стал записывать.

А Ирина чуть выглядывала из притворенной двери столовой.

— Вторая группа проблем — это цены на промышленные товары.

И вычитывал эти нынешние цены: на плуги, на молотилки, на лопаты. И так от этих цен все разжигались, что Чепурных прогаркнулся громовым басом:

— А город усэ хоче надармачка! Нэхай бы робылы, як мы робым.

И поддали ему:

— Нэхай бы мэньш на заводах бастовалы, о тоди б и цины булы.

Но — слушали. Кто голову задерёт, а там примирительные летают пташки-не пташки, люди-не люди. Сам удивлялся Роман, как хорошо его слушали, и как удаётся его первый общественный опыт. И от удачи ещё ровней держался и ещё высокомернее говорил:

— Третья группа — это рабочие руки. Положение и без того уже было катастрофическое, вы знаете, но вот начинают забирать и ратников 2-го разряда до 40 лет. Через какие-нибудь месяц-два у нас всё производство остановится.

Широкскулые молокане похлопали, похлопали веками: верно.

Крикнул Федос Мордоренко:

— Та розиряют хозяйство дотла!

— А ещё добавим и разврат труда: рабочие знают, что на них спрос, и работают хуже довоенного. Знают, что могут всегда уйти и найдут себе оплату выше.

Корреспондент записывал. (А ещё, когда приоткрывалась дверь в столовую, прислушивался туда. Тощий он был просто на редкость, тут среди экономистов похожего не было.)

Слушали, не разбредаясь голосами и толками. Перед этими туземцами всегда свои преимущества зная, всё же удивлялся Роман, как сильно звучит его речь. Не давая вниманию рассыпаться, он приводил цифры, примеры, но не слишком много, и переходил к следующим проблемам: землевладельцам не дают государственного кредита, и потому, чтоб не останавливать производства, они вынуждены принимать любые условия рынка, любые цены, хоть в полное разорение себя, не имея возможности выждать лучших.

Тут многие закричали одобрительно. И всё увереннее видя себя их признанным ходатаем, Роман заключил так:

— Государству выгодно только среднее и крупное землевладение: бо́льшая отдача капитала и большее приложение труду. У крестьян нет средств, и они не могут поднять культуру хозяйства. Но и дворянское землевладение ведётся не лучшим образом: сами дворяне — белоручки, они коммерсанты плохие, а управляющие обкрадывают их и ведут хозяйство как чужое. Поэтому только экономисты представляют собой высший тип современного сельского хозяйства. И это должно понимать государство — и не должны забывать мы. Поэтому пришло время нам сменить язык с властями. Не ждать, как свалится, и не просить, а — потребовать. Напомнить, что такое мы для государства, сколько мы даём продуктов, — и потребовать!

Передались, передались совещанию — гордость его и обещательность, что именно он — сумеет потребовать. Осанились экономисты (а

кто и губу отвесил), заважничали степняки, впервые услыхав, что *они* от властей — и вдруг потребуют! Как от своих конторщиков?

А Роман дальше всё точней предлагал: вынести постановление, выбрать уполномоченного, чтоб он снёсся с другими группами экономистов, а тогда от общего лица ехать на переговоры с властями и ставить условия. Рабочие руки? Если нет достаточно военнопленных, можно привезти рабочую силу с Востока или с Севера, у государства есть такая возможность, а нет — пусть сумеют. И пусть государство предложит экономистам кредит — не так, как нас грабит Волжско-Камский банк, под 8%. А хлебные цены если не будут установлены достаточно выгодные — экономисты имеют возможность вот с этой осени, сейчас, *вообще хлеба не сеять* или сократить посевы, а перевести силы и средства на то, что даёт барыш. И уж конечно отказаться от белотурки, от гирки, раз государственными ценами они не выделяются.

С несомненным успехом он кончил. Обеспечено было ему избраться таким уполномоченным. И будет публикация в газете. Скромно сел. Из ириного золотого портсигара закурил. Посмотрел ещё в лица кой-какие.

Так уже пристроились слушать Романа, что когда он кончил свою резкую речь, закрыл тяжёлую книгу и сел — то как будто ждали, может он ещё что скажет, чтоб остальным полегче.

Поклацал Яков Мордоренко платиновыми зубами.

Кто-то вздохнул. Кто-то крякнул.

Мяснянкины очень важно бровями повели, друг на друга посмотрели, ничего не сказали.

Кому-то ещё говорить надо, что ли? Как его делать, это *совещание*? Вперёд не лезли, никто.

Ещё кресла были такие — для сиденья слишком удобные, вглубь-вглубь принимали, утопляли пяти-шести-семипудовое тело. А уж крышка стола подымалась чуть не к подбородку, много не поговоришь. А встать — так ещё трудней.

Хмурый маленький Третьяк положил было ладони на стол, упёрся, локти вывернул кверху, как надо бы при разговоре стоять-упираться,— нет, не осилил, остался сидеть.

Роман был так доволен собой, что упустил посмотреть лишь — на отца. Да и сидел отец по той же стороне, человек через двух, на него неудобно и шею крутить.

Да и никто от старшего Томчака не ждал: уж с сыном-то у них наверно сговорено, вместе думали.

Всю речь Романа Захар Фёдорович просидел молча, голоса не подавая. И когда теперь в два подлокотника упёрся, встал — тоже не поняли: может он по хозяйству распорядиться, обед проверить?

Нет. Так и остался стоять — дюж, не стар, не сгорблен, однако косточками кулаков упершись в надёжную, там под синим сукном, твердь дубового стола.

И было от совещания — только вот это положение тела, что он догадался стоять, когда все другие, хоть его не выше, сидят. А заговорил не громко, не звонко, на доклад Романа не похоже, а даже тише обыкновенного:

— Так-то так, хозяйва... На шерсть, та на скот, та на люцерну с пидсонухом мы пэрэкынуться можемо и два года пэрэбьемось. Выручка — будэ. А там, мабуть, и ця вийна набрыдлая закинчиться, нэ до Другого ж вона Прышестя... А тильки: я к же вона кинчиться, хто б мэни насампэрэд сказав? Не прыдит ли Герман до Армавира?.. Як мы ось зараз сговорюемось та хлиба нэ посиемо — то шо наша армия будэ на той год у рот пхаты?

Даже не тих, а именно задумчив стоял Захар Фёдорыч, как был последние дни, как будто гаркать не умел, палкой замахиваться не умел и сроду по степи не носился, стегая коней. Замолчал и стоял, как бы мог и кончить, дальше не говорить. Однако стоял. И все ждали. И опять — тихо, даже ласковым голосом, какой и в семье-то своей от него редко слышали:

— Да, дило йде в шкоду. О цей, остатний, год мы розиряемось. И так же будэ у наступном. Но кого б там до властэй нэ посылать и шо б воны там нэ удумалы, а хочь бы уси булы головы дурьи — повынни и мы тут думать, для того знбралысь.

И перед самым трудным ещё постоял, не торопясь голову совать.

— А може б мы года на два, на тры та забулы б зовсим цэ сказеннэ слово — б а р ы ш? Як бы зроду мы нэ булы учены, шо такэ барыш е? И нэхай у наступный год бильш будэ от нас утикать ниж прытикать — абы работа йшла, хлопцы! Абы хлиб взростав и люды його йилы. И ныякый банк крэдытив нам на то нэ дасть. А мы и просыть не будэмо. Ось, як я могу кожный дэнь сала такый шматок зйидать и хлибыну цилую — а могу вэсь Великий пост майже и нэ йисты нэчого. Живит провалыться, а жив буду. А от Паскы до Троицы знову нарощу, та и з лышком. Вот так и мы года два поробым — и усн останэмось на мисци. И земля нас выручэ знов. Бо: *нэ гроши нас нажилы, а мы — йих*. И як трохы спустым йих — так писля вийны нажинём, здобудэмо.

В ужасе был Роман: что отец нагородил? Что наделал? Да если б знать — надо было говорить с ним раньше! Но — ожидать было нельзя такого от старика!

Вот Дарьи нет! — вот она бы сейчас клюкой ответила Захару! Да как все Мордоренки муку рабочим не с мельницы своей берут на 42 постава, а в экономии паровичок поставят и гонят дерть,— так неужели они стерпят захарово — без барыша? Да Третьяк! — барашков, правда, рабочим не считает, а коробку сардинок после гостей — «приберите, шоб цела була»,— как же это: чтоб утекало, а не притекало?

Но всё не перебивали безумного, и успел Захар так ещё сказать:

— И робитныкив ныхто нам нэ прывэзэ. А шукать трэба самым. А для того — трэба платыть. Як и двисти за сезон, так и двисти. Пры то́му, шо хлиб продавать у збыток — ще и робитныкам бильш платыть, соби у шкоду. Тому що йим цю вийну пэрэжить — нияк нэ лэгше ниж нам з вамы. Але ниж моим симдэсят двум быкам упряжным, за кым ходыть ось нэма кому...

Ласково сказал. К быкам.

Но уже видел Роман, что будет сейчас отцу — грозный ответ! Оскалилась почти вся та сторона стола, кроме штундиста, да штундист робкий встрять не посмеет. Лошадник Евстигней Мордоренко аж челюсть отвалил, Яков — всю платину оскалил. Мяснянкины стали совсем лиловыми. А Третьяк слабыми ручками опять в стол упёрся, упёрся, как будто сейчас и ноги сюда вытянет и дальше по столу на четвереньках.

62
(ПРОГРЕССИВНЫЙ БЛОК)

Изо всех воевавших стран только Россия разрешила себе не думать о продовольствовании заблаговременно и даже с начала войны. Средний годовой российский урожай был — 4 миллиарда пудов зерна, а в 1913 — 5 миллиардов, и в самом 1914 на 200 миллионов больше среднего, и в 1915 — нормальный, и даже в 16-м — лишь на 200 миллионов ниже. Годовой российский вывоз — 600-700 миллионов пудов, был высшим хлебным экспортом в мире. С начала войны вывоз прекратился, полумиллиардному избытку предстояло накопляться ежегодно, так тем более не угрожали хлебные заботы. Из того избытка в 1914 военное ведомство не заказало себе даже и половины. Страна была переполненной чашей. И по многим другим продуктам, например по сахару, потребление никак не достигало производительности. Даже и к 1916 не убавилось в России ни крупного рогатого скота, ни овец, ни свиней, а жере-

бят по военно-конской переписи обнаружилось на 87% больше, чем в 1912 до всех мобилизаций. Посевная площадь, считая неиспользуемую, превосходила потребности страны в полтора раза.

В Германии с октября 1914 ввели обязательный процентный размол и примесь картофеля к хлебу, с февраля 1915 — карточную систему, 225 граммов муки, летом 15-го весь урожай, отделённый от почвы, тут же и отбирался государством; во всех европейских странах хлеб выпекался с примесями, союзников снабжала зерном Америка, — лишь Россия одна не знала и не предполагала хлебного горя, — ни тёмные правители её, ни просвещённые думские экономисты. Запасы страны даже считать было лень.

Первое странное и удивительное было то, что с начала 1915 вдруг не стало овса. Скакали или топтались сотни кавалерийских полков, вся артиллерия перетягивалась на лошадях, все обозы и транспорты были лошажьи, — а овса почему-то внезапно не стало. В том году для армии ещё хватило его, но уже Петроград и Москва ни по какой цене его не получали.

И как до сих пор все были к тому беспечны, так теперь спохватились все, кто дело с тем имел или не имел, — кто по службе, кто по выгоде, кто по гражданскому сознанию. Уже ни один питательный продукт не оставили теперь без рьяного внимания общества и без ретивых правительственных мер. Тем более, что именно в том году осталась русская армия без снарядов, и общественные наблюдатели склонны стали предположить, что *это* правительство доведёт её и до голода. Действительно, экспорта не стало, продуктов увеличилось — а цены на них почему-то стали расти.

И появилось новое в России выражение: *продовольственные заготовки*. И так это возникло поспешно и грозно, что не осталось времени разобраться, а как дело идёт само по себе? или составить общий план, или подумать, кому б это лучше всего делать? Десятилетиями закупал же кто-то деревенские продукты — посредники, скупщики, торговцы, земства, кооперативы — всех теперь отстранив, грянули поверх них *уполномоченные*. Министерству земледелия, всегда прежде занятому лишь землепользованием и землеулучшением, теперь поручили, не изменяя чинов и штатов, заготовлять продовольствие, и оно поспешно посылало на закупки несведущих людей, а военные власти и даже отдельные воинские части спешили слать своих заготовщиков и комиссионеров. При соревнующемся усердии властей и общества, создавались и начинали действовать многие бессистемные комитеты и надстройки *особо*-уполномоченных.

Так это возникло грозно, что уже 17 февраля 1915 был издан закон, разрешающий запреты местного вывоза и даже реквизиции. Полновластные губернаторы не прошли мимо тех разрешений, опоясали свои губернии заставами и запретами, и так другие местности оказались без притока хлеба и иных продуктов. И если проворные шуйские кооперативы извернулись купить себе хлеб заранее и свезли его в Кинешму на перемол, то теперь запрещён был вывоз из Кинешмы, и своего собственного хлеба Шуя получить не могла. Запретными законами в несколько месяцев были разорваны многолетние естественные связи между производителями и потребителями, разрушена работа и сеть сотни тысяч крупных и мелких хлеботорговцев, приобретавших опытность и умение с молодых лет и часто стоявших на своём деле наследственно. *Уполномоченные* получили право выслеживать хлеботорговцев, угрожать реквизицией, снижать цену — и попросту отобрать торговлю. Добросовестная торговля была контужена, с рынка ушла, и взамен выступила спекуляция, бравшаяся нарушать запреты и везти через заставы, хотя бы по взяткам.

И цены на продукты — росли. К началу 1916 они повсеместно удвоились.

Тогда и правительство бросилось бороться с дороговизною и тем более *общество* (городское, как известно), наиболее страдавшее от неё. Общество собирало съезды по борьбе с дороговизной, правительство — комитеты по борьбе с нею. Отдельно боролись с дороговизною губернаторы и градоначальники, как умели в областях своего властвования. Многодеятельный министр внутренних дел Хвостов-племянник изобрёл такую меру, слишком популярную в последующие годы, как «разгрузка железнодорожных узлов» через облавы на спекулянтов.

Так это высоко выросло перед Россией, что власть не взялась оседлать проблему сама, обходя недоверчивое общество, но — дальновиднейших и образованнейших его представителей, тех же думцев, летом 1915 пригласила в Особое Совещание по продовольствию, во главе которого стал министр земледелия. Новое учреждение натурально пополнилось своею собственной Комиссией по дороговизне, и своими губернскими и уездными комитетами, и своими собственными, уже *главно*-уполномоченными по отдельным продуктам: по сахару, по маслу, по коже... И во всех крупных городах — Киеве, Харькове, Самаре, Саратове, Нижнем, продовольственное дело состояло в руках прогрессистов.

Но ещё могли быть разные направления внимания и усилий Особого Совещания по продовольствию. Можно было обратить их на то, что в иных губерниях — Саратовской, Воронежской, пустовали многие земли Крестьянского поземельного банка — и передать их бездомным, бездельным беженцам, обращая тех ко временной оседлости. Можно было обратить усилия на земли, возвращённые от неприятеля, но не восстанавливаемые после военных разорений по отсутствию средств у министерства земледелия; или на земли, отобранные у немцев внутрироссийских и сразу выпавшие из всякой производительности, — те земли передавать опять-таки Крестьянскому банку, или местным земствам, или пострадавшим воинам, и так возвращать их в дело.

Но нет, эти линии медленного труда не оказались привлекательны для Особого Совещания, где ни единое решение не было принято министром без одобрения общественных представителей. Представители вольнолюбивого русского общества, воспитанные в понятиях прежде всего *борьбы* классовой и экономической, получили внушительную возможность защитить интересы патриотического городского населения от тёмных корыстных сил *аграриев* — термин, хотя и пришедший с Запада, но хорошо усвоенный русскою интеллигенцией: аграрии — это те, кто владеет землёй, то есть прежде всего и главным образом помещики, к ним же приходится отнести, больше некуда, и крестьян (четыре пятых возделываемой земли). Обуздать же аграриев и спасти Россию можно было единственно только *твёрдыми ценами*. Чтобы не дать помещикам выиграть от хлебных цен — готовы были задушить крестьян.

Кто первый предложил твёрдые цены — оспаривали ту честь правительство и общественность. Да впрочем, носился же пред всеми и образец Германии, где твёрдые цены начали устанавливать на год раньше нас. Казалось бы, что в стране с изобилием продуктов твёрдые цены не нужны: производители сами снизят их, наперебой предлагая свой товар. Но Особое Совещание по продовольствию, и активная общественность, и ленивые правительственные уполномоченные громко стали требовать твёрдых цен — и в 1915 их вынужден был ввести, хотя сопротивляясь, тогдашний министр земледелия Кривошеин, — сперва на овёс, затем и на другие хлеба. Однако установлены были твёрдые цены лишь для казённых сделок, на закупки для армии, установлены несколько выше существующих рыночных «с походом», и установлены как раз вовремя, к концу урожая, когда хлеб уже везли, по привычке, сложившейся веками. Частная торговля могла приобретать хлеб ниже твёрдых цен, и уполномоченные не сбивали, они тоже пользовались ценами ниже твёрдых. Благополучно снабжена была и армия, успела и вольная торговля заготовить все запасы, подвезти к своим мельницам, смолоть и обеспечить все местности северной России и центры её. Зимою с 1915 на 1916 год обошлась Россия без голода.

Но в 1916 всё в России продолжало дорожать (к августу от января рубль упал вдвое), общественность встрепенулась и решила: твёрдые цены на хлеб должны остаться во что бы то ни стало умеренными, нельзя допустить обогащения аграриев и обеднения городов! Так ещё с весны 1916 возгорелся в Думе, в печати, повсюду, многогласный спор о твёрдых ценах на хлеб: какими они должны быть в наступающем году, как помешать им вырасти. На это могли ответить только широчайшие совещания. Земские статистики опрашивали производителей, исследовали составление хлебной себестоимости, в уездах и в губерниях собирались съезды землевладельцев и земледельцев и подсчитывали ту же себестоимость. Собирались совещания городских деятелей, чиновников и обывателей, и тоже подсчитывали стоимость хлебного производства — и у них получалось гораздо ниже, чем в деревне, что и разносили газеты, все либеральные и все биржевые: голос *независимой* печати восстал против неслыханных аграрных аппетитов! Жадность аграриев! эгоизм земельных собственников! — обвиняла левая (она вся была левая) общественность. — Им только бы урвать и нажиться на народном горе, они не способны и не хотят подчинить владельческого интереса — государственному.

Главные ораторы и мыслители Прогрессивного блока в Особом Совещании по продовольствию были Воронков и Громан. Воронков, в соответствии с классовым пониманием, выдвинул такое рассуждение, что *крестьянам выгоднее продавать*

дешевле и только помещики хотят продавать дороже; и если повысить твёрдые цены, то как же обойдутся крестьяне бесхлебных губерний, которые хлеб покупают? Именно забота о *крестьянах* и диктовала ему требовать для всей России наинизших хлебных цен, на уровне Полтавской губернии. А единомышленник его Громан, либеральный учёный экономист, впрочем, сильно попортивший земское дело в Пензенской губернии, давал другое теоретическое обоснование тому же выводу: поскольку деньги подешевели, то высокою ценой на хлеб крестьянина не соблазнишь: продав 2—3 пуда, он уже удовлетворит свои нужды (так как не стало на Руси кабака, продажею зерна не добыть водки) — и больше на рынок не повезёт, а то, смотри, и сеять перестанет. А вот если установить низкие цены, то это создаст *нужду на селе,* и тогда город получит достаточно хлеба. (У Громана большое будущее: он ещё будет и «продовольственный диктатор» при Зиновьеве и первую пятилетку будет большевикам сочинять, но не так удачно для себя, посадят.)

К тому же присоединялись и торгово-промышленные деятели (которые тоже хлеб ели, а не растили), и весь согласный общественный хор.

В этом хоре тонули и глохли слабые оправдательные голоса помещиков и крестьян, одиозные для общественного слуха и сиротливые в Думе: что твёрдые цены есть мера принудительного отчуждения хлеба, а став однажды на путь принуждения, с этого пути потом не сойдёшь; что при падении рубля вдвое, зерновые подорожали лишь на четверть-на треть, то есть по сути хлеб не подорожал, а подешевел (но мы-то, горожане, из кармана платим больше!); что низкие твёрдые цены скажутся на крестьянах никак не меньше, чем на помещиках, они несправедливы и для тех и для других; что если дуб обеспечает жолуди — не следует требовать с него и корни; что погоня за дешевизною, низкий уровень твёрдых цен, даже ниже себестоимости (равнение всероссийских цен по полтавским), приведёт к разрушению сельскохозяйственного производства или к тому, что хлеб с рынка уйдёт. (Это — угроза, что он *уйдёт*? вы — *не дадите*? так и говорите! а крестьяне — охотно отдадут свой хлеб, он просто хлынет на рынок!)

> Уровень твёрдых цен должен быть таков, чтобы хлеб охотно везли, ибо измыслить средства, чтобы его искусственно, а тем более насильственно извлечь из 18 миллионов хозяйств, где он находится, задача слишком трудная, быть может и непосильная.

И разные уже совсем мелкие, специальные доводы, призванные прикрыть затаённую собственническую корысть: что должны быть рассчитаны цены с условием вздорожания гужа; что нельзя с городским неразумием лепить неосмысленные цены, кладя их и на семенной материал, какой получается лишь полпуда из пуда; что местный неурожай, как в Курской губернии, сразу удваивает себестоимость — и как же её оправдать ценою? Дескать, не только запретительные меры должны быть против деревни, но и какие-то укрепляющие, чтобы могла устоять производительность; ведь из сельской России взяли в армию 11 миллионов работников, вернули ей только 600 тысяч военнопленными, а требуют того же урожая и по неизменным ценам. Говорили защитники деревни, то есть правые:

> Силу России создаёт крестьянство не в нужде, а богатое и хозяйственное. Как боятся переплатить крестьянину! Как боятся влить в тот бассейн, откуда вычерпают всегда!

Конечно, в образованной России уже полвека было так, что нельзя защищать деревню иначе, как защищая только и исключительно крестьян. Так и сейчас звучали в Думе и в Особых Совещаниях речи депутатов-помещиков. А кроме произносимых речей ещё было, конечно, сопротивление скрытое, действие тайных встреч, кабинетных разговоров. Весь 1916 год звенел разговорами о твёрдых ценах на хлеб, а цены эти никак не могли уложиться. Склонный к ним, поддержанный Блоком, министр земледелия Наумов был в июне снят, а заступивший не сразу граф Бобринский был противник их и вовсе не торопился.

Спор шёл не только о принципе твёрдых цен, не только об уровне их, но и о том, как широко их распространить. Ведь они родились в 1915 лишь для армейских закупок, долгое время не касались остальных сделок, и сохранялся старый непоощрительный порядок, что те, кому удавалось скрыть свой хлеб от уполномоченных, от нарядов, от губернских застав и не продать по твёрдым ценам, — те, перетаясь, могли потом вполне законно продавать свой хлеб по возвышенным вольным ценам.

Несносные аграрии расширяли ещё дальше: почему только о хлебе идёт спор?

твёрдые цены — почему только на один хлеб? Вон, в Германии твёрдые хлебные цены низки, так там — и низкие твёрдые цены на все изделия промышленности, и деревня, дёшево отдавая, дёшево и получает. В Америке хлеб ещё дороже нашего, а промышленные товары, напротив, дешевле. А у нас керосин, железо, сельскохозяйственные орудия за время войны вздорожали в 10 и в 15 раз. Оттого наша деревня и чувствует себя так, словно город рвёт у неё пропитание изо рта. Осмеливались указывать аграрии, что их предпринимательская прибыль никогда не превышает 3%, тогда как за военные годы вакханалически увеличились доходы промышленников (например, Коновалова, виднейшего деятеля Прогрессивного блока) — на 200-300% в год от основного капитала, а то и на 500, и 1000%. Казалось бы: откуда же эти барыши, если повысить цены и на материал и на труд? Только от ограбления потребителей, другого источника не придумать. Нефтяные промышленники, ожидая повышения цен на нефть, у нас имеют возможность остановить нефть — не стесняясь остановкою мельниц. А склады банков, ломбардов и акционерных компаний у нас имеют возможность, не как в Германии, скрыть запасы любого товара до выгодного повышения цен. Устанавливать твёрдые цены — так надо же и для промышленности! Ограничивать прибыль — так надо же и для банков!

О нет! Именно в эту сторону, на промышленность, на банки, на акционерные общества, не взглядывали, тупили глаза первейшие ораторы Прогрессивного блока. Промышленников хлестали социал-демократы, попрекали правые, но либеральный центр, но его лучшие экономисты — никогда.

Так распухал вопрос, захватывая уже не хлеб один, а всю жизнь тыла. Трудно и страшно было русскому сознанию представить Россию зашнурованной как Германия — однако само дело начинало поворачивать к этому, уже страдая как будто не от зашнуровки, а от недотянутости. Вкрадывалось небывалое для России понятие *диктатура.* Опережая нас, её вводили парламентские Англия и Франция, у нас же и правые возражали, что

> тщетны попытки регламентировать такую страну, как Россия,

а Прогрессивный блок воспротивлялся внеправовому насилию над свободным обществом. И когда в июле 1916 начальник штаба Верховного генерал Алексеев представил Государю учредить «гражданскую диктатуру», которой подчинялись бы все министерства и вся оборона, для чего милитаризовать оборонные заводы, тем самым устранив забастовки на них, одновременно обеспечив рабочие семьи дешёвым питанием, солдатским пайком, освободив их от добывания пищи, — свободолюбивые русские фабриканты, поддержанные кадетской и социалистической общественностью, возмущённо отвергли вмешательство военного произвола в заводские дела. Впрочем, и Государь, не способный принять волевого цельного решения, поколебался и образовал несколько бездельных промежуточных комитетов.

За этими всеми спорами, за течением месяцев 1916 года твёрдые цены на хлеб, именно на хлеб, сами собою врезались в русскую тыловую жизнь. И военные власти, и государство, и общество сошлись на их неизбежности. От месяца к месяцу расширялся их охват: закупать по ним уже могли и уполномоченные оборонных заводов, и уполномоченные столиц и главных городов, и вот уже невыносимой становилась двойственная система хлебных цен, и съезды уполномоченных и земские, и думские деятели требовали полного запрещения нелепой вольной торговли, да и правые депутаты уже не видели иного выхода, ибо свободная торговля всё равно была сотрясена и убита.

А вводились твёрдые цены в 1916 так. Вся Россия, грамотная и неграмотная, ведала, что будут твёрдые цены, но спор идёт об их высоте. Уровень цен следовало объявить в начале лета, на юге закупка начинается с конца июня и постепенно передвигается на север. Но целое лето прошло в спорах. Наконец, в сентябре цены объявили (по настоянию потребительных членов Особого Совещания весьма умеренные), но и тут никто не поверил им, ибо тут же против них с двух сторон началась кампания: с городской — что полтора рубля за пуд ржи это непомерно много, с помещичьей — что это несправедливо мало. Мелькнуло в газетах, что три министра считают цены преуменьшенными. И так у сельской России не было уверенности, что вот и окончен спор, что не дождаться цены повыше. Ещё хлеб помещиков шёл, ибо им нельзя остановить оборота, крестьянский же хлеб как заколодило. *До* твёрдых цен шла торговля ещё по вольным, и мельники на местных базарах ещё могли делать

запасы и кормить население. А как только были назначены твёрдые цены, так крестьяне с ругательствами повернули с базаров свои возы домой.

Был упущен тот многолетний психологический момент, когда хлеб вывозится на рынок. А упустив, уже ничего нельзя было исправить — теперь не вызвать было хлеб, даже увеличивая твёрдые цены: не слишком нуждаясь в бумажных деньгах, производители ждали бы, что повысят ещё.

Армейские уполномоченные заготовляли хлеб реквизициями, но большая торговля не повезла хлеба ни по летним, ни по осенним рекам. В 1916 упущена была вся навигация — главный питающий канал русской хлебной торговли. Нижегородский караван, традиционно забиравший 10 миллионов пудов нового урожая с нижней Волги, сходил в низовье зря и воротился на зимовку порожним. Первоклассные мельницы среднего и верхнего Поволжья, моловшие для всего Севера по сто тысяч пудов в сутки, осенью 16-го года остановились и распустили рабочих. И на станциях железных дорог немало товарных вагонов простояли пустыми, тщетно ожидая зерна. Новгородская, Псковская, Архангельская губернии всё непоправимее теряли возможность купить хлеб. А тут началась осенняя распутица, размыло русские грунтовые дороги, — и хотя был ещё месяц навигации в запасе, но до пристани и до станции уже и при всей охоте было не довезти зерна.

Урожай 1916 был собран — солдатками, стариками и подростками — полноценный. Но оказался н е т а м, где был он нужен: по всей российской глуши он остался томиться в амбарах и в зародах, недоступный для мельниц, пекарен и городских булочных. Б ы л хлеб в России — и как бы не оказалось его. Не было в России голода — и вот он нависал к весне 1917. Уже с осени ощущали хлебные перебои даже южные Харьков или Ростов-на-Дону. Москва же и Петроград не сделали запасов, а питались ежедневным правительственным подвозом.

Прогрессивная общественность могла бы торжествовать: ей удалось навредить ненавистному помещику, добиться низких твёрдых цен. Но вопреки предсказаниям кадетских экономистов, к изумлению Громана, тяжёлое положение создалось не в деревне, гоня зерно на рынок, а — в городах, отягощённых ещё и беженцами с запада. «Аграриям» — нажиться не дали. Но дали — городским спекулянтам.

Перед громким самоуверенным голосом образованного общества лишь редкое стойкое правительство смеет упереться, подумать, решить самостоятельно. А русское правительство под укорами и настояниями общественности то уступало, то колебалось, то забирало уступки назад. Его воля была размыта, текла такой же жижей, как русские осенние грунтовые дороги.

Как во многих крупных общественных процессах, разновременные и разнонаправленные усилия отдельных групп постепенно складывались в единое движение истории. Концы какой-то непонятной верёвки, не различаемой на близком отстоянии, попали — один в руки общественности, один — в руки правительства, и те и другие то уверенно, то с колебаниями выбирали, тянули её к себе, сколько могли. И не осмотрелись, что верёвка та закладывается сама в петлю, а та петля оказывается не где-нибудь, а на питающем горле России.

После роспуска Думы в сентябре 1915 кадетское разочарование было очень глубоко. Говорилось, конечно, что теперь события пойдут *мимо* монарха, что он сам себя поставил в положение *расплаты* и только придётся отложить её до поражения Германии. Даже сдержанный М а к л а к о в прозрачно выразил это в «Русских Ведомостях»:

> Если по горной узкой дороге вас и вашу родную мать везёт шофёр, который не умеет править, или устал, ослеп, не понимает, что делает, но ухватился за руль и не хочет его передать, — разве решитесь вы силою выхватить руль? Нет! Вы даже будете помогать ему советом и *отложите счёты с шофёром до того вожделенного времени,* когда на равнине...

Оттого что правая часть Блока не видела беды в происшедшем:

> Мы отнеслись трагически к смене Верховного — а Государь видел дальше, перемена оказалась к лучшему. Мы настаивали сменить министров — остался самый нежелательный из них, Горемыкин, и война пошла лучше. Прекратился поток беженцев, не будет взята Москва! — это бесконечно важней, чем кто там будет министром и когда созовут Думу.
> Итак, если будем махать руками против правительства — уроним свой авторитет, —

тем горше чувствовали себя кадеты: не зря ли в этот Блок вступили? Длинный фланг левых партий всё время перетягивал левое кадетское крыло, ведь партия уважалась интеллигенцией тем больше, чем она левей, и в их благородном веере кадеты были сборищем министерабельных оппортунистов. И в самой кадетской партии было своё левое крыло, его лидеры Некрасов, Маргулис, Мандельштам обвиняли Милюкова, что он завёл партию в болото, требовали равнения налево, допустить нелегальные приёмы в тактике, соединиться с социалистами и уж конечно выйти из Блока.

Крушение надежд признавал и центр Блока.

> Е ф р е м о в: Общество удручено, что Блок себя никак не проявляет. Закрыли сессию Думы — Блок промолчал, не приняли депутацию — Блок промолчал.
>
> К н я з ь Г. Л ь в о в: Блок хотел принести жертву, разделить тяжёлую ответственность, тупые же люди объяснили стремлением к какому-то захвату власти. Блок ни в чём не ошибся. А вот Россия висит в воздухе.

С 1915 на 1916 нужна была Милюкову богатая способность аргументировать, большая устойчивость в ногах над тем обрывом неопределённости, где замялся Блок. Рядовому взгляду так не проникнуть, но выдающийся лидер предвидел и открывал ближайшим: Блок — своего часа дождётся. Едва кончится война — Франция и Англия уже ни копейки не дадут правительству, безответственному перед Думой. Чем ближе будет победа — тем сговорчивее станет наше тупое правительство к Государственной Думе: в ссоре с ней ему нельзя явиться на мирный конгресс. Тупей его самого тот тупик, в который оно себя загнало, начав войну с Германией. Только не дать ему помириться с Вильгельмом, а гнать его на войну до победного конца! — и победа отдаст русское правительство в руки либералов. Отсюда стратегия: ждать и терпеть.

С другой стороны, конечно, нарастает революция, и в этом-то и сложность, и тут должно проявиться всё умение кадетской партии: сдерживать своё справедливое негодование, помнить: расплата с правительством после войны. Переносить от правительства унижения, притеснения, презрение — но не дать произойти общественному взрыву во время войны, чтобы не победил Вильгельм и не отдал бы нас в полную власть Николая. Когда же русское общество всё равно неминуемо взорвётся — это будет уже на другой день *после войны,* и трусливое правительство капитулирует так мгновенно, что русские либеральные образованные круги успеют бескровно перехватить власть, особенно с поддержкой Англии и Франции.

Так что мы всё равно скоро будем у власти.

Все месяцы они собирались по частным петербургским квартирам, и у Милюкова хватало методичности, не дремля, записывать для истории томительные колебательные прения. (Потом он покинул их в России, не взял в эмиграцию, где вероятно уничтожил бы. Читать те записи теперь свежее, чем хитро отглаженные мемуары или вышедшие в печать речи.)

> А с т р о в: Слои внизу испытывают к нам ненависть и раздражение. Гнев населения обрушивается не на правительство, а на общественные организации.
>
> М а к л а к о в: Левые ведут отвратительную атаку против цензовых. Боюсь коренного разногласия с левыми.
>
> М и л ю к о в: Надо подготовлять материал для самооправдания от левых.
>
> М а к л а к о в: Но с момента, когда мы начнём конфликт с короной, — я не боюсь левых. На чём можем возбудить общественность? На эффектном лозунге. Поднять забастовки? Этого пути мы боимся. Я надеюсь на 11 марта. (День убийства Павла I.)
>
> К н я з ь Г. Л ь в о в: Если упираться в конфликт с короной — может быть провал. Ведь мы соединяем людей деньгами и шкурными интересами.
>
> Ч е л н о к о в: Боюсь, что «подъем» будет неврастенический. Сколько раз повторять резолюции?

Как-то забрёл и

> Г у ч к о в: Я готов бы ждать конца войны, если б он был обеспечен благоприятный. Но нас ведут к полному поражению и краху. Ваше

и наше молчание будет истолковано как примирение с властью. Надо — разорвать мирные отношения с ней.

Меллер: Мы страшны теперь тем, что молчим. Наша позиция очень сильная.

Вл. Гурко: Если будем молчать — сам Гришка станет премьером. Действует только страх. Напугать их до белой горячки. Обращение к улице? Может быть, в крайнем случае.

Стемпковский: Снабжение армии теперь наладилось. Так будем валить на правительство — дороговизну, железнодорожную разруху.

Ефремов: Надо прессу подговаривать.

Шидловский: Включить в будущую думскую резолюцию фразы и мысли патриотические, которые страховали бы Думу. Не поднимать рогатых вопросов, чтобы сохранить Блок.

Милюков представил проект резолюции ещё не собранной Думы. Было в ней, кажется, именно то, без чего невозможна победа над Германией: прежде всего — амнистия революционерам; потом — права евреям, умиротворение народностей; наконец, *правительство из лиц, сильных доверием страны.* И опять упёрлись в это заклятое:

— Как выяснить власти этих лиц? Где признаки того, что лицо «обладает доверием страны»? Завтра скажет Государь «согласен» — а где они?

— Указывать имена неделикатно.

Дмитрюков: Никакое «доверие» не значится ни в каком государственном праве.

(А между тем, почему бы ему не быть?)

Ефремов: Опасно придавать чрезмерное значение смене лиц. Необходимо менять систему. Формула «министерства доверия» — ошибка, министерство должно быть *ответственным,* министры — не выгоняться сверху, а — уходить, когда им будет отказано в доверии Думы.

Милюков: Это — смена самого государственного строя. Так не делают во время войны. Не перепрягают лошадей при переезде через реку.

Но одну несомненную ближайшую главную задачу Блока приняли все:

— Сделать козлом отпущения Горемыкина. Всё валить на него.

— То мы говорили: Думу нельзя собрать с Горемыкиным, а теперь соглашаемся?

— Серьёзный разговор с Горемыкиным наступит только после войны. Набраться терпения и ждать.

— Нет, нельзя допустить, чтоб Горемыкин заключал мир.

— Если состоится полная победа над Германией — тогда уже не воскресим злобу против Горемыкина.

— Бить в набат: совет министров — единственная в стране непатриотическая группа!

Шульгин: Всю пьесу так и располагать: пока не разгонят — побольше сказать!

Но — ни к чему не годная неповоротливая власть опять сманеврировала быстрее Блока. В середине января, за три недели до Думы, был снят, уведен от удара закланный древний Горемыкин. И — кто же вместо? Николай II как будто нарочно сочинял фарс. При высшем напряжении всемирной войны и клокотании русского общества — кого же из одарённого своего народа, кого же из 170-миллионной России, по какому клоунскому признаку избрал он премьер-министром? Старательного службиста из департамента общих дел, прирождённого заведующего церемониальной частью, гофмейстера Высочайшего Двора, ещё и с немецкой фамилией, — Штюрмера. (Вполне он был честный, да даже и деловой, только со слишком средними способностями, — а главное, уши императора не различали издевательского звучания.) Две горемыкинских далеко разведенных бороды сменились на одну гладкую длинную швабру, будто приклеенную, как у рождественского деда. И если прежний гадкий Горемыкин всё хотел править сам, без Думы, то новый всероссийский церемониймейстер не только не возражал против длительных её сессий, но он с Прогрессивным блоком ладить хотел, он пригласил Думу — на раут!

Ошеломлённое бюро совещалось тайно:

Шидловский: Отчего бы на раут не пойти?

Милюков: Ни в коем случае, продешевим.

Ефремов: Выжидательной позиции занять нельзя: правительство почувствует себя уверенней. Сразу же сказать правительству не верим!

Маклаков: Как же это: в первый день — и уже правительству не верим? Это будет предвзято.

А тут ещё воинственные земгоровцы привезли в Петроград свою записку думцам: не то что победы не будет, но ни дня дальше нельзя воевать при этом правительстве!

Н. Кишкин: Пути сообщения, продовольствие, беженцев — всё отнять у правительства, всё передать общественным организациям! А иначе — полный разрыв с ним!

Н. Щепкин: Сохранять ли видимость Государственной Думы — просто для свободной кафедры? Или, при бесславном существовании, она уже потеряла своё значение, и полезнее для страны даже полный роспуск Думы?

Астров: В Записке мы хотели изложить наши впечатления. Исправлять — не надо: объективное изложение — не наше дело. Ждём от Блока уверенного грозного тона. Сердцевина общественных организаций утомляется.

Дума собралась 9 февраля 1916. Первоначально хотели оттянуть ещё на две недели и собрать её в прощёный день — последний день масляны, дорогой всякому русскому человеку, когда православные земно друг другу кланяются и просят прощения. Но кадеты были уже слишком не православные, и прощёный день мало обещал умягчить их. Однако чувствовал трон какую-то неловкость или ошибку свою, и, самый представительный толстяк России, Родзянко имел успех: уговорил Государя на необычный шаг — посетить Думу при её открытии, вообще первый раз в жизни посетить её. В Екатерининском зале собравшиеся депутаты крамольной Думы долго кричали Государю «ура». Прошёл торжественный молебен — и члены Думы, кроме самых левых, пели «Спаси, Господи, люди Твоя». Государь был очень бледен вначале, войдя в эту клетку тигров, но постепенно успокаивался.

Если бы этот человек не был вечно скован заклятою непростотой от неуверенности в себе — ещё и в этот день ему доступно было изменить историю России: вдруг бы глянув открыто, улыбнувшись широко, руки депутатам пожимая по-мужски, да даже взойдя быстро на думскую трибуну под свой же холодный длинный портрет и оттуда с широкой душой открывшись российским подданным, что — трудно ему, трудно и тоскливо, но заодно с представительством (уж там народным или псевдонародным) надеется он дружно одолеть Вильгельма, а мира сепаратного не будет никогда! и такой мысли в нём истинно нет, и такого движенья никогда не делал, ибо для того надо быть предателем России, а он, царь её, первый должник её, уж там худо ли, хорошо, но по способностям своим радеет ей служить. И это чтобы не только словами, но самим голосом звучало твёрдо и громко! Да ещё сменить бы свой выбор министра-председателя, да вместо церемониймейстера и поставить какого способного человека, — ведь хуже вряд ли бы получилось.

Но ещё со смертью Александра III умерла энергия династии и её способность говорить открытым полным голосом.

Увы, и в этот день выраженья лица, слова, жесты и действия монарха были самые скованные, самые уклончивые. Сказал незначащие слова кольцу окружавших его депутатов, впервые за 10 думских лет заглянул сбоку в зал заседаний, спросил — на каких скамьях какая партия сидит, расписался в золотой книге, приветливо поговорил с более понятными ему чинами канцелярии — и уехал. (Брат Михаил хоть остался поскучать на думском заседании.)

И на трибуну Думы взошёл вялый старый гофмейстер с долго-щёточной бородой, и слабым голосом читал по тетрадке декларацию правительства.

Отвечал

Милюков: С некоторого момента незнание специальности стало как бы патентом на министерское назначение. Это — *министерство недоверия* к русскому народу. Схожу с кафедры без ответа и без надежды получить его от нынешнего правительства.

Но прекрасно владел он этой мерой: как будто и рвать — а не напрочь. Край пропасти всегда ощущал он осторожным копытом.

Это главное усилие — удерживание, и выпало на Милюкова почти во весь 1916: удерживать Прогрессивный блок; и удерживать бешенеющий ЗемГорСоюз; и особенно удерживать левых в своей партии. В конце февраля на съезде кадетов левые уничтожающе крушили Милюкова — резче всех кадеты Киева и Одессы, и московский присяжный поверенный

Мандельштам: Милюков уверен, что спасает партию от гибели, а между тем губит её. Пока не поздно, нам надо перейти на другой берег пропасти, блокироваться не направо, а налево. В политических расчётах нужно исходить из того, что после войны должна быть расплата, строгий народный суд. Будем откровенны: в нашей среде есть много таких, кто в революции видит одну только пугачёвщину. Но если мы не хотим бессмысленного бунта, мы и должны стремиться играть в народном движении руководящую роль.

Отчасти склонялся к ним и

Шингарёв: Вся наша задача — не дать взрыву народного отчаяния похоронить победу над Германией. Но мы должны страшиться и того, чтобы после войны, когда начнётся строгий суд над преступным правительством...

(правительство — уже на *скамье*, это дело решённое)

...нам не был бы послан упрёк, что мы оказывали ему поддержку. Нужно раз навсегда установить: Штюрмер для нас во сто крат хуже Горемыкина!

(Вот тебе так! Недавно — хуже Горемыкина придумать было нельзя, только бы Горемыкина сшибить, всех собак на него вешая, теперь — ещё *во сто* раз хуже!)

...В лице Горемыкина мы имели по крайней мере прямолинейную честную власть.

(Этого никогда не молвили раньше.)

...Там была безумная ставка реакции — погибнуть или победить. Штюрмер — это воплощённая провокация, лисья тактика. Его задача — обмануть и выиграть время. Не будем же помогать Штюрмеру исправлять страшные ошибки власти: пусть она тонет! т а к о й власти мы не можем бросить и обрывка верёвки! Никаких переговоров с ними!

Но — прочно, уверенно упирался

Милюков: Само существование Блока загнало власть в угол. Широкой оглаской в печати, энергичной критикой в Думе мы эту власть заставим подчиниться контролю общественных организаций!

А если ещё вспомнить стратегический расчёт кадетов: чем ближе к мирному конгрессу, тем вернее отдаётся им в руки царское правительство... Блок своего часа дождётся...

И — выстоял. И большинство собрал. И надолго, почти на весь 1916, Прогрессивный блок как будто засел в окопы, лишь ожидая грозного конфликта, а пока занимаясь рядовыми думскими делами. Не разгонял их и Штюрмер, воплощённая провокация, — и Дума спокойно проработала два месяца до Пасхи, а летом — ещё месяц. Даже сонностью повеяло от её заседаний. В этом году на фронте не было великого отступления, а были успехи против Турции, дела казались намного лучше, и правительство не падало, а как будто даже укреплялось.

Но через хладнокровный Прогрессивный блок всё более перехлёстывали сатанеющие Союзы. Едва кончился съезд гучковских Военно-промышленных комитетов,

...нынешний преступный режим, готовящий полный разгром страны... Государственной Думе решительно стать на путь борьбы за власть, —

и вот уже съезжались в Москву делегаты Земского и Городского союзов. Этих съездов бурно требовала провинция, а особенно — Киев, Одесса и Кавказ. Осмотрительный Челноков, как мог, оттягивал городской съезд, но вот пришлось открывать его:

Ничего не подготовив к войне, правительство на каждом шагу проявляет свою вредную деятельность. Когда мы увидели, что правительство ведёт страну к гибели и готовит армии разгром, мы принуждены были взять дела в свои руки. Мы не хотели заниматься политикой, но нас заставили. Как и в сентябре, мы требуем: прощения политических преступлений! уравнения наций! ответственного...

Но неукротимый

Астров: Правительство — в руках шутов, проходимцев и предателей!.. Опомнитесь! Уйдите! Скоро мы разобьём *вашего союзника Германию!*

Примчавшийся их уговаривать

Милюков: Резолюции съезда, как искра, могут вызвать большой пожар. Не нужно идти на полный разрыв с правительством...

Но круче всех восходила звезда князя Георгия Евгеньевича Львова. Он по кадетскому списку проходил в две первые Думы, ездил и в Выборг, но Воззвания не подписал, утёк. (Милюков: «Мы почувствовали его не нашим.») А уж в 1915-1916 и каждый образованный русский, не стоящий прямо у власти, прекрасно видел, как именно можно и нужно Россию спасти. Заразило, захватило и возносило князя Львова, председателя Земского союза. И возглавлял он пышный объединённый банкет в ресторане «Прага», где сошлись после съездов наиважнейшие их участники.

Над сверканием скатертей, хрусталя и серебра опять взмывали лучшие традиции 1904 года. Демонстративно, бурно чествовали представителей Польши, Финляндии, а особенно Кавказа, а особенно — тифлисского голову Хатисова, который и на съезде, и на банкете, и в кулуарах повторял и повторял:

Знайте, что на Кавказе — нет правых! На Кавказе есть лишь: умеренно-левые и крайне-левые! И весь Кавказ не́ просит, а́ требует! И чем громче, и чем решительнее...

Да что ж резолюции, что ж декларации, во всех этих общениях вырастал новый грандиозный план: *пора вообще игнорировать правительство* — и все российские дела, и всю Россию брать общественности в свои руки! Конечно, нас пока мало — но вокруг наших ячеек можно сплотить всё русское общество!

Дородный фабрикант, мануфактур-советник европейского лоска, большой либерал и пианист-любитель, а речью скудный

Коновалов: Под флагом Военно-промышленных комитетов возрождаются рабочие организации. На предстоящем рабочем съезде родится Всероссийский Союз Рабочих. Эта стройная организация увенчается как бы Советом Рабочих Депутатов.

Очень ему желалось Совета рабочих депутатов! А вместе с Гучковым и Рябушинским он спешил создать и Торгово-Промышленный союз. И уже сейчас создать Центральный продовольственный комитет, который совершенно изымет из рук правительства продовольственное дело.

Сложнее обстояло с созданием Всероссийского Крестьянского Союза, но и его готовили под видом Всероссийского Кооперативного.

Повторялись, повторялись золотые гордые звучания, набегали святые тени того первого решительного Союза, который породил все прочие союзы и слил их в грозный Союз Союзов!

Некрасов: И когда они все возникнут, то выделят высший орган — и это будет штаб общественных сил России.

К нему примкнут и все национальные организации. И, с опорой на мобилизованный народ и мобилизованную армию (нет разницы между казармой и улицей, благоприятная конъюнктура!), — вся Россия в наших руках!

Так это дивно звучало на банкетах, так это стройно разогналось, и оставалось ждать плодов. Не выпуская в газеты, тихо подрабатывали и состав правительства доверия. В премьеры теперь намечался уже не Родзянко, который своею бычьей фигурой не достаточно противостоял короне, и даже подозревался в низком консерватизме, и даже принял царский орден в декабре 1915, а — духовный гигант князь Георгий Львов, по всем данным — великий человек и прирождённый вождь свободной России. Дела иностранные бесспорно доставались первейшему их знатоку Милюкову; торговля и промышленность — конечно, усидчивому Коновалову; военные дела — пожалуй Гучкову.

Увы, весна и лето 1916 не оказались благоприятны для российского Освободительного Движения. Правительство доверия было сговорено, однако к управлению не звали его. Союзы были кликнуты — но что-то не создавались. Корыстные торговцы не захотели, чтобы движение товаров и цены на них определялись бы кадетами, а приказчики, покинув прилавки, выступали бы с речами. Крестьяне по темноте не

валили в Кооперативный Союз. Продовольственному комитету никто не подчинялся. Тем временем *преступный режим проходимцев и предателей* начал наступление (брусиловское) против *своего союзника Германии* — и армия дала себя увлечь, пошла в наступление и имела успех, и даже стало так казаться, что эту войну Россия не обязательно и проиграет, — чем чёрт не шутит, ещё и выиграет. В марте казалось: уж так всё натянуто до предела, вот лопнет! — но и правительство Штюрмера, во сто раз худшего, чем Горемыкин, необъяснимо сидело на том же месте — и, опаснее того: в обществе как будто ослаблялась враждебность к правительству, появлялась готовность сотрудничать с ним.

Более того, правительство решилось на беззастенчивый натиск: в апреле было издано небывалое, почти террористическое распоряжение о запрете самовольных съездов! Но Земгор не мог помогать армии лишь в форме повседневной работы — он нуждался в частых губернских и всероссийских съездах! Тогда власти решили присылать на каждый съезд вице-губернатора, который имел бы право прекратить собрание, если б оно вышло за рамки деловой программы. То есть у общественности отнималось последнее право: собраться за казённый счёт и вволю обнести и понести правительство! Задохнуться можно было от такого террора!

А тут ещё департамент полиции выпустил из рук свой тайный обзор деятельности общественных организаций. Обзор выглянул и в печать, ходил по рукам, — и многие деятели с неприятностью узнали, что их планы и высказывания на весьма как будто конспиративных встречах отлично известны в департаменте полиции. А так как свободолюбивые гражданские речи их...

Аджемов: ...содержат все юридические признаки статьи о ниспровержении существующего строя,

и правительство лишь по непонятной простоте так ни к кому до сих пор и не применило этой статьи, — то многие деятели стали держаться поосторожнее.

И — глубокое разочарование овладело самой передовой общественностью.

Тоже и Государственная Дума на своей скучной июньской сессии никак не добивалась власти, и депутаты даже плохо посещали заседания. Попросту дремал (в ожидании *своего часа*) Прогрессивный блок, а его лучшие лидеры и вовсе отсутствовали: на несколько месяцев поехали в Европу в парламентской делегации.

Правда, эта поездка была удобный способ для того единственного, что русской общественности осталось: пожаловаться союзникам на императорское правительство, самой же наглядно представиться парламентским кругам демократических стран, просить их помощи себе и отговорить от займов России после войны. (Коновалов, по-фабрикантски неутомимый, а для политики не жалеющий ни времени, ни денег, предложил передовой русской общественности даже готовить особый журнал на английском и французском языках, издаваемый на Западе, где пояснялись бы западному обществу суть и ход борьбы либеральных русских сил против своего реакционного правительства, давались бы личные характеристики как негодных министров, так и — крупных фигур левого лагеря, готовых принять власть. Такое издание, рассылаемое на Западе бесплатно, очень бы способствовало завоеванию сердец европейской и американской общественности.)

Милюков своей заграничной поездкой был не то что доволен, но просто упоён. Да после безвыходных партийных русских склок — как было не расцвести в европейском воздухе! Он вернулся в Россию, чтоб ещё успеть выступить перед закрытием думской сессии, и тут же, узнав этот вкус, снова уехал на лето — почитать лекции в Христиании, в Оксфорде, затем и просто отдохнуть на Женевском озере от этой ужасной войны. Он воротился в Россию лишь в сентябре — но тут его ожидали политические удары.

В безбоевом течении этого года — от драматических дней создания Прогрессивного блока, что-то было Блоком упущено или переснижено, так ощущалось в российском сентябрьском воздухе: *Блок своего не дождался.* Начало ощущаться, что за сиденьем его оттесняют другие. Уже такое немыслимое понесли по обществу, что Дума есть буржуазное сборище прихвостней Штюрмера!

Надо было спешить оправдаться перед демократическими кругами! Хоть и нехотя, а начинать какой-то натиск. В конце концов, и сам Павел Николаевич мог так потерять своё лидерство...

Что ещё уязвляло его лично — что уволив Сазонова, человека почти блокского, драгоценное министерство иностранных дел вручили той же швабре Штюрмеру.

А тут ещё сильно намутил, навредил Прогрессивному блоку Протопопов. Это был предводитель симбирского дворянства, ещё — владелец суконной фабрики, теперь по моде и член Военно-промышленного комитета, уже всем бы тем представитель общественности, но более того, — давний и нерядовой член Государственной Думы, и хорошего направления — ещё в 3-й Думе вёл запрос о незаконной деятельности Союза Русского Народа, а в 1914 был избран подавляющим большинством в товарищи Председателя Думы — и никто не усматривал в нём каких-либо пороков. По положению своему он и возглавил заграничную делегацию Думы, так что формально стоял выше Милюкова, а возвратясь — был принят Государем, и из свидания истекло событие почти громовое: член Прогрессивного блока и один из лидеров Думы в сентябре был назначен на должность министра внутренних дел!

Что случилось? Блок победил на внезапном направлении и во внезапный момент! Колоссальная победа общественности (и капитуляция власти), о которой нельзя было и мечтать! Это и был первый шаг в создании министерства доверия: вот стал министром человек, облечённый доверием Думы, то есть всего народа! — теперь надо ожидать и последующих приглашений: после министра-октябриста вполне возможен и министр-кадет. Вся печать приветствовала назначение Протопопова, а биржа ответила повышением бумаг.

Увы, и власть и сам Протопопов тут же разбили надежды общества. Протопопов стал говорить, что он обворожен Государем, готов положить силы на укрепление самодержавия, а в одном разговоре даже признался, что основа его программы — борьба с общественными организациями! Всё назначение оказалось не началом новой эры, но мелким подлым перебежничеством! Оказалось, что думцы недостаточно приглядывались к своим товарищам, которых возносили на кафедру. Зато теперь они с удивлением разглядели его: он не имел никакого образования, ни в чём не был знаток, был чужд всем слоям общества, захудалый дворянин, хилый промышленник, да и в Думе не имел серьёзного влияния, прошёл под модным флагом левого октябризма. Сам по себе был человек избыточно-нервный, юркий, истеричный, легко поддающийся впечатлениям, даже нервно-больной, так что одно время уходил от семьи и лечился у тибетского врача, и даже сходил по лестнице задом. У него не было никаких талантов, ни привычки к систематической работе, ни определённых взглядов на государственные вопросы, даже устойчивой ориентации в действительности — то, что называется «без царя в голове». Вспоминали, не был ли он приятель Сухомлинова, а уж к Распутину конечно вошёл в милость. И назначение этого ненормального человека и нечестного изменника никак не была та желанная угадка *некоего лица,* по скромности не названного, но — хитрый манёвр на раскол Блока.

За какой-нибудь месяц Протопопов сосредоточил на себе презрение и ненависть общественной России — и сам же этого не выдержал, заметался, делал смешные шаги: то в Думе, где ему не давали ответить на обвинения, пересаживался с министерского места на депутатское, и просил слова оттуда; то на днях, в октябре, на частную встречу с лидерами Думы пришёл в жандармском мундире — и уж вовсе погубил себя в их глазах. Двуизбранник — Думы и престола — заметался и в своих министерских действиях и проектах: то укреплял расслабленную в губерниях полицию, требовал телеграфных докладов о политических речах в земских собраниях, готовил проект предварительной цензуры (без которой Россия так и прошла всю войну), тайно выслеживал сношения главарей Блока с английским послом Бьюкененом, — то собирался доконать разрушение еврейских ограничений, нето начинал готовить закон о принудительном отчуждении помещичьих земель (чем очень напугал Думу, потому что обезоруживал её революционно). В министерстве своём он создал хаос нерассмотрением бумаг, в помощь себе пригласил старую опытную полицейскую собаку Курлова, — но, трепеща Думы, опасался открыто провести его назначение, и это вызвало новый скандал. В конце октября 1916 колебался он: не запретить ли предстоящую сессию Думы.

Активность Протопопова не миновала и хлебного вопроса. Он присоединился к точке зрения (компрометируя её) свободной торговли и отмены твёрдых цен. Опротестовал циркуляр министерства земледелия о всеобщей системе закупки и распределения хлеба с привлечением местной общественности, комитетов в кооперативов (довольно справедливо подозревая, что комитетская помощь будет направлена к возбуждению населения, как это и делали съезды по дороговизне), запретил комитеты в волостях, а в газетах просквозило, что он добивается передачи всего продоволь-

ственного дела к себе в министерство внутренних дел, сам же он опровергал. А хлебное дело так и зависло между двумя министерствами, в ещё худшей недвижности.

Да не так хлебный вопрос волновал кадетских лидеров, как вся позорность этой истории с Протопоповым, кладущая пятно на Прогрессивный блок, как раз когда Блок высмеивался даже левым крылом кадетского ЦК.

Коновалов, отзывчивый на подпор общественного возмущения и достаточно свободный в средствах, завёл новый тип *коноваловских совещаний* в своём московском доме — с целью «оживить пульс московской жизни», заложить мост между к-д и с-д.

> На другой день после мира у нас начнётся кровопролитная внутренняя война. В России уже сейчас нет никакого правительства,—

говорилось там. И правда, напуганное правительство всё меньше давало себя знать как реальность.

> Предстоящая сессия Государственной Думы должна быть решительным натиском на власть. Более благоприятный момент для *штурма власти* едва ли повторится.

Да, это уже кадеты понимали:

> Мы дошли до момента, когда терпение окончательно истощено и доверие до конца использовано.

Больше года терпеливая либеральная общественность предлагала перенять управление и спасти страну — но нельзя было убедить корыстных слепых безумцев, вцепившихся в руль! Отложить выступленье ещё? — дождёмся, что и Думу обзовут черносотенной. Хоть нежеланно, хоть через силу, а надо действовать.

23 октября собралась, закрыто от прессы, всероссийская конференция кадетов. И тут снова решительные провинциалы захлестнули столичных соглашателей левым негодованием: осторожность Милюкова убивает партию в глазах всё левеющего общества; разъезжая по заграницам, он не знает настроения; а ведь в 1917 году будут выборы в 5-ю Думу; если в последнюю сессию 4-й не набрать авторитета, не показать народу своей решительности, не хуже левых партий... И так уже прохлопали польскую автономию, не добились, — и вот Вильгельм объявил польскую независимость! Разве кадетам надо объединяться с умеренными? Нет, с Земгором! с кооперативами! с рабочими! профсоюзами! Бороться — вне Думы! И лучшая платформа — продовольственный вопрос!

Да, это правильно, продовольственный вопрос очень был выгоден для возбуждения и для ударов по правительству, но дело в том, что сами кадеты не знали, как его решать. В этом продовольственном вопросе и в этой дороговизне таилась грозная загадка: тёмный обыватель был живее захвачен ими, чем даже войной, победой и проливами. Но интеллектуальная партия кадетов не могла опускаться так низменно и утеривать историческую перспективу государственного величия.

Однако, всё более косный, всё более упрямый, всё более оглядчивый Милюков и тут устоял: ограничиться только думской борьбой и — никакой нелегальщины, никакой подпольщины!

> Охваченное ужасом правительство в последний момент, конечно, ухватится за нас, и тогда нашей задачей будет не добивать его, а обосновать конституционный строй. Вот почему в борьбе с правительством необходимо чувство меры. Народная мысль и без того имеет опасный уклон в сторону анархии, в тёмных углах подорвана государственная идея.

Устоял и собрал голоса, но уж в Думе в этот раз было не миновать атаковать.

Заклятый клин: или военная победа без нас (если будем слишком сдержанны), или революция поверх нас (если будем слишком буйны). Свалить правительство — возможно ли без массового движения? А массовое движение перекинется в революцию?.. Легко провинциалам съехаться, пошуметь и разъехаться. Но каково парламентариям, у которых нет никакой силы, даже силы голосования. И только может быть в том единственная сила Думы, что её нельзя разогнать: если разгонят, то такое начнётся, такое! вся Россия долготерпеливая подымется!

А вдруг — и не подымется?..

Изо всего выход был ясен: сбить Штюрмера. Продолжение войны третий год было не опасно, всем своим красноречием Прогрессивный блок гнал русское государство глубже и дальше в эту войну. И недостача хлеба, дороговизна его и возможный голод тоже не были так опасны. Главная опасность была — Штюрмер. Если бы Штюрмера снять и заменить кем-нибудь из Прогрессивного блока — перед Россией открывался путь спасения.

Чем ближе к ноябрю, тем меньше дневного света в Петрограде. И собирается ли бюро Блока на частных квартирах в долгие вечера или в 11-й комнате Таврического дворца нерассветающими утрами, — всё при электрических лампах текут их тягучие трудные совещания, под кругами настольных ламп на зелёных бархатных скатертях лежат белые листы, и Милюков, успевая то гнуть, то держать свою трудную линию, успевает и записывать для нас те беседы.

> Милюков: Сосредоточить удар на Штюрмере.
>
> Шульгин: Нет сильнее средства против Штюрмера, чем *борьба с немецким засилием*. Я — за ломку шеи правительству, но рядом должны быть меры органического характера.
>
> Капнист: Согласен: для успокоения страны — ломать шею правительству! Но немецкое засилие не дать обсуждать — это оружие в руках правых.
>
> Шингарёв: С немецким засилием — надо найти формулировку такую, чтоб ударить по правым. ...Надо показать, что мы умеем и работать. Ставить большие вопросы, волостное земство...
>
> Ефремов: Да, ломать шею правительству! Первую неделю — никакой мирной работы, а только валим кабинет! Разрабатывать советы для *этой* власти — трата времени, они всё равно ничего сделать не могут. Да и вообще, предлагать конкретные планы, вносить проекты самим — не дело законодательной власти, это рискованно, нести лишнюю ответственность. Выгоднее роль критика.
>
> Шульгин: А вам скажут: пожалуйте к власти. А вы и не готовы — чем заменить.
>
> Маклаков: Как же вы верите в ответственное министерство и не хотите давать советов в исполнительной сфере? Боюсь, скомпрометируем мы парламентаризм.
>
> Ростовцев: Страна не поймёт: ругаются, а ничего не предлагают.
>
> Родзянко (он не допускал вольности зачислить себя в Блок, но заседания иногда посещал тайно): Правительство никуда не годится, с этого и придётся начать представителям Блока. Конечно, ряд вещей говорить нельзя: о ведении войны, о дефектах дипломатии. Революционизировать страну нельзя. Но и совершенно молчать невозможно.

Вот и задачка Милюкову: ни о чём говорить нельзя — и молчать нельзя. Советов давать нельзя — и без советов нельзя.

> Шидловский: Чего хотим — не скажем, иначе наши поправки примут — и исправят законопроекты.

Как уже и случилось с твёрдыми ценами: Блок бросил эту мысль от щедрости своих идей, а правительство подхватило и тем укрепилось. Теперь изменник Протопопов перехватит продовольственный вопрос — облавами, заставами, обязательными поставками, — и опять неплохо получится, вот в чём трагедия.

> Стемпковский: Одних твёрдых цен недостаточно. Надо идти до реквизиции с развёрсткой.
>
> В. Львов: Мы уже пошли по пути государственного социализма. И нужна общественная *диктатура продовольствия*.
>
> Шингарёв: Надо решить — будем ли отстаивать или хернить путь государственного социализма? Тут можем рассориться.
>
> Стемпковский: Если мы просто перейдём к деловой работе по продовольствию — армия нас не поймёт.

Да нет, какая деловая работа! — надо готовить грозную сокрушающую Дакларацию!

> Милюков: Красная нить должна быть — наш патриотизм: *они* не могут довести войну до победы.

Трудность ещё и в том, что военная катастрофа отступила, она не грозит больше, как в прошлом году. Даже: Россия сейчас сильнее, чем была при начале войны. Но так — говорить нельзя, не это должно звучать в думских речах, иначе вся политика Блока развалится.

Ефремов: Положение очень тревожно. Замечается упадок энергии в обществе. Наше положение трагично, потому что наш долг произвести переворот, чтобы добиться победы в войне. Но производить переворот во время войны — предательство, при любви к отечеству — невозможно. Я не говорю: братцы, свергайте правительство! Будем строить речи так, чтобы призыв к революции не вытекал. Наметить пределы, за которые не выходить.

Стемпковский: Без резкого поворота мы всё равно проиграли дело. Будем менее агрессивны, излишне спокойны, — страна опередит нас. Вдали от столиц говорят: измена, царица чуть не с Вильгельмом в дружбе. Если не сделаем решительного шага и дадим распустить Думу — будем сами виноваты. Для меня несомненно: ещё несколько месяцев этого режима — и Россия погибнет.

Капнист: В случае роспуска Думы волна захлестнёт нас. Надо идти путём Павла Николаевича — булавочные уколы. Только в случае сепаратного мира можно идти революционным путём.

Шингарёв: Не верю, что сепаратный мир вызовет революцию. Масса усталых людей скажет: дайте выспаться, вымыться и поесть. Конечно, удар по национальному самолюбию не пройдёт бесследно. Но если есть злая воля, которая готовит сепаратный мир, — надо по ней и ударить. Надо назвать это действие изменой — и Государственная Дума создаст себе недосягаемую позицию! Это вызовет удовлетворение и в армии, где об этом говорят на каждом шагу. Мы попадём в самое больное место.

В. Львов: Высокопатриотический лозунг: спасти страну от правительства!

Да, эта позиция — очень сильная: объявить себя патриотами, а правительство — пораженцами и изменниками. Главная опасность — правительство Штюрмера! В октябре день ото дня Милюков писал и переписывал новые и новые проекты Декларации Блока. Иногда, наслушавшись коллег, — очень резко. Потом — одумывался или его отговаривали, и начинал смягчать. При каждой переписке одни ядовитые колкие выражения обидно терялись, другие приходили.

Предательское поведение власти... Глубокое падение нравов в руководящих кругах... Привилегированное хищничество... Всеми ненавидимая и презираемая власть... Это всё — не тайна для врагов... Государственная Дума слагает с себя ответственность за национальную растрату крови и мук армии и указывает на истинных виновников..

И день за днём обсуждали проекты (Шульгин тоже представил).

Крупенский: Не надо этих терминов — «измена», «предательство». Трон окружён чёрной шайкой, да, но этого не следует говорить вслух. Слишком суровой критикой понизим дух страны. Не надо выставлять правду, чтоб не уронить подъёма. И не «злая воля», а — полная неспособность. Главное — уничтожить Штюрмера. На него и направить обвинение в измене и неспособности. И не надо раздувать заслуг Англии, как у Милюкова.

Шульгин: Валить на отдельных министров, расписывать, что они злоден, — мелкий масштаб. Я понимаю, политика требует, чтобы мы говорили только чёрные вещи. Но надо сделать выбор: если виновата система, при чём тут злодеи? И надо говорить правду о Верховной власти — а мы не можем.

Капнист: Цель декларации должна быть — что Русь велика и обильна. А дальше — громить беспорядки.

Родзянко: Помягче, помягче, а то как бы Думу не распустили.

Ефремов: Но ведь и в обществе: нажива, стремленье урвать. А если упрекнём общество, то нападки на правительство умалим, тоже нельзя.

Шингарёв: Правительство всё понимает и сознаёт. Им на Россию наплевать, а только бы удержаться. Деятельность правительства по результатам равносильна преступлению. Если Дума не будет резка, страна скажет: ну, и последняя надежда пропала. Сгустить краски гуще того, что в жизни, — невозможно. Вот-вот не будет хлеба в городах, рабочие вырвутся на улицу. Страна уже порывается к самосуду. Ждать, пока улица заговорит? Или публично объявить: измена!!

Кое-как соединили текст, утвердили. Отпечатали шесть экземпляров и раздали по одному на фракцию — утвердить их там. И вдруг — предательство! утечка! Напуганный старец Крупенский (центр) показал Протопопову, а тот Штюрмеру, — и из правительства передали: распустят Думу! За такую декларацию — сейчас и разгонят!!

Такой провал! — за три дня до сессии! когда и менять уже поздно! Да — и опасность какова!

30 октября, несмотря на воскресенье, собрали чрезвычайное совещание — думского бюро (разумеется, исключив предателя) и ведущих из Государственного Совета.

Шидловский: Наиболее сильное впечатление — от слова «измена». Произнесенное с кафедры будет иметь характер удостоверения для народа. И поведёт к торжеству в Германии. Угрозе — не уступать, но об измене — второстепенное место. Снизу требуют «кричи», а иногда нужно и промолчать. Мы ведь не делаем революцию, а предупреждаем её.

М. Стахович: Конечно, это повредит правительству, но это поможет стране. Не говорить прямо «измена», но: такая система управления приводит к *толкам об измене*. Если же из-за угрозы совсем исключить «измену», члены Думы будут грызть себе руки, что пропустили момент сказать. Не спасовать бы нам на компромиссе. А Думу не распустят.

Милюков: Ничего невозможного в роспуске нет.

Да, вляпались с этой «изменой», — и оставить нельзя, и убрать нельзя. Разумнее было бы отказаться, но общественность раскалена и скажет, что Дума испугалась, покрыла измену.

Б. Голицын: Будет роспуск — не считаться с ним! И — не разъезжаться по домам! Иначе наступят репрессии и страна погрузится во тьму. Но лучше — до роспуска не доводить. Изложить осторожнее: *либо* круглые идиоты, *либо* изменники, выбирайте сами.

Эта мысль Милюкову западёт, неплохо.

Шингарёв: Об угрозе правительства слух распространится, и если декларация не будет прочитана, скажут: Дума сдрейфила. Хотя бы ценой роспуска, но сохранить моральное значение народного представительства!

Пятится

Стемпковский: Конечно, угроза не должна влиять, Дума должна быть безукоризненна. Но видеть и другое: мы торопимся. А вдруг за нашим актом не последует ничего бурного, а — петроградская погода, серо-чёрная неподвижная пасмурная слякоть?

Вдруг общественность перенесёт все издевательства, и война кончится благополучно? И скажут: «а мы победили и без Думы»? Не отложить ли нам резкое осуждение, пока не станет ясно, что уже **всё** проиграно?

Пятится и

Шульгин: Дума, которая может считаться с угрозой, — вообще не нужна! Но если бы можно было добиться не роспуска, а перерыва, — было бы важно!

(Многие члены Думы оценят эту разницу: при перерыве — платят депутатское жалованье и в армию не берут, при роспуске — кой-кому придётся зашагать и простым солдатом.)

Если место с «изменой» — ненужная опасность, можно и уступить. (Они не представляют, что корона напугается ещё больше.)

Вл. Гурко: Пускать мысль об измене — и есть увеличение смуты в стране. Масса схватывает общий тон, впечатление получится: во главе России предатели, а потому будем их гнать. А измены правительства как таковой — нет, это представление ложное. Но можно усилить: правительство столь глупо, что приводит к ложным слухам об измене.

(Так, так, усваивает Милюков.)

Опять разошлись — советоваться со своими фракциями. 31 октября, уже в самый канун думского открытия, сошлись опять, вот беспокойство, вот подкатило.

Шульгин: Бороться надо, правительство — дрянь. Но так как мы не собираемся идти на баррикады, то не можем подзуживать и других. Исходная программа Блока была, на чём мы сошлись, — поддерживать власть, а не свергать её. Дума должна быть клапаном, выпускающим пары, а не создающим их. Поэтому: абзац об измене должен быть удалён.

Стемпковский: Мы не желаем никого звать на баррикады и сами не пойдём. Нельзя говорить так, чтоб ещё более возбуждать толпу. Отделить правительство от Верховной власти и последнюю — не обвинять.

Капнист: Но как же теперь — разрушить думское большинство? Не выступить с декларацией — показать признаки разложения. И переделывать уже поздно.

Шидловский: А без Блока что? Подпольная работа? Грош ей цена. Да нет ничего коренного, разъединяющего нас. Просто непривычка к коалиционной работе.

Милюков: Трещина в Блоке была и с самого начала, но теперь она меньше.

Ефремов: Трещина — коренная. Декларация — слишком слаба и мягка. Измена, если она будет доказана, — уголовное преступление. Настаивать на учреждении следственной комиссии! Только суд и кара могут успокоить народную совесть, предотвратить народную месть!

(после перерыва): Фракция прогрессистов выходит из Блока.

Так от самого создания не совершив решительного шага — перед первым решительным шагом треснул Прогрессивный блок.

* * *

Вместо Штюрмеров — Милюковы? Замена одних убийц другими? Долой чёрно-жёлтое знамя прогрессивного блока! Долой смрадный маразм ублюдочной конституции! Будем ковать подлинный молот революции!

РСДРП

* * *

63

Кому что прирождено. Тебе — глаза на затылке, уши на шапке, чутьё — не по запаху, даже не по пригляду, по неизвестно чему, спиной одной: шпик! Идёшь, будто и не оглядываешься, а всегда знаешь, уверен — следят за тобой или не следят. Вон тот отерхáн облезлый на мосту — просто в воду плюёт или отмечает проходящих. На трамвайной остановке — все ли своего номера ждут или кто-то уже пережидал больше.

Ну, и ноги, конечно. У кого ноги слабые, от такой жизни быстро свалишься. У кого ноги слабые — за подпольную работу, да ещё в таком городе, как Питер, лучше и не берись. Как говорит мамаша Хиония Николаевна, волка ноги кормят. Так и подпольщика, ноги одни и выносят.

И как назло, всегда же складывается понеудобнее, наизмот: встречи сговариваешь задолго, а ночёвку выбираешь в последний момент — по обстоятельствам, по слежке. И вчера вечером уже знал, конечно, что сегодня утром встречаться с Лутовиновым в Лесном, и есть тут запасная ночёвка, а недалеко и сама штабквартира у Павловых на Сердобольской, — но не только её, укрывушку, нельзя своим приходом выдать, а никакую, ничью, ни одного человека нельзя завалить своей неосторожностью. И когда вечером насели на пятки двое и пошли, и погнали неотрывно — пришлось чертить по всему городу и, чтоб не остаться на огородах ночевать (а оставался прошлой зимой и в морозы, и бродил-коченел до утренней зари), надо было махать или в Гражданку, где ход через глухую рощу, отстанут филёры, побоятся ножа, или в Галерную Гавань.

В Галерной Гавани и оторвался на тёмном пустыре.

Зато сегодня доставалось тащиться через весь Васильевский, через всю Петербургскую сторону, через Аптекарский, Каменный, Новую Деревню и Ланскую. И по дороге близко будет квартира Горького, но к нему только послезавтра, и совсем рядом Сердобольская — но туда только вечером сегодня, а пока и глаз не скоси. И всё это — для утренних встреч, а потом от Сердобольской, где тебя уже вот поджидают, — опять через весь город, за Невскую заставу, в Стеклянный. И только оттуда, если всё обойдётся чисто, — опять сюда назад, на Сердобольскую.

Да это всё — в тюрю перекрошилось бы да схлебалось, эти б нам беды все нипочём, — если б только не локаут, собачий.

Локаут... Не ожидал.

Не ожидал — смелости от них такой. Привыкнуто, что они — виляют, отступают.

Неуж — ошибся?

Вот это грызло — что сам дал маху. Зарвался.

А ведь настаивал Ленин: отказаться от всяких массовых действий! Только небольшие подпольные ячейки! Только улучшать технику конспирации!

И спал плохо. Голова тяжёлая. Муть. А день впереди долгий, трудный.

Кому Питер нравится, кому не нравится, — дело вкуса, а потягаешься вот так по нему между камнем, и камнем, и камнем, иногда уж и мостовая к глазам приближается, взвыл бы: ой, мамаша, зачем я из Мурома зелёного уехал, зачем я в большой свет подался?

В шутку, конечно.

На трамваях всё это короче, хотя и трамваи вот так день за день вытрясут душу, голову раздребезжат. Да на трамвай не всегда и есть эти пятаки да гривенники. А то подумаешь: если филёр твой успеет вскочить, так и прогорели деньги, слезай хоть тут же. Пешком — повольней, есть манéвр.

Теперь старые заветы конспирации пошатнулись. Теперь уже многие этих строгостей не соблюдают: не стерегутся не то что с ночёвками, но даже с типографиями. Говорят: провалы всё равно не от слежки, а от «внутреннего осведомления», все провалы от предателей, а их не узнаешь. А на улицах — не берут, а возьмут — сошлют не надолго. Мол, конспирацией больше сам себя замучишь.

На улицах редко берут, верно. А всё ж, на уличный случай, паспорт с собой таскаешь финский (не подвержен мобилизации). А русский — в запасе лежит. А в прописку — никакой не дан. Человека — нет, нигде не живёт, птица.

И действительно, многим обходится. Нельзя вам, дуракам, провала пожелать, — вы провалитесь, так и мы не вылезем, а всё-таки проучили бы вас, дурандашников. Сошлют не надолго! Тебя — не надолго, а дело ремонтируй.

Тебе — не надолго, а мне — всё надолго. А я — ни дня свободы зря не отдам. Готов — на смерть, готов — на каторгу, но знать, что нельзя иначе. А просто так даже на месяц в Кресты? — ищите ослопа, не я им буду. На лишнюю конспирацию себя не жалеть, лишняя — всегда оправдается.

Твоя выдержка — твоя свобода, твоя свобода — твоя партийная работа.

С моё бы вы походили. Всю прошлую зиму в Питере продержался — ни одной царапинки. Провинцию объездил — сам цел и не завалил никого. Ушёл в Скандинавию — цел. *Литературу* тюками гнал, даже северней Норд-Капа — дошла. И вот вернулся — цел. И опять по питерским улицам, а? На подмётках ещё, может, осталось по пылинке от нью-йоркского тротуара и от копенгагенского, и окрошек гранитный с финского севера. А до февраля цел дохожу — и опять туда.

А тут — кто б маху не дал? В какое время приехал! Над Выборгской — тучи, вот молнией слепанёт! В трамвае, на улице, в лавке, на каждом шагу — поносят власти вслух, не стесняясь, с матушкой царицей и с Распутиным. И шпики ушами уже не ведут, прислышались. Фараонам в лицо — хохот и мат. И — запасный полк взбунтовался! Тронулась армия — это уже всегда к концу. И после эмигрантского тошного безделья, ничтожной мелкости, презренных свар, да после недели в заполярной тьме, водопадного рёва, — и всё это видишь, и — принимай решенье! Один.

Можно было ошибиться.

Может быть, и ошибся.

Ошибся или нет? Как будто душу твою зажали в центры и на валу обтачивают.

Так что правила твои — ясные, неизменные. Все рабочие районы знать до последнего закоулка. Знать все тропки на задах Выборгской и Невской, и Нарвской стороны. Само собой — все проходные дворы. По одной дороге никогда не проходить больше одного раза. На одной квартире никогда не ночевать две ночи подряд. Или наоборот — когда слежка сгустится — нырнуть и двое-трое суток с одной квартиры не выходить. Рассеется — выйти рано-прерано, в темноте. Или так ещё перед вечером зайти, будто уже на ночёвку, а поздно вечером ещё раз перейти на другую квартиру. (Это хорошо на Стеклянном, где две сестры рядом живут.) И никому ночлегов не называть, даже самым верным товарищам по партии. Лишнее знатьё.

А ещё верное дело: менять шапки и пальто, всегда сбиваешь. Как прошлой зимой, на Стеклянном как раз, насели — не оторваться. Среди дня. Куда денешься? В баню! Взял номер. Позвал посыльного: слушай, сходи вот по такому адресу, там девчёнка живёт, Тоня. Ты ей, конечно, не при матери, тихо скажи: мол, *дядя Саша* номер взял, тебя зовёт! Пришла: дядя Саша, вы же меня опозорили — к мужику в баню вызывают! Да если улица узнает — чего ж будет? кто ж меня замуж...? — Ничего, ничего, Тонечка, революция требует. Я тебе та-кого жениха ещё сосватаю!.. Нá вот мои пальто и шапку, вяжи в простыню. А мне тащи сюда батькины, на днях разменяемся... И ушёл чисто.

Фабричный столичный проведёт да выведет.

Эти же племянницы, вообще подростки, хорошо идут на контрнаблюдение: из квартиры высылать их наружу, следить за шпиками.

У сестры просидеть два дня подряд — отдых: и согреешься, и отоспишься, и отъешься. А вообще на конспиративных ночлегах нет мучительней, как каждый раз и только на одну ночь новое устройство и эта вежливость хозяев: не ожидали тебя до последней минуты, стеснены твоим приходом и не хотят показать. Три комнатки на шестерых и не хватает кроватей; добрые люди, спасибо, я и так благодарен вам, мне бы самую последнюю подстилку, вон туда под стол, и я засну, а вы тут живите! Так нет, отдавши лучшую кровать, считают долгом развлечь, хозяин настаивает показать, какой он развитой политически, заводит разговоры до глубокой ночи о программах партий. А ты уже не способен принять ни угощенья, ни разговора, ни даже партийных программ, только явили бы милость, оставили бы тебя в покое: гудит голова, и дороже нет помолчать. Помолчать, вытянуться без простынь, не раздеваясь, у рукомойного ведра, — только бы голова отдохнула, только бы языку не работать...

Ведь голова подпольщика нагружена втройне по сравнению с простыми людьми: кроме обычной для всех жизни — передвижений, поступков, работы, разговоров, ещё постоянно плющат мозг эти заботы: как одеться безопасней; что взять в карманы, чего не брать; в каком порядке посещать дома и встречаться, чтоб от перДыдущего не повести к следующему; где что оставить; кого лучше попросить о сохране, о передаче, о скрытности.

Вот при такой голове после дурного ночлега и подскочи адвокатишка этот, Соколов: на днях, мол, судят революционных матросов, *грозит смертная казнь*! Всё сошлось! Тут — бурлёж, порох, полк восстал, братание солдат с рабочими! Сколько-то солдат арестовали, будут судить — а тут матросам смертная казнь?! Что должна делать партия пролетариата? Да — трахнуть всеобщей стачкой! В три минуты решение принято цельным размахом, без колебаний. Когда суд? 26-го. На 26-е — *всеобщую*!

И спасибо рабочим людям, чем скудней и темней живёт, тем подельчивей на приют, теснится, лишь бы ты не побрезговал. А квартир интеллигентских, барских — для конспирации совсем не стало во время войны. Да и до войны. Как начался отлив.

А большевиками себя называть очень любят. На днях пошёл Митя Павлов к одному. На общепартийные темы — самый приятельский разговор. Но только Павлов о нужде: «приехал из-за границы представитель ЦК, нужна «ночёвка», — тот сразу откинулся: «никак нельзя, за мной слежка!». Мол, не о себе — о представителе беспокоюсь. Ещё за ним слежка, подслепыш, кому он нужен... Хорошо не растерялся Павлов: «Разговаривают — все. А вот литературу выкупить нечем.» — «Ка-ак? И денег нет?» — Изумился. Предположить не мог.— «И сколько же нужно?» — Павлов: «Много.» (Надо бы сказать: триста.) Тот сообразил и откупился сразу: могу сто.

Это вообще нам урок хороший. Да даже с 908-го года все они схлынули, говоруны, показали, какие они революционеры. Перед войной профессионалы остались одни рабочие. Интеллигенции едва хватало обслуживать думскую фракцию да газету. Теперь и этих нет. Дошло до того, что при Петербургском комитете не осталось ни журналиста, листовки некому написать. Стали выручать боевые студенты, новенькие.

С ликвидаторов ладно, какой спрос. А правдисты бывшие где? Уж куда были своёй! — увильнули из правдистской колеи. «Узрели своё отечество», ушли в патриотизм, а верней, худого слова не сказать, в какую-нибудь норку заткнуться, лишь бы учётным, на фронт не идти. В статотделы, в земгоры, в промышленные комитеты, вместе с гучковцами, гвоздёвцами, от нелегальной публики двумя руками отмахиваются, от нелегальной работы на версту. Красиков? Шарый? — какие они теперь большевики? Ну, Подвойский ещё поддерживает связь, осторожно. Все на «важных постах», никому с нами не по пути. Хитрый Бонч упрятал морду: я, мол, исследователь сект и вообще этнограф. Стеклов-Нахамкис — секретарь в Союзе городов. У Козловского на Сергиевской улице своя адвокатская контора, зашибает деньгу.

А больше всего обида — на Красина. Уж правдист из правдистов — па-ашёл, взметнул! Дельцом, чуть не директором фирмы, это тысячи рублей, в богатстве плавает, а старым товарищам — шиш. И пооткровенничать — не жди, не снизойдёт. Правильно Горький говорит: они скорей на выпивку дадут у Кюба, чем на подпольную работу.

Они общую такую себе кличку придумали: «внефракционные» социал-демократы. Чтоб не подчиняться партийной подпольной дисциплине и не отчитываться. Мы, мол, сами знаем, что делаем, а вы не суйтесь.

Даже мысль была: старым правдистам послать ультиматум: или сейчас же переходите к нам, или потом никогда вас не признаем.

Так что адвокатик Соколов ещё не из самых худших. Услужливый. И деньгами иной раз поможет. И все сведения носит из судейского мира, из журналистского, откуда знает. И квартиру свою предоставлял не раз, встречаться с этими думскими дергунками — Чхеидзе, Керенским, надо ж где-то пополосовать их, как Ленин требует: русские каутскианцы пусть держат отчёт перед рабочим подпольем! И верно, вьются, оправдываются...

Рабочее подполье, есть ли оно? Отлив-то глубже гораздо прошёл, в том и горе. Утомляет людей такая жизнь, да тюрьмы, да ссылки. В прошлом году, когда по родным местам съездил, насмотрелся, полынью обдаёт, зажмурь глаза, Санька! Геолог Рябинин, свой муромлянин. Свой, свой, улыбается, а на революцию больше не зови, отбился. Или Громов, сормович. Уже в девятисотом был эсдек. Сколько раз сажали, ссылали — и вот, устал. Поседел, постарел, окунулся в свой домишко, в семейный круг... Самое большее — сочувствующий... Или Гришка, нижегородский. Вместе сидели в 904-м и вместе во Владимирском централе в 905-м. А — задавила жизнь, нужда, безработица, семья. Какой пропагандист был, какой организатор! — всё пропало. Мучается, томится, а... увольте, ребята, ищите молодых.

Ребята-ребята! Да если мы все кряду сдадим, кто ж эти новые силы воспитает? Кто их в партию вольёт?

Рабочим можно простить. Нельзя простить интеллигентам.

А вообще так и должно. Что такое истинный, а не названный пролетарский политик и как он может быть? Главная трудность для него: став политиком, не перестать быть рабочим. А иначе — какой ты будешь пролетарский? Вот и будешь интеллигент, полубуржуазный. Для того и возник у нас *интеллигентный пролетарий,* и это — один верный тип для будущего. Мало их, мало нас, но только такие мы и можем вести рабочее дело. И не избежать нам все формы работы принимать на себя — и журнализм, и листовки, и конспиративную переписку, уж её-то тем более чужим рукам не доверять.

Но, конечно, это трудно. У станка отстоять десять лет, а книжки только от случая просматривать. Во все эти перекрывы, убеги, скитанья — когда читать? когда думать? Эмигранты-умники могут себе разрешить, им в дверь не постучат. И всё-таки вот они в кружках изучали по двадцать лет «теорию» рабочего дела, и всё спорили, рознили, согласиться не могли. А мы пришли и сразу им показали — практику.

Потому что нельзя проверять одной головой, надо пробовать: даётся ли в руки или только с языка на язык перескальзывает? А головастики, как себя ни принуждай, как в рабочее дело ни вгоняй, — сердцем не будешь с ним всё равно. Чужой.

Хотя... Сашенька Коллонтай... Кто и образовала Саньку Шляпникова из дикого паренька, не умевшего рубаху носить, не то что диспуты, с французским, только начатым в кружке самообразования. Сашенька, дворянка, интеллигентка, глазам не вынести света и красоты! — как одета всегда, как причёсана! А — как верно, как смело судит, режет! На приморских тёплых камнях Ларвика, у самой воды, рядом с ней лёжа, лёжа часами — и слушая, слушая, вбирая...

А — Ленин?

Не-ет, пока у них не черпнёшь — настоящего ума у тебя тоже не будет.

Но линию выдержать — можешь теперь и сам. *Центровым партработником,* как у них это называется, — стал Шляпников? Стал. И из нескольких центровых — ещё в особой позиции, так что Ленин пишет ему даже как бы с почтением: «Вы — хозяин положения. Не вмешиваюсь, как рассудит *начальство.*» И — чем добился? А тем: руками, ногами — и не упуская головой работать, не упуская читать, писать, образовываться. Можно, оказалось, охватить? Оказалось, можно. И от звания «центровой» мозги не застлались, и грудь не вздымлась. А главное — не отвык, по-прежнему больше всего любил собственные руки прилагать: обтачивать весомые, различимые, точных размеров, тёмно-сверкающие детали. Да за то ещё и денежек получить, и подкормить в эмиграции, как своих бы младших, всех этих мудрецов, этих прочих центровых, кто сидит на мели без копейки, тыкаясь, где б заработать на четыре обеда, какому дальнему издателю какую статейку перевести — перегнать строчки с одной белой бумажки на неразличимую другую.

И если уж так вспомнить честно: июлем Четырнадцатого застигнутый в Питере безо всех них один — разве Шляпников не разобрался правильно во всём сам? Разве не понял *из себя,* сразу и точно: да неужели же наша классовая солидарность уступит хулиганствующему патриотизму? да неужели мы подло-покорно принизимся перед ним, как интеллигенция? Где же логика? Почему ж презирали японскую войну, а германскую поддерживаете? Дарданеллов захотелось? И позванный меньшевиками в ресторан Палкина на ночной банкет в честь приехавшего Вандервельде — не сробел, что один, слишком в меньшинстве, но прекрасным французским языком громил их всегдашнее банкетное большинство, заносное не подчиниться истинному заводскому большинству. И что это за ложные рассуждения — *кто начал*? Разве в том дело, кто первый напал? Виновник войны — мировая буржуазия, и бельгийская ничуть не меньше, чем германская, и нет никакой «бедной Бельгии» или «бедной Сербии», а — долой войну!! да здравствует революция! амнистия политзаключённым, мученикам свободы!! (Сам листовку написал.)

Конечно, не простой орех Мировая война, к такому не было готово ни человечество, ни рабочий класс, ка́к не потеряться! Круговоротные месяцы, все перепутанные мозги, зашатало, отняло разум у скольких! Треснул не только всемирный рабочий Интернационал — распадались в безумии самые близкие дружбы. И добравшись в Швецию в октябре — как же они радовались с Сашенькой своему соединению и верности! Застиглись войною порознь — а поняли всё одинаково! Как он принимал и понимал её захлёбные рассказы о первых днях войны в Берлине: *соци* голосовали за военные кредиты!! они, всю жизнь душившие нашу партию своей социал-демократической образцовостью, теперь бездарно упёрлись в тупик! Но и — пропасть с немецкими работницами, проверенными партийками: какая-то буржуазная помощь раненым, забота о сиротах, не понимают, что благородней, смелей и даже дешевле — восстать! и потерять на улицах тысячи, чем на фронтах миллионы! Но и — вспышки шовинизма среди русских социалистов, застигнутых пленниками там: злорадное ожиданье, как из Пруссии дорвутся до Берлина наши, — кто *наши*?! русские генералы? казаки? Вообще: что такое Россия? Россия — как что-то *своё*??? «Защита» — «несчастного» — «отечества»? Вот уж что меня не трогает, это «судьба России», меня сжигает судьба революции! — горела Сашенька. — Вот уж чего не хочу — это победы России! А по ту сторону огня — кто будет гибнуть? не такие же пролетарии? небось, не буржуазные сынки. Нет, нет для нас ни Россий, ни Германий, не надо нам ни ваших поражений, ни ваших побед, всё это одинаково. Пролетариату нужен — мир!!

Так довольны были собой, а ведь не дотянули и вдвоём. Последним и главным, как всегда, удивил, убедил, ослепил прорезающий Ленин: то есть ка́к — одинаково?? *Даже не сравнивать!* царизм — во сто раз хуже кайзеризма!! Мы — не безразличны к патриотизму, мы — антипатриоты! Лозунг мира? — неправильный! обывательский! поповский! Пролетариату нужна — гражданская война!!!

Про себя очунел Санька: да уж гражданская-то зачем? ещё хуже разор? Но Сашенька перехватила сверкающими глазами: да, да! Гражданская! — и зацеловала.

А — сейчас бы? Как бы Ленин решил сейчас? Как бы решил он в Петербурге 26 октября?

Почему-то кажется, да уверен: вот так же бы! *Трахнуть всеобщей стачкой!* И даже не в три минуты — в пятнадцать секунд! Это невероятное свойство у Ленина: видеть всё сразу, как при молнии! И не колебаться в этот момент, и не раскаиваться потом.

А — на локаут?..

Эх, всё висит на твоей голове, хоть и крепкой, все судьбы рабо-

чих, сто двадцать тысяч на шее твоей. Такого размаха, такого решения ещё не бывало в жизни. Сообразить — может и пять секунд всего. Но пока ещё номер Центрального Органа с сегодняшним событием доберётся до Питера (если вообще он выйдет в свет, если заграничная редакция не передерётся окончательно) и укажет тебе, как надо было поступить, — пройдёт четыре месяца. И тюк с этим номером не сам сюда доползёт, но — твоими же и усилиями, когда ты туда проберёшься и оттуда его толкнёшь.

Да что и вспоминать теперь 26-е, когда уже 31-е? Кидать ли бы доску через речку, нет ли, — но уж кинул, уже пошёл, уже под тобой посредине ломится, и решать тебе надо не прежнее то, а — куда прыгать? Назад или дальше вперёд? Вот это только: куда прыгать? (А на плечах — 120 тысяч рабочих.)

И — не с кем советоваться. Ни — с *центровыми* из Швейцарии. Ни — в Питере здесь. Все — на тебе. Всё — на одном.

И — только до конца дня сегодня. Не спавши, не евши и не присевши: куда прыгать? Вперёд? Назад?

...А между тем два потраченных пятака и верные ноги донесли уже Шляпникова на Ланскую, до просёлочной местности и огородов, минут на десять опоздав. И сапоги его прыгали через канавы и по вязкой грязи, где в сырой туманный день, ещё пока до первого мороза, по тропкам вдоль межей или древесных посадок иногда проходили рабочие хозяева огородов добрать, докопать невзятое. А уж филёра за Шляпниковым не было, пришёл к назначенной тесовой будке чистым.

И внутри будки хлопнулись крепкими ладонями с Лутовиновым:

— Я-то чистый. А ты? Не прямо от Шурканова?

— Нет.

— Ну спасибо.

В конспирации быть одному строгим средь всех — не многого стоит. Столько предусмотрительностей, а вот приди Лутовинов прямо от Шурканова и, гляди, привёл бы за собой. Квартира Шурканова — «фонарь для охранки», сказал Шляпникову ещё в прошлый приезд один хороший парень с Айваза, но не успел объяснить: подошли другие, а там его вскоре арестовали. Так и остался Шурканов загадкой. Правда, своих подозрений Шляпников не имел, а это первое дело: ведь чутьём всегда предателя слышишь, только чутьём их и открывают. Был Шурканов даже депутатом 3-й Думы, хотя так себе, средний металлист. Бывали у него обыски, открытое наружное наблюдение, а провалов не было. Выпить не дурак, соберёт «стариков» вспоминать революционные дни — и из тех же стариков, тоже бывший депутат, шепчет Шляпникову: «не по средствам живет, странно». Змей подозрения так и ползает между рабочими сердцами, вот до чего нас довели. Дом у Шурканова очень удобно расположен, многие пользуются как явкой, а Лутовинов вот просто и живёт. И Шляпникову предлагал Шурканов комнату — нет, спасибо, не надо. И русский паспорт раздобыл для Шляпникова — «надёжный». Ладно, пускай полежит.

Твоя выдержка — твоя свобода, твоя свобода — твоя работа. Взялся быть во главе всероссийского центра партии, так не попадайся. Единственный в России полномочный и свободный член ЦК? — так топай по Питеру аккуратнее.

На Лутовинове кепки козырёк — кверху, из-под него жёлтый кудерь и лбина раскатистая, крупно сляпано лицо, без мелких хитростей, большеухий. Челюсть — не всяким кулаком свернёшь, но от такого лбины как узкая. Росту парень взносчивого, но на рост и сила ушла, не молотобоец.

Говорит: гектограф старый с фабрики списали, украли и в Юзовку отправили.

— Молодцы! И что ж они там печатают?

— А эту... Коллонтай, «Кому нужна война».

— Хорошо!

— И старые революционные песни.

— Ну, это уж слишком жирно.

— Так не знают их, Гаврилыч. Революционные песни — очень мало знают. Как на демонстрацию выходить — так и петь нечего.

— Н-ну может быть... Но ты — листовки им посылай. Задачи дня, сегодняшние.

Лутовинов, сам из Луганска, — по связи с провинцией. Когда в феврале Шляпников уходил за границу, оставил им тут связи со всей провинцией — и с Нижним, и с Николаевом, и с Саратовом, и с Ростовом. Вернулся — узнать нельзя: все связи потеряны, вся провинция стонет без литературы, без указаний: как события понимать, что делать? А в Москве — в Москве! — нет своего областного комитета, боятся собрать или не умеют. Смидовичи, Скворцов, Ногин, Ольминский — сидят по своим углам и что-то, говорят, *работают*. Какая ж тебе общероссийская работа, мамочки, если они в Москве наладить не могут! Всё развалено и потеряно так, будто он им не состроил за прошлую зиму, и начинай сначала опять. Вот безрукие! И только Лутовинов — держит связь с Донецким бассейном. Питерцы — тоже хороши: какая литература где по пути застряла, на шведской границе или ближе в Финляндии, — выручать не едут, ждут, что сама приползёт или Беленин-Шляпников им съездит, пригонит. (Да смех! — в прошлом году на самом севере Норвегии нашёл он склад — тюки литературы 906-го года, так и не переправили, забыли про них. Кто их теперь будет читать? Там уж так устарело, что только мозги может запутать, кто против кого, кто на какой позиции.) И свою типографию в Новой Деревне питерцы сберечь не могли. А побрюзжать, что Центральный Орган с указаниями опаздывает, — это они дружно.

Вот оно и есть: там и здесь. За два с половиной года войны жизнь так разъехалась, расползлась, что оттуда — невозможно вообразить *здесь,* отсюда — *там.* Там — удивляются, сердятся: да что они все в России — живые, не живые? почему заглохли? почему никаких сообщений? в чём их работа? и — денег не шлют, на что ж работу вести за границей, где же деньги брать, если не в России? Поезжайте, товарищ Беленин, но только наладьте связи, добудьте денег и возвращайтесь поскорей, вы не можете оставаться там долго, не губя себя и не вредя делу. Сюда приедешь, смотришь: стачки, вроде, всё же идут, и рабочие мал-мала просвещаются, уже того дикого патриотизма 14-го года и следа нет, а вот: литературы мало! свежих статей, свежих мыслей — почему не шлют? что ж они там замерли за границей, без слежки, без тревог, — зачем же тогда сидят? И денег — неуж не могут там раздобыть, в богатой Европе, неужели только и складывать наши рабочие гроши?

И понять друг друга почти нельзя. И только тот, кто бывает и там и здесь, Шляпников единственный, и ту и эту жизнь как в двух тяжёлых плетёных муромских корзинах держа на длинном коромысле через плечо, не давая себе ни на миг позабыть ни эту, ни ту (с одной зазеваешься — всё сковырнётся), твёрдым шагом, куда б нога ни ступила, только и снуёт.

Глазеет Лутовинов, как из деревни и первый раз автомобиль увидел: неужели тот самый Беленин, вот который был, наставлял, уехал, исчез — и опять вернулся? Из-за моря, в такую войну, и целёхонький, — как же это совершается? И все на него лупят глаза, не один Лутовинов. Ну как, правда, поверить, что вот сидит с тобой в огородной будке, а две недели назад был в Христиании, а в сентябре океанским пароходом, да не третьим классом, а вторым, возвращался из

Америки и под весёлую музыку духового оркестра любовался на океанские волны?

И рассказывать как — нельзя подробно, никто ничего лишнего знать не должен. А кое-что можно бы, да это если начать...

В Хапаранде по ломкому льду под мостом, и проваливаясь в речку Торнео, чтоб миновать полицейскую сторожку. Дальше — с проводниками, сам под финна, обходя лесными крюками пункты жандармских осмотров.

То — на крестьянских финских розвальнях, по сугробам, восемь ночей, днями отдыхая в избушках лесорубов. Нетронутость снегов. Молчание. Северное сияние. Сводчатые лесные дорожки. Потом леса вырождаются в карликов. Мшистые болота. На лыжах, не умея. И — долгой петлёй обошёл проверки.

Облегчает, конечно, что всё финское население сплошь враждебно к русским властям, охотно везёт нашу литературу, проводит наших революционеров, шпионит за русской армией, переправляет на родину германских военнопленных, и сами финны тысячами добровольцев уходят в германскую армию.

А Лутовинов вытянул из кармана краюшку хлеба ржаного, просто так, не завёрнутую, и помидоров полдюжинки, правда буро-зелёных, недозрелых, а очень кстати, ночёвка была голодная, берёг Шляпников хозяев, не объесть.

— Это славно! А соль?

И соль. Ножи — у каждого. Бумажки простелить нет, да лавка и так чистая, раздвинулись к краям, а между собой разложили.

— Всё-таки выглянь, Юра, обсмотрись, как там?

Выглянул. Туман редеет, подальше видно. Всё в порядке. А было бы не в порядке — тут можно шпиков и на кулаки взять

Кажется — что в этих помидорчиках? брюху голодному дна не притрусить. А вот порезали, присолили, берём поровну — и что-то сближает ближе самого дела.

А третий, последний переход был всех труднее. Уже не на терпенье, а на выдержку ног и сердца, действительно не всякий мог бы. Опять далеко-о на севере. Сани, возница, да не бесплатно: марка за километр. Полярная ночь, но по снегу далеко видно, луна ли за облаками? По речной долине, в ямы проваливаясь. Потом через реку пешком, с проводниками держась за длинную верёвку. А вот и снежная тропа вдоль берега: утоптала её пограничная стража, проходят несколько раз в день. Опять сани. В санях и заснёшь. На хуторах пересадки. И — пустыня: ни одного постороннего пешехода или воза. У Рованиеми — опять река, но уже чёрная, шумная, незамёрзшая. Крики через реку, вызов лодки.

(Рассказываешь, а у самого сердце тянет: всё не то, всё не о том, Как же решится? Что же решать?.. Да оно почти и решено: прыгать! А что будет?..)

Среди финнов — как немой: ни одного слова. Везут и ладно, не продадут. Даже и рад: на ночлегах не надо разговаривать, чистый отдых и соображение, как дальше. А вот и — задержали. Обыск. Лопочут финны по-своему, очень плохо по-русски. В далёком лесу — вроде воинской части у них, из старых бывших солдат и молодых парней. Это — *активисты,* это и есть те финны, кто уже оружием воюет против России. (По сути — за Германию, но здесь об этом думать не конкретно.) Они и своих с-д не балуют, это — чужие. Но после объяснений, что революционер, отпускают. И снова на юг. Всё меньше снега, вот уже и оттепель. Теперь стерегись. Чем смелей и развязней, тем меньше подозрений. Где — секунды решают, и пожарной лестницей — на крышу станции, так избежал патруля. А на другой захватил-таки жандарм: паспорт! Бойко лезешь по карманам и спохватываешься: нету. Да я — местный житель, мы и без них обходимся. (А на само́м — заграничное всё. Впрочем, финны одеваются

лучше наших.) Нет, арестовал. Завёл в пассажирский зал, отвернулся за подсобой — миг один! полмига! — а ты уже дунул! — в дверь! — сбил кого-то! — и в лес! И — лесом. Ушёл. Да не закружись: где полотно? И какие поезда в твою сторону, какие наоборот, как угадать? небо в облачках. Сообразил. Теперь пешком. Ночь, тепло. По полотну. Быстро! — надо к утру перебрать как бы не сорок вёрст. Пить! Снег. Есть! Нечего. У будочников лазил по сараям — не нашёл. Вдруг — железнодорожный мост, на́ тебе! Там — часовые, ясно. Надо обходить. Крюк — ещё на десять вёрст. Теперь лодочника сговорить. И к утру заснул в сарае, в соломе, мыши пищали в самое ухо. А в следующую ночь — до Улеаборга, уже по лесу, дорогой. Избегая, однако, встречных. За две ночи — семьдесят вёрст! В редакцию соц-дем газеты как пришёл, сел — уже встать не мог. Ноги — свинцовые, пальцы — в кровяных мозолях. Дальше товарищи слепят и фальшивый документ, и фотографию, и проводят до Гельсингфорса, но вот — встать? Как на ноги стать и пойти отдыхать на хутор? (Те мозоли и сегодня ещё не прошли, ходить мешают.)

— Хороши помидорчики, хороши.

Вот почему заграничные члены ЦК — Владимир Ильич да Зиновьев — на такие путешествия, прямо скажем, не охотники. А Шляпников всё равно непоседа. И потом здесь, в России, многих рабочих знает лично, что и удобно для связей. Так и пошёл, и пошёл с коромыслом, там — тех понимаешь, тут — этих. Товарищ Беленин, дорогой друг, требуйте денег с Питера, должны собрать! Из «Летописи», от Горького, от Бонча, хоть из «Волны», лишь бы деньги! Сюда приезжаешь — «Волна» совсем неподходящее издание, против нас, не возьму ни копейки. Жмётся и Бонч с каждым рублём, жмётся вся бывшая с-д публика. Горький, правда, всегда даёт, кормилец наш. А эти членские медяки по питерским заводам больно и собирать. Ещё 10 процентов на Всероссийское Бюро ЦК возьмёшь у местных организаций, но чтоб эти деньги за границу своими руками? Нет.

Денег, денег, с этого и начинать. Достал, отсчитал пятнадцать красненьких и положил в растяпистую лутовиновскую ладонь:

— Вот, Юра, пока всё. Оборачивайся.

В лутовиновской горсти они ещё меньшими выглядят, сто пятьдесят, чем и есть.

— Маловато, Гаврилыч. Что ж на них?

Что на них? На поездки, на устройство, на *технику* столько ли нужно? И на самого себя?

Вздохнул, подумал. Двадцатку добавить? А — Нижний? А Иваново-Вознесенск? А Тула? А, может, кто на Урал ещё соберётся?

— Нет.

В прошлом году бюджет был побольше. Придумали с зятем-фотографом: распечатать открытки с портретами арестованных депутатов в арестантских халатах. И здорово пошло по заводам. А ещё привёз тогда Шляпников много «Социал-Демократов» да два номера «Коммуниста» и давали читать за плату. А сейчас...

(А сейчас — тянет сердце: что же решать?)

— Не поверишь, Юра, гонял в Америку заработать — еле дорогу оплатил.

Лутовинов зенки распахнул.

— Да ты — разве зарабатывать...?

Дело не такое секретное, можно и рассказать.

— Когда я *уходил,* один человек тут...

(Горький. Но об этом не надо.)

— ...передал мне материалы о преследовании евреев. Уже в военные годы. Чтоб их на Западе опубликовать. Да не так отдать, а — продать, евреи должны много заплатить! Да на Западе всё за монету. Например, в Копенгагене сейчас спекулянтов, мародёров — полгорода. И социал-демократы тоже не отстают.

— Наши?!

— Там все портятся. Спекулируют военными консервами, немецкими карандашами, лекарствами... Их из Дании вышлют — они на новом месте спекулируют. А есть такой Парвус — уже несколько миллионов нагнал. Теперь — благотворитель, пройда!

О Парвусе мутном, социал-демократе-толстосуме, только сказал — всё сердце чернотой затмилось. Отмахнулся, не стал. Да на него Ленин есть, с гребешочком железным.

— Или, например, в Америке сейчас. Нужен паспорт был для обратного выезда. Даёт его русское консульство. Но нельзя ж открыть, кто я. Надо — будто я в Америке и жил. Посоветовали взять удостоверение в церковном приходе, что я — ихний. Пошел к попу. И за два доллара он мне — удостоверение. Вот так у них.

У нас бы, у старообрядцев, — ни-и-и!

— Вообще в Америке — все о наживе. Или сегодня уже наживаются или назавтра мечтают. А жизнь — дешёвая, лёгкая. Меня наши товарищи здорово уговаривали остаться — мол, и тут рабочий класс, и тут можно помогать Интернационалу. А я — не, не поддался. Правда, две газеты у них там на русском. Несколько — на еврейском. «Новый мир», а во главе — меньшевик. Поставил я им доклад о положении в России и уже этого меньшевика валил, хотел большевиком заменять, — так не нашлось ни одного порядочного, вот ни одного, поверишь?

Засмеялся.

— А туда по какому документу?

Правильно мысли направлены, конспиративная голова у Юрки.

— Туда — ещё трудней. В Нью-Йоркском порту — кордон, проверяют здоровье, больных не допускают, не нужно им. Проверяют деньги, доходы, виды на имущество, или хоть знакомых состоятельных. А голодранцев — назад.

— И что ж у тебя нашлось? — распялил Лутовинов голубые, но и заранее успеху радовался.

— А у меня... — гордость в горле. Всякий такой раз — гордость. — Удостоверение токаря. First turner, по-английски, высший разряд. Я в Англии испытание сдавал.

И, как сидели, приобнял Лутовинова по пальтишку серо-буро-рыжему, потерявшему единый цвет, и с петлями разлохмаченными, уже больше похожими на дыры. Шляпников своё европейское в Питере тоже сменил на такое примерно, нитки оттёрты чуть не добела. Только сапоги хорошие оставил.

— Прошлым летом отпросился я у ЦК из Норвегии в Англию, сперва не пускали. И как стал к станку — так и на партию заработал и на себя, и ещё им в Швейцарию послал. Рабочий класс, браток, везде основа. Рабочий человек нигде не пропадёт. И знаешь, тебе скажу, ты вот за партийными делами только от станка не отбивайся, не отвыкай. Ты — мастеровой настоящий. А ещё становись — интеллигентный пролетарий. Нам без таких партию не построить. Или — не та партия будет.

Доверчиво слушал Юрка под рукою. Как брат младшой, хоть и крупней. Да три года меж ними всего, но Юрка столького не видел.

— А то это быстро — нос задирают и чёрт-те в кого превращаются, балаболки. Вот с Гвоздевым боремся — а люблю его всё равно. Стать с ним рядом на станках — любо-дорого! Ничего не скажешь, руки!

Дверца из будки распахнута, чтобы подходы видать. Серенький день с туманцем, уже клочьями к земле. Борозды выкопанной картошки. Ботва рыжая намоклая.

А там где-то заграницы, заграницы...

— И что ж, пропустили?

— Кого?

— В Америку.

— А! Токарь! Без звука.

— А пока допрос, пока что, — еврейские материалы где же? — опять по правильному направлению соображал Лутовинов.

— В машинном отделении, у товарища, — успокоил Шляпников.

— Ну а продал?

— Смехота одна, опозорился. Ещё стокгольмские евреи брали охотно и цену давали. А я побоялся: ведь это прямо в германский штаб пойдёт, и для их целей? В Швеции, в Дании — тут, знаешь, на каждом шагу немецкие шпионы. Революционный борец то и дело может замараться об немецкую разведку. По виду европейская жизнь не строгая, а ухо держи. Так тебе деньги и суют, липнут. И предложил я шведским евреям так: вы нам дайте деньги на издательство, мы первым делом ваше издадим, а потом — своё будем. Так нет, отдай им в собственность. Я и заподозрил. Оттого и махнул в Америку — думаю, уж тамошние евреи денег не пожалеют, миллионеры! Ещё — на что ехать? денег партийных на дорогу надо, на самый дешёвый класс. Ну и что? Приехал в июле, время самое неудачное: все богатые евреи на лето из города уехали, а эти торгуются. И продал за 500 долларов, сказать стыдно. А дорога туда-сюда и прожил — 250. Вот так рабочему человеку коммерция...

На таком обороте приругнуться по матери бывает хорошо. Но Шляпников такой привычки не имел. С детства, от веры.

— Нью-Йорк — это камень, железо и дым, не знаю, как там люди живут. У нас в Питере вот и рощи, и огороды, а там так не посидишь.

Да и у нас не посидишь. Обманчив этот слякотный тихий денёк. Тут рядом, за спинами их, вдоль Большого Сампсоньевского, вдоль Выборгского шоссе, Выборгской и Полюстровской набережной — закрыты были, кто нашею стачкой, а кто прихлопнутый встречным локаутом, — уже третий или четвёртый, или пятый день — Эриксон, Старый и Новый Лесснеры, Старый и Новый Парвиайнены, Айваз, Рено, Феникс, Нобель, Экваль, Промет, Барановского, а всего по Петербургу и ещё, ещё, там 120 ли тысяч или меньше, а судьбу их решать — Шляпникову. То есть — БЦК и ПК, но как собраться вместе нельзя, и не с занудой же Молотовым советоваться, то придёт вечером на квартиру Павлова кто-нибудь от ПК и решим окончательно. Решим, а листовки уже, небось, отпечатаны. Решим — а уже решено.

— Слушай, Юра, — не спустил ещё с его плеча потяжелевшую руку Шляпников. — Ты знаешь, что́ мы делать хотим? Чтоб локаут сорвать — с завтрашнего дня объявить по Питеру самую всеобщую стачку — до последней малой мастерской, до последнего рабочего, в с е!

Ещё тяжелела рука. И вид Шляпникова из-под картузика — тёмный, как закопченный, глаза больные и усы книзу.

— Как думаешь? Поддержит нас пролетариат? Возьмётся?

Молчал Лутовинов.

— Или нет?

Соображал Юрий.

— Как тебе сказать, Гаврилыч. По мелким, по всем, где организовать твёрдой рукой нельзя, — это дело всегда гаданное... Может взяться, может нет... Отсыревает...

Ещё темней и больней осунулся Шляпников.

Это — знал он. Он и сам с того начинал: подручным слесаря, с другими мальчишками, в ту Обуховскую стачку в 901-м, набрав карманы гайками, обрезками железа, камнями, бегали с Семянниковского на Обуховский отгонять от станков несознательных, какие бастовать не хотели.

— Но не всё ж кулаком по шее, должна же быть солидарность. Одни попали в беду, другие выручай. А без солидарности какой мы пролетариат? Ничего мы никогда не...

— Отсыревает, — вздохнул Лутовинов. — Подсушивать надо. Как сойдётся. Не знаю. Если б кто денег забастовщикам подбросили.

Ну, как сойдётся...

— Ну ладно. Вечером решится, ночью пришлём связного.

А — дельный парень Лутовинов. А — свой.

— Слушай, а не взять тебе в руки весь Юг, а? Давай прихватывай Воронеж, Харьков, Северный Кавказ, а? Давай вот думать, кто у нас из тех городов, или связан, и сколько человек надо? Давай, может, через неделю соберёмся, обсудим? Приведи с собой кого?

Уговорились до мелочей: где, когда, как узнают, как войдут, пароль...

Ну, расходиться. По отдельности.

Хлопнули ладонями со звоном. Пошёл-пошагал Шляпников по картофельным бороздам, набирая грязного оката на сапоги.

Туман осел, и мокрее стало, чем с утра.

Была бы с ЦК связь как телеграфная — отстукали, ответили, посоветовались бы. А тут и письменной-то нет — ни химии, ни шифра, ни в переплётах никто ничего не возит. Раньше всю конспирацию гнали через думскую фракцию, с арестом их — развалилось. Через ленинскую сестру сочилось — и её вот на три месяца арестовывали. Теперь если в Астрахань не сошлют (муж хлопочет для лечения оставить, а он директор компании, оставят) — уж под наблюдением тоже замрёт.

Никакой связи! Пока сам не поедешь. Чуешь плечом коромысло — вот и смеряйся.

Было б тут действительно Бюро ЦК, а это что за Бюро? — когда стемнеет, втроём походим по Лесному, так на ходу и решаем. Называется БЦК, а связь с заграницей и связь с провинцией и вся работа настоящая — на Шляпникове. А Залуцкий — связь с ПК, по сути он — ПК. А на зануде этом, Молотове, — литературные дела. Называется. А листовку его до конца не дочитаешь, заснёшь, для овец и коров такие листовки писать. Листовки огневые всё равно студентам-мальчишкам заказываешь. Взяли Молотова потому, что некого больше. Потому что подошёл под ленинское определение: сплачивать для руководства только тех, кто понял главное в тактике: размежевание с Чхеидзе! только не единство с Чхеидзе! иначе по меньшевистской цепочке до лакейства и т. д. Молотов — и понял.

А уши сзади: никого. Чисто. Да и не должно быть никого, приехал только что, ещё не ждут и не привыкли. Вчера гнались не из-за него, из-за встречника.

Сейчас хоть с ПК более-менее дружно. А прошлую зиму провоевали пекисты против цекистов. Приехал Шляпников, только что кооптированный в ЦК, его и признавать не хотели. И по-своему правильно. Но сразу склока, как у интеллигентов. Из кого собрать БЦК? Те хотят — набрать из ПК, Шляпников — своё отдельное: Россия — не один же Питер. Да он — не из головы, он из-за границы готовые кандидатуры привёз, но здесь оказалось: или в Питере их нет, или под боком сидят, в Мустамяках, как Стеклов, затаились в безопасности, не притянешь. Или — *стоят не на нашей позиции.* А ПК ещё большего хотел: на стол им положи связи с заграницей и связи с провинцией, на случай шляпниковского провала. Многого хотите! Провалимся мы ещё когда, а вы нас — раньше. А те нажигают: Шляпников строит диктатора, Шляпников хочет командовать один. Да не хочу я, а — вынужден!.. Та́к и всегда склока затевается, на других видел, а сам не остерёгся: начинается с личностей, а вырастает в *теорию.* Опрокинулась склока на «Вопросы страхования», будто в этом дохлом журнале вся будущность русской революции. ПК — резолюцию против страховиков. Страховики отлаиваются. Шляпников требует резолюцию взять обратно. ПК — новую резолюцию, против Шляпникова. БЦК — против ПК. ПК собирает новых страховиков, обвиняет Шляпникова, что Шляпников сносится с членами организации, минуя ПК (а что же мне руки сложить, сидеть?), Шляпников ничего не сделал для общероссийской партконференции (а то вы много сделали!), транспорты литературы распространяет без ПК (да я их на собственной спине ещё в Норвегии таскал!)... Всего не перемелешь. На той склоке и проскочила прошлая зима. Всего-то деятелей два десятка, и все из рабочих, а помириться невозможно.

Оттого отчасти он и угнал в феврале за границу. Да и слежка насела: выходил только в сумерках, встречался только ночью. Да и ноги его нигде никогда не застаивались, всегда тянуло, что в другом месте он нужней.

Когда идёшь, идёшь пешком — вообще легче, ото всего. Всё, что внутри мутит, — в ходьбу уходит. И легче.

Сейчас оставался времени запас до следующей встречи — и попёр, попёр Шляпников по Большому Сампсоньевскому, многовёрстному, прямому.

И говорили уши сзади: никого.

Большой Сампсоньевский сегодня многолюдней обычного: рабочие не на работе. Кто — по улице шатается, кто — вместо баб в очередях у мясных, у молочных.

Отмахивали ноги, и подходил он ближе к заветным местам, где и сам проработал много. В 14-м году — так под видом «француза».

Это — весело было придумано! Французский паспорт, французский токарь, приехавший деньгу подшибить в Петербурге. Пять копеек в час не доплачивают — увольнялся, знайте западные законы! И своим рабочим — мало кому открылся, но сбивались вокруг него послушать, как он, подавляя володимерский выговор и изумляя всех быстрыми успехами в русском языке, рассказывал на Лесснере и Эриксоне про Ленина, про Мартова, для них легендарных почти. Пользуясь своим иностранным положением, под жандармские заботливые предупреждения с честью к козырьку, легко проходил кордоны в черноту Выборгской стороны, бушующей революционными песнями под гармошки, — куда жандармам казалось страшно. Что́ был за июль Четырнадцатого! Какие надежды!.. И через несколько дней, тем же «французом» с нафабренными усами и в котелке, врезав ногти в ладони, со смесью гордости и боли смотрел, как рабочие шли на призывные пункты с красными знамёнами — увы, так же и царские рядом неся, увы — сдавая пролетарские знамёна мировому шовинизму. И весь реванш был для «француза» — не снять котелка перед хоругвенным «Боже, царя»...

И снова, и снова меряют ноги питерские мостовые. Сейчас его тут не ждут, фотографий не сверяют, чисто. Да и усы не те, и одёжка не та. И свой на проспекте столкнётся — не узнает.

Вот и «Русский Рено» по левую. А по правую, за Флюговым переулком, — низенький забор мятежного 181-го полка. Подправили забор, подбили укосины.

И опять маршируют запасные на плацу, как ни в чём не бывало.

Чуть-чуть — а не началось. Правильно, Юрка: это дело — всегда гаданное.

И солдат этих никто судить не собирался, оказывается. И матросам, оказывается, никакая смертная казнь не грозила, 102-я статья, никакой там казни. Из двадцати шестнадцать вот уже и оправданы начисто. А просто, объяснили теперь другие: Соколов — он этих матросов защитник, ему надо было оправдание вытянуть, процесс выиграть, помощь себе получить. Вот он и...

А ты...

Ах, Санёк, Санёк, говаривает Саша, и похлопывает-гладит по щекам, простодушие тебя погубит, сковырнёшься ты на простодушии. Не смеет революционер быть таким простым.

(И Ленин: вы, Александр, слишком доверчивый оптимист!)

Встретились с Соколовым совсем случайно. И придумал он, значит, уже во время разговора. А ты — в три минуты! На полный размах!!

Эх, погорячился...

А питерский пролетариат, отзываясь партии, — тр-рах забастовкой по главным заводам! Партия решила — пролетариат забастовал! Это — верно! Так — надо! Пролетариат — по первой листовке встал. Силища!

А матросов — из двадцати шестнадцать вот уже и на воле. А заводы — закрыты теперь.

И закрыл их — т ы, представитель ЦК! И вслух — вслух нельзя об ошибке признаться: тут все полезут улюлюкать, тут — гвоздёвцам будет раздолье, гвоздёвцы спятили на обороне отечества.

Думали — только военный суд попугать. День-два — и вернуться.

А — локаут. И возвращаться — некуда. На какие заводы рабочие сами являлись — их полиция разгоняла: заперто!

И даже хуже. На закрытых воротах Рено, и на закрытых Нового Лесснера вон, на всех висят расклеенные желтоватые листы, на плохой бумаге третьего военного года.

Люди подходят, постаивают, почитывают. Не обратишь ничьего внимания и ты, если подойдёшь.

Хотя уже знаешь там каждое слово:

«Начальник штаба Петроградского Военного Округа
28 октября 1916 г.
Директору .... завода

Начальник Округа приказал лишить отсрочки призыва и немедленно призвать на действительную военную службу рабочих вашего завода, военнообязанных рождения 1896 и 1897 годов. Списки означенных рабочих немедленно представьте воинскому начальнику и в полицейский участок, а с военнообязанными произведите расчёт.»

И тому сегодня — третий день.

И хотя не видно про́водов, белых узелков, бабьего воя. И расчёт производят вряд ли — какой дурак за ним пойдёт при закрытом заводе? И списки воинскому начальнику если и отосланы — этим ещё не решено, у воинских начальников служба своя, они и призванным дают отсрочки поступить на другой завод (тут поможет и гвоздёвская группа, использовать их). Да тот же самый завод своих новобранцев, уже в шинелях, гляди, к своим же станкам и вернёт.

И хотя призываются только два самых юных возраста, кто и рабочим-то стать не успел.

Но если э т о спустить, уступить военному сапогу — кончилось рабочее движение в России.

А не уступили — и вон бродят хмурые-хмурые по Большому Сампсоньевскому, без дела.

Локаут. Lock-out! Наружу вас!

Укрепилась гнилая власть. Решилась-таки.

Самое удивительное: как они решились? У них давно уже смелости нет.

Вот на этом и просчитался.

Побрёл налитыми ногами, как перед самым Улеаборгом.

И гордость: во́ сила! Не точно считано, и меняется каждый день, есть такие фабрики и такие забастовки, что и в ста саженях о них никто не знает, только фабричная инспекция, ну пусть не 120 тысяч, а 60, — о-го! В Копенгагене, кто карандашами приторговывает, представить такое в России — можно?

Сейчас бы отступить пролетариату, как победителю, в благоразумном порядке. А нет, схвачено: локаут. И — воинский призыв.

И — страх: *такого* испытания ещё не бывало. Можно всё сорвать в один раз. Сам указанья давал: сражаться рано, не готовы. И вдруг — дал сражение.

Резьбу нарезать — тщательная медленная работа. Расчёт диаметра. Расчёт шага. Обратные повороты — стружку выкидывать. Смазка.

А сорвать — дурак сорвёт: лишнее крутани один раз.

И какой же выход? Просить милости? У фабрикантов? У властей? Жертвовать призывниками? уволенными?

В том и дело, что это не выход. Правильно срублено было, неправильно, — а теперь только вперёд!

В борьбе выход — только вперёд!

Но точит шашень виновную грудь, про себя только знающую вину: ах, Санька-Санька, погорячился!

Тяжёлые-тяжёлые ноги. И мокрые.

И не доспано, и в брюхе пустовато. Поесть бы уже.

Литовская... Гельсингфорсский... Казармы Московского полка. Мимо Эриксона побыстрей, тут всё-таки могут узнать... И на Эриксоне объявление то же... Каждый переулок тут знаешь, не читая. Каждый двор, не заглянув в подворотню.

А вот почему ещё тяжко так. Не потому что ты, председатель всероссийского бюро ЦК, может быть, ошибся, и какие это будет иметь последствия для партии и даже для всей России, а: просто закрытые заводские ворота. Для рабочих — закрытые. И закрытые — тобой. Рабочим.

Ещё не знал никаких социалистов, ещё не прочёл ни одной брошюры, а уже грезил: эх, кабы Бог послал мне стать вольным мастеровым! к станку бы приобчиться! тогда б нигде не пропал. И с этой надеждой — в Вачу, и в Сормово, и на Невский судостроительный (набавляя года себе в паспорте), и на Семянниковский, — да сбили: послали гайки умечать в лоб старикам, сознательность им передавать. И уволен по чёрному списку. И покатился, покатился в революцию, в тюрьмы, как будто вниз и легче, а мечта всё равно тянет наверх: стать металлистом первого класса! рабочим быть — и до гробовой доски!

И вот есть уши, глаза настороже. И ноги ходучие. И голова варкая. А руки — руки всего главней. И лучшие дни твои — не в стачках, не в комитетах, не на демонстрациях, не в эмиграциях, — а когда входишь во всё это шумно-весёлое зубчатое, шестеренчатое, червячное, коленчатое, и каждое движение понимаешь, и его приспособляешь, и от стариков слушаешь себе простые похвалы, а потом и от мастеров, — вот когда ты на своём истинном месте! И по субботам ссыпаешь в карман весомые, какие бывают только честно заработанные, денежки.

Потом — среди токарей немецких, французских, английских. Не тот Интернационал, какой собирается в манишках на конгрессы, а вот этот — коренной и основной, в цеховых проходах — в блузах, куртках, гетрах, в пятнах масла, ботинками по стружкам, что ухом не схвачено, то досмотрено глазами, и с гордостью идёшь по Вемблийскому заводу, first turner, рабочий-механик, в общем — славный мастеровой всемирного отечества.

А другим — ворота закрыл.

Это — как?

Ну, наконец, Бабурин переулок. Где тут чайная эта? Волк выедает, так жрать приспело!

Тёплые запахи чайной — капустой, мясом, луком жареным, хлебом ещё тёплым, — ух, хорошо! Пальто тут не снимают, шапку — на колени. Тут уже, нет? Где? Вон, у стенки подальше, юркоглазый, лицо довольно дураковатое, Каюров. К нему. А пока глаза сами — на подносы, по столам, — что тут едят? Котлеты с картошкой. Макароны с мя-

сом. Солянку. Гуляш. Взять побольше, не скупиться. В такой день да голодный — всё дело прогрохаешь.

— Здоро́во.

— Здоро́во.

Каюров — так себе мужичишко, некоренённый, росту среднего и модельщик не выше: не ремесловит. Но — резок, на горло кинется. Горлан — ничего.

О том, о сём — громко. За столами — свои разговоры, еда, расчёты. Не слушают. Такие ж двое своих, как все.

— Ты чистый пришёл?

— Чистый.

— Уверен?

— Нашёл проверять!

Каюров как весь с кондачка, так и в этом: по самоуверенности может и прохлопать. И суетун. Хоть он и старше на восемь лет, а ни в чём оно. Лицо у него всё бритое, а то ли и не растёт.

К тарелкам полусклонясь — Каюров уже ест, Шляпников ждёт, — полуголосом о деле:

— Так вот, выхода нет. Назначаем на завтра всеобщую по всему Питеру. Требуем: снять локаут и отменить воинский призыв.

— Да уж знают, потекло.

— Ну и как? Возьмутся? Вытянем?

— Эриксон — конечно! Оба Лесснеры!

Языком молоть, они сами в локауте, им выхода нет.

— Нет, кто работает. Соседи. Кого знаешь?

— Гергард. Морган. Розенкранц.

— Да это всё — по гривеннику.

— Хоть и по пятаку, а сколько! Лютш и Чешер. Электротехника. Кмядта красильная. Григорьева колбасная.

— Да все ли пойдут?

— Пойду-ут!

Другой бы кто так сказал, Шляпников поверил бы. А этот — сильно на подхвасте.

— А Арсенал?

Не взялся Каюров:

— Не знаю.

— То-то. А мануфактуры? Сампсоньевская? Невская?

— Вот ждём.

Ждём. Та́к и размажется. А за всё ответишь единолично. Ты. И в эти оставшиеся полдня надо решать. Каждый раз хочется на одну сознательность перейти. И который раз по важности случая: нет, вот ещё последний...

И — твёрдо, командирски:

— Надо вытянуть, во что бы ни... Не пойдут — выгоняйте хоть гайками. Сегодня к вечеру листовки будут готовы, присылайте человека к Павловым после восьми. За ночь распределите. И утреннюю смену везде надо остановить! Хоть на улице, хоть перед воротами, хоть уже на лестницах. Но остановить. Иначе всё проиграем.

— Сде-елаем!!

Это Каюров уверенно, э-это он может. Где забияки нужны, там он первый. Э-это он столкнёт. В чём другом напутает, а это!

— Слышал: забастовщикам кой-где пособие платят.

— Ну? Кто?? Из каких средств?

— А чёрт их знает. То ль межрайонщики, то ль инициативники...

Интернационалисты?.. Внефракционники?.. Во дела! Загадка. Но нашему козлу на подмогу, это нам идёт.

Васька Каюров любит поговорить, но с ним не обо всём. Что, вот, гнетёт сердце, что, вот, не ошиблись ли? — этого ему не выскажешь. Ему — только готовое решение.

Так и всегда. Для каждого разговора должен быть подходящий свой особый человек. Через пять минут разговариваешь с другим — и слова другие, и сам ты как будто в чём-то другой.

С Каюровым что вместе хорошо — если ругать кого-нибудь, душу отводить. У Каюрова весь вид востренький, от востреньких бегающих глазок, а слово хлёсткое. Того же Чхеидзе: врёт насчёт Циммервальда, что сочувствует; пристегнуть нас хочет к буржуазному министерству; вместо Штюрмера будет Милюков — что мы выиграем? А ещё разбористей — Гвоздева ругать, по Эриксону и сам его знает, зубами бы ему на горло: *стачколомы*! примирительные камеры суют нам, гвоздёвские молодцы! Спасение самодержавия приняли за спасение отечества, маленькая ошибочка! А у нас Минины и Пожарские такие, что не свои кошели на алтарь отечества кладут, а норовят себе с алтаря стащить!

Это верно.

Для постороннего вида, для безопасности разговора надо бы еду растягивать и растягивать, а ложка просто рвёт с тарелки — мясо духовое, мясо тушёное, капусту, картошку.

Продовольственный вопрос сам с тарелок кричит, а Каюрову много повода не надо. Хорош он для действия, а очень любит рассуждать. В чём и разумно:

— Твёрдые цены на все продукты — конечно. Но монополии хлебной торговли — правительству не давать! не допустить! Нельзя, чтобы правительство хлебом владело, а то они нас на колени поставят. Вообще, мы ещё мало агитируем вокруг продовольствия: надо хозяек подбивать лавки разносить. Бабы повалят — на них казаков не выпустят!

У Каюрова — отдельная группа бывших сормовичей, и средь них он считается даже голова. Они всё сами хотят: и обдумать, и сделать, чуть и не всю вторую российскую революцию. Долго вообще не хотели признавать Петербургского комитета: вы, мол, по себе, а мы — по себе. Отчасти из недоверия, что в ПК — осведомители и всех провалят. Но и меру ж надо знать, подозреньями нас тоже охранка заражает, чтоб разъединять. Когда Черномаз из ПК пачкал *заграничников*, что засели мол там, отсиживаются, только святые указания шлют, — тут каюровцы и к Черномазу охотно прислушивались. А когда прошлой осенью Шляпников приехал сам из-за границы, живой член ЦК, вот он, не отсиживается! — каюровская группа завопила: не может быть! такого не выбирали! провокатор!

Не может быть!.. Раз никому другому такое не под силу — значит, и ты сделать не мог. Значит, тебя охранка через границу перевезла. Правильно, не выбирали. Правильно, такие тяжёлые условия. А — кого другого из вас бы назначить?

И всё это выяснялось и обсуждалось через Горького: как земляка-нижегородца, его одного сормовичи признавали, ему только и верили. У него одного и собирались — языками поболтать да на груди порыдать: как не состоялась первая революция, да какие славные были *красные годы*, до 907-го, да как упал рабочий класс после них. (Горький и сам любит слезу пролить.)

Теперь, когда ноги согрелись, особенно размокрели. Чувствуешь, как набралась вода внутрь. Переобуться да подсушиться как приятно бы! Так бродячему всегда негде.

Квартира Горького на Кронверкском — такое место, куда все валят, и он сам охотно широко принимает — и рабочую публику, и соц-дем, и вообще рев-дем, и угощает всегда хорошо, всегда там поешь, и веселье общее такое, будто за окном никакого царизма нет или уже падает. Квартира на виду, снаружи частенько дежурят филёры, но законная открытость хозяина и то, что сыпят туда многие, иногда человек до сорока, как будто и конспирации не нарушает, и Шляпников разрешает себе туда ходить.

— Ты когда у Алексей Максимыча будешь? Скажи: я послезавтра зайду.

Новости думские собрать. Завтра Дума открывается, к послезавтрему у Горького все кулуарные новости будут. Да все новости из буржуазиой среды и даже правящей верхушки, и все материалы, какие по рукам ходят, где ж и получить? Секретное совещание заводчиков у градоначальника? — вот тебе стенограмма. Тайная встреча Протопопова с думцами? — вот тебе запись, а ты её хоть за границу пуляй.

— Алексей Максимыч в Москву уехал.

— Да ну? когда?

К Горькому и от Ленина поручений много. Деньги выколачивать — это вполне понятная задача. А бывает помудреней, например: вышибать окистов через блок с махистами. Вот этого Шляпников совсем не умеет. Всех бы гнать одной метлой, проще и понятней. А Ленин всегда из них что-то комбинирует. А Горький — с теми и с другими, как и всякими третьими, — в обнимку. Хотя в общем — на *нашей* позиции стоит.

О том и Каюров:

— Спорили мы у Алексей Максимыча: какой ориентации дальше держаться, при развороте событий? Начнётся революция, конечно, с фронта, это ясно. Но от этого фронт сразу ослабится, и Россия проиграет эту чёртову «вторую отечественную». И это — хорошо. Ленин пишет: для пролетариата выгодно поражение своей страны. Значит, какая-то из группировок империалистов получит временную гегемонию над Россией. Так вот: какая группировка предпочтительней? Алексей Максимыч всегда уверяет, что англо-французы лучше. А я ему: всех наций капиталисты имеют в Питере заводы, хоть и шведы, хоть и финны, и нами правят. Так что имеем случаи сравнить. Англичанин — всегда зловредней и злопамятней. На Невской бумагопрядильне впустят полон двор баб, кто работу ищет, а он выйдет на крыльцо с трубкой в зубах и смотрит — ну нагло, как на скотину. А немцы не такие нахальные. Человечней, что ли, ближе к нашим. Сколько вон мастеров-немцев, с ним и поругаешься, с ним и помиришься потом. А ты как думаешь?

Шляпников так думал, что противно ему это слышать. Что *здесь* он этого услышать не думал, *там* наслушался. Но — объяснить, но — отвечать? но спор заводить сейчас?.. Нагрузил брюхо, и теперь тяжёлая теплота по всему телу. Разомлел, хорошо бы подлить-посидеть, даже в стуле заснул бы. Но ни засидки, ни залежки не может себе разрешить подпольщик, разве что при крайней опасности. Чаёк допит, время гонит дальше. Волка ноги кормят.

— И потом, — распелся Каюров, — ведь — соседи. Через них — как прыгнешь?

— Знаешь что, Васька? — Манил Шляпников полового рассчитаться. — Ты вот этой глупости нигде не сей больше, даже у Горького. В том и линия наша: чтобы под самой немецкой пастью пройти, а на плечо б они нам не блюнули.

Разговор вместе, а денежки врозь. Денежки рабочие — считанные, каждый за себя.

И ушёл расстроенный.

Однако не забылся: по переулку — в другую сторону, чем пришёл, на Межевую. Кажется, *без прицепа.*

А там на трамвай вскочил — на ходу. А трамвай — в разгон. Ну уж, точно чист. Сегодня — нельзя ошибаться.

И сообразил билет пересадочный взять: чтоб и по Невскому ни квартала не идти, на Невском становишься заметен, и чтобы — пятак сэкономить.

Если уж питерские кадровые думают так, как Каюров, — как же нам не замараться? А германский генеральный штаб — тот и с первого дня войны понимает, что русские социалисты-интернационалисты ему как бы союзники. К а к бы! А вот выкуси!

Да Ленин — уследит, не допустит!

Это Сашенька, молодчина, раскусила, когда им из Берлина в 14-м году, из интернированных, прямо бархатцем выстилая, предлагали в Россию — неизвестно кто, неизвестно почему, неизвестно на какие деньги. И все эти Чхенкели, Нахамкисы, Лурье, Гордоны схватились, её уполномочили, а она́ — пошла и за всех за них *отказалась*!! Уж как её грызли!

А потом подъезжал этот Кескула, змей, якобы революционный эстонец. Приехал — из Швейцарии в Скандинавию, и деньги, деньги суёт, — вам же деньги нужны? на издание брошюр? на транспортировку литературы? вообще на партийные цели? — «позялюста, фседа достанем!». Типографии, оружие? — всё достанем, лишь бы бороться против царизма. От Ленина — лучшие рекомендации, меня знают, знаком... Замялась Коллонтай, а Шляпников — подозрительней, у него глаз — на прорез. Конечно, по рекомендациям поработали с мерзавцем, кое-что лишнее ему сказал, но потом отряхнулся: бездомный эмигрант с чековой книжкой? И друзья у него в русских банках? — пошёл-ка ты подальше по-хорошему!..

И разъяснил про Кескулу Ленину, написал, чтоб тот не верил. Люди головные, погружённые в газеты-книги, этих происков не замечают. Это под ноги надо смотреть, а то вступишь.

У конца Нижегородской слез и ждал кругового, шестого, с сине-зелёной марками. Стоял в нескольких шагах от городового, но в тесной серой толпишке. Стоял перед самым взгорбком на Литейный мост, на этом узком горле Выборгской стороны, куда столько раз уже подступала рабочая масса — идти в город. И задерживали её все виды полиции.

И — ещё ведь *подступит*?

Не может не подступить.

Нет, сколько ни мотайся по Стокгольмам, а вот это ощущение — своей питерской мостовой под ногами, своего Литейного моста, обречённого и открыться когда-то нашему шествию — ... !

Хоть и городовой рядом.

Треснула Европа багровыми швами границ — и как путаются самые умные люди! Вполне честные немецкие соци удивляются нашим: ведь вы же против царизма! и страшней царизма нет опасности в Европе! — отчего ж вы германской помощи не хотите? Поражение царизма — нужно вам или нет?

А оттого что: не помогайте нам через Вильгельма, вот что! Не *помогайте* нам шестидюймовыми по нашему брату! Спасибо вам за такую пролетарскую солидарность!

Кажется, ясно? Нет, опять не ясно. И никому не ясно. Вот финские *активисты,* оружие из Германии. Почему пропустили Шляпникова сюда, не забили там, в полярной темноте? А потому что вроде — союзник. И — согласился Шляпников, не стал им руками показывать: мол, стреляйте меня, не приму вашей помощи.

А и Кескула, между прочим, финским активистам тоже оружие гнал.

Дребезжал, громыхал трамвай по Литейному мосту над чёрно-серой холодной Невой. Останавливался подле Окружного суда, где ах мечтали бы зацапать того, кто всеми забастовками ворочал.

Набил брюхо — теперь клонило спать за недоспанные ночи. В голове было мутно, гудко, и даже в толчках трамвая задремал бы.

Отогнали Кескулу от одной двери, он — в другую: Шляпников денег его не взял, так взял Богровский, секретарь стокгольмской группы РСДРП. И давал расписки на бланках, присланных от Ленина, а печать на них — Шляпникова! Каково!

И кинулись Бухарин с Пятаковым следствие вести.

Отбили Кескулу за границей — ничего, протянулись руки сюда. Уже Шляпников был в Петербурге, тут к нему тёмный датчанин какой-то Крузе, конечно «с-д», но от торговой фирмы, и больше всего

удивляется: почему же русские с-д не готовят вооружённого восстания? Да не прислать ли оружия из-за границы? Это совсем не трудно. И шрифты можно для типографии, в любом количестве.

И — заманчиво. И — как разобраться? (Может и взяли бы, да Крузе поспешил — мотнулся в Москву, к жене Бухарина: как? и в Москве восстания не готовят? а нельзя ли вот таких и таких эстонцев разыскать, тут записка от их товарища Кескулы?)

А тем временем Бухарин и Пятаков гнали по кескулову хвосту. И так удачно у них получилось, открыли все нити: и что Кескула — агент германского генштаба, и что целая сеть уже сплетена вокруг русских революционеров в Швеции.

И кажется, что б от того нейтральной Швеции, что эмигранты вокруг себя раскрыли? Нет, до той поры терпели, а тут арестовали добровольных следователей и — выслать! И Бошиху с ними. И — Сашеньку Коллонтай. Вот так нейтральная страна! — немецких шпионов не тронь! (Выручил всех Шляпников: он вернулся из Петербурга, на Западе считался как бы единственный реальный представитель социал-демократической России, и Брантинг ему помог.)

Прогромыхал трамвай по Кирочной и заворачивал на Знаменскую, не так уж вдали и от Таврического, где празднично и праздно соберутся завтра разряженные думские болтуны. И даже будут рабочих поминать всуе, рабочего-то движения на сам-деле и боясь.

Вот этого самого взмаха боясь: стачка — локаут — контрстачка, — от которого что ещё выйдет? Устоит ли сам Петербург? Они там будут рассуждать, закрывшись в коробке Таврического, а в эти часы устоит ли ещё Петербург?

Со сломанной доски прыжок был сделан — вперёд! (И — когда сделан? сам не заметил. Ни в какой отдельный момент, а вот уже сделан.) И ногами ли на тот берег? головой ли в поток? — решалось в ближайшие полсуток, и надо было соображение сбирать, что-то ещё подправить, что-то ещё... А голова гудела, и ничего путного не соображала.

Ничего путного, а вздор — продавливался. «Японцы» эти (Пятаков с его Бошью и с Бухариным)... Вот это следствие о немецких агентах одно только и удалось им, изо всех дел — одно. А в остальном и всегда были они — головастики, ни к чему не приспособленные смешные существа. Над книгами, бумагами и в диспутах — гремел Бухарин, глаза горели, не уступал ни пункта. Но в любом жизненном деле, а особенно в дороге, на лондонском вокзале или в датском порту, да ещё со своим поддельным паспортом Мойши Долголевского, а по виду полный русак, да не зная ни одного языка, да не умея с чиновниками разговаривать уверенно и смело, терялся Бухарин до смешного, превращался в куль бесформенный, и как куль перетаскивал его Шляпников на пароходы то из Англии в Норвегию, то из Дании в Норвегию, то выручал из шведской тюрьмы, то, сочувствуя его тоске, отправлял прокатиться в Америку «для партийной работы». Приспособить же «японцев», живущих в Швеции, рядом с Россией, для самого реального дела — переправки литературы и связи, — оказалось совсем безнадёжным, такие безрукие, это все признали, и они сами признали. Да они ж «в Россию» и ехали, а то куда ж? — через Швейцарию-Францию-Англию-Норвегию-Швецию второй год ехали, а при конце не хватило сил. Тут ведь, дальше, надо по льду пешком. А мастера — статьи катать: нате, напечатайте! нате, отправьте! А мастера — разжигать разногласия по теории.

Слез. Пошёл по 3-й Рождественской да по Херсонской — задами, к Архангелогородскому мосту.

Эмигрантская жизнь такая, что только спичку кинь. Теоретические разногласия — значит сейчас же и личная вражда. С Лениным «японцы» разошлись: самоопределение нациям — обещать непременно всегда всем или нет? (Ленин раньше говорил: никому! теперь: обещать! японцы, как и раньше: нет!), — и тут же развалили редакцию «Коммуниста». Если в одном пункте рассорились — всё пропади и всё провались, и рабочее дело туда же!

Ни понять, ни принять этого Шляпников не мог: как так? при несогласии почему обязательно сразу и вражда? Вот это наша интеллигенция, узнаешь сразу: из-за *принципа* провались и самое дело. Да рабочее дело почему должно страдать? Чтобы в России дело шло — надо же помириться?

Только Шляпникову и занятий: последний раз приехал из России, начал мирить «японцев» со «швейцарцами». Два месяца потратил — буфером служил. Объяснял тем и другим, что такое «Коммунист» для русского рабочего: тянутся! нарасхват! деньги платят за прочтение! Бес-по-лезно! Так и уехал Бухарин в Америку, не примирённый.

Ну а по Шлиссельбургскому — тут своя рабочая публика ходит, тут не выделяешься нисколько. И уже паровичок не нужен, близко, а время есть.

Да только ли *там* мирить! Приказал Ленин Шляпникову, *сюда* воротясь, в этот кипящий стачечный военный осенний Петербург, — как самое первое важное дело собрать БЦК обсудить разногласия в редакции «Коммуниста» (сообщение товарища Беленина) и чтоб непременно выразить солидарность БЦК с *основной* (ленинской) линией ЦК. И *письменное* решение немедленно выслать в Швейцарию.

Неизвестно с кем. Других забот в Петербурге нет.

Всё же уравновесил Шляпников так и сяк: расхождение сотрудников ЦО по отдельным вопросам программы не может служить препятствием к участию их в изданиях ЦК; следует принимать их сотрудничество по вопросам, стоящим вне разногласий... (Так тебе сразу и схватятся!..)

Поручение выполнил, осудил «японцев», но так, по сердцу, если глянешь отсюда туда, на все эти колонии русских эсдеков, переполненные теоретическими и перьевыми силами, — американскую, английскую (кого там нет! — Литвинов, Чичерин, Петерс, Керженцев, покойно себе живут), французскую, швейцарскую, шведскую, датскую — всякие Чудновские, Урицкие, Троцкие, Володарские, Сурицы, Зурабовы, Лурье-Ларины, Левины-Далины, Гордоны, Дерманы, — сколько их там в ожидании конца войны или мировой революции, а тебя *кооптировали*, и гоняй туда-сюда, и гнись под коромыслом. Отвези-привези, чтоб колебались устои царизма. Отвези-привези, сделаешь доклад, мы обсуждать будем.

А туда приедешь — ещё разрешения у Ленина спрашивай, в какой стране жить? Можно ли в Англию съездить токарем поработать? Можно ли с Брантингом встретиться или это утесняет Литвинова?

Туда приедешь, и, правда, болташество охватывает. Так и тянет, отчего бы нет, на камнях у моря полежать, окунуться.

Не обижался Шляпников на коромысло: оно было ему и по плечу, и по духу неуёмному, и по ногам бегливым. Что ему одному всё это подгрузили — не обижался он, только подсмеивался. Но в такой тошный день, как сегодня, потребно было посоветоваться с центровыми — как же решать? что делать?

И вот тут — никого не было.

Стеклянный городок он уже отмахивал. Пересек Фаянсовую улицу, и вот уже была площадушка перед церковью Всех Скорбящих. Тут, у церкви и при лавках, всегда толкучка, легко затеряться, и вход в «фотографию Коваленки» — открытый всем, неподозрительный.

Коваленко, муж Мани Шляпниковой, был фотограф непридворный, незнаменитый, золотых медалей на выставках не хватал и на карточках не выпечатывал, но для рабочего дела самый нужный фотограф, на помощь партийной кассе (хоть и позабористей: «Распутин и царица», «Распутин и Вырубова», шло хорошо по Питеру).

Кого ж к конспирации и привлекать, как не близких родственников? Самые безотказные помощники. И в задней тёмной комнате, без окна, отдохнуть и отлежаться у них как загнанному зверю в норе — покойней всего.

Иосиф Иваныч снимал кого-то при лампах. В ожидальне сидела мещанка с детьми, две девицы. Шляпников скромно прошёл за занавеску, тихо ступая. Во внутренней комнате сестра Маня:

— Есть будешь?

— Да нет пока.

— Ночевать останешься?

— Никак. А до темноты посижу. Час который? Успел. Сейчас студент должен прийти. Такой крупнолицый, с оттопыренными ушами, не в форме. Ты спроси его: «Вы что будете заказывать?» Он скажет: «Хотел бы в кавказской одежде.» Тогда веди его сюда.

Разделся. За ситцевую занавеску в сиреневых цветочках прошёл в заднюю комнату, где не было своего света, а падал ослабленный из столовой, а и в столовой — серый краденый петербургский. Сел на кровать. И голова сама на руки свалилась.

Сейчас, правда бы, залечь — и до завтрашнего утра. Почему-то часто сходится, что к самому нужному дню — и не выспался.

Кровать ямкой, ссунулся туда, оттого колени поднялись, и голову на них, ниже, ниже... Заснул, что ли? Маня за плечо:

— Пришёл.

Сухими руками, без воды, растёр, растёр лицо небритое. Вроде посвежей. Вышел.

За обеденным столом сидел Матвей Рысс, сняв кэпи на голубую вышитую скатерть, но остался в пальто нарядном и буро-красном шарфе. Волосы его светло-серые шерстились пышно, и сам он был свежий, светло-розовый — ушами, щеками, губами.

Молодость на подсобу. Вот их студенческая группа, Аня Коган, Женя Гут, Рошаль, вот эта молодёжь пришедшая и есть перелом в интеллигенции. Новый кадр. А без тех задремавших справимся.

— Ну? — бодрости голосу подбавляя, руку пожал студенту. — Как дела?

— Хорошо, товарищ Беленин!

— А что да что хорошо? Обуховцы почему стачку не поддержали?

— По продовольственному нашу резолюцию уже приняли. И против локаута всеобщую я вам гарантирую — поддержат.

— Уверен?

— Обеспечим.

— Это — очень важно, парень. Обуховский — это вес.

— Некуда деться им. Против солидарности.

— Хорошо, радуешь. Ещё что?

— В университете волнения.

— Да что ты? Вот замечательно!

Вяжется! Делается всё-таки!

— Позавчера собирались на главной лестнице, был митинг о дороговизне и что войска отказались стрелять в рабочих Трубочного. Не знаю, было такое на Трубочном?

— Не было.

— Ну, на митинге говорили. Потом по коридорам пели революционные песни и врывались на лекции.

— Здорово, молодцы!

— Университет, Бестужевка и наши Психоневры — готовы к забастовке. Всеобщую — поддержим и мы.

— Молодцы! Вот молодцы, ребята! — сидя против него через небольшой обеденный стол, радовался Шляпников.

Идёт поддержка, откуда меньше ждёшь. А рабочие — как бараны за этими оборонцами.

С одобрением смотрел на Рысса:

— Сейчас стачка против локаута — главный бой!

— Понимаю.

— И готовим — твою листовку. Не как в древности подпольной, знаешь, писали от руки, раскатывали на гектографе. А в самой настоящей типографии.

Рысс головой покачал, как не веря.

— Увидишь! Не стану называть, а делается так: в ночную смену подбираются все верные люди, и вместо ихней газеты — наша листовка. А там только пачками выноси.

— А у межрайонцев ещё проще.

— А как? — ревниво Шляпников. «Межрайонцы» была группа между большевиками и меньшевиками, которая считала, что она одна только...

— Да прямо в легальной типографии за деньги печатают. Хозяин берёт за 1000 листовок 50 рублей со своей бумагой.

— Ну-у-у... — даже недоволен Шляпников.

— И где типография! — на Гороховой, рядом с градоначальством.

— Здорово, — нахмурился. — То-то я смотрю — у них бумага хорошая, шрифт. Ну, ладно: сегодня вечером будем листовки раздавать. Я постараюсь к ночи сюда прислать, для Невского района. А вы утром как можно раньше забирайте — и раздавайте. Этот бой надо выиграть. Такого боя ещё не давали.

— Понятно, — светло-рыжими бровями отозвался Рысс. — Приложим.

Твёрдый парень. Без них бы вот разорваться. Когда это всё сочинять да...

— Ну, а *та*?

— Готова и та, — тряхнул головой Рысс. Волосы его, хоть и вздыбленные, нисколько на этом отдельно не колебались. И достал из кармана, развернул на скатерти бумагу с новым текстом.

Новые дела и старые годовщины наступали на пятки, гнали. Ещё о локауте и не знали, а эта листовка уже была заказана к 4 ноября, ко второй годовщине ареста думской фракции большевиков. Хотя на суде они себя вели не как надо, особенно Каменев, но уже принято было в эту годовщину сгущать рабочую злость.

Почерк у Матвея крупный, неровный, с хвостами. Читать можно. Но захотелось Шляпникову ухом принять.

— Только не громко, чтоб в фотографии не слышали.

И Рысс тоже с удовольствием стал читать, громкость сдерживая, а выразительность всю подавая:

— ...на скамье подсудимых в лице пяти депутатов сидел весь российский пролетариат... В то время война ещё только запускала свои когти в тела европейских народов. В громе барабанов буржуазной лакейской печати у многих ещё были закрыты глаза...

Звонкий голос, просто рвётся на митинги. Хорош из него будет оратор. Кто сам сочинял, тот и знает, где выражение выразить.

— Замечательный слог у тебя!

Ленин верно написал, что листовки — самый ответственный и самый трудный вид литературы. В эмиграции мало кто таким слогом пишет. Бухарин — скучней. И сам Шляпников, как ни натаскивала его Коллонтай, — неважно совсем, не хлёстко.

— ...День похищения нашего рабочего представительства ознаменуем усилением агитации за лозунги... Под визг приводных ремней протягиваем мы вам свои мускулистые руки! Сомкнутыми рядами, возродившись в 3-м Интернационале, мы усилим борьбу за прекращение войны путём гражданской войны...

— Здорово. Здорово. Только вот что: ты — межрайонцам не пиши.

— Я межрайонцам не писал! — воззрился Рысс.

— Ну да, говори! Слог твой узнаю.

— Да это не я, товарищ Беленин! Да они там сами все письменные.

— Ну ладно. А то — не честно.

Забирал бумагу. Остались влажные тени от пальцев, где держал Матвей.

— Скажи, а Соломон Рысс, максималист, тебе не брат был?

— Двоюродный.

— Ничего у вас семейка, боевая.

Простились со студентом — вошёл зять, кончив свою работу, но ещё в халате. Вошёл, посмотрел на шурина странно, улыбнулся:

— Алексан Гаврилыч, сколько у меня бываешь, а никогда не снимешься. Ни в ту осень, ни в эту. Потом хватишься по этим годам. Давай сейчас, а? У меня на пластинке место осталось.

Шляпников посмотрел с удивлением, даже не понял сразу. С какой стороны привыкнешь смотреть — с другой и не взглянешь. Привык он, что на площади толпится народ, что в фотографию всякому зайти неподозрительно, да каждый раз и при нём кто-то снимался, видел, — а в голову не стукало, что и самому ж можно.

Из головы ушло, что это можно и ему.

Что это нужно ему.

Или Сашеньке.

Плечи пошли в пожим. Губы тоже. И рукой, мужское оправдательное движение, к щекам, протёр:

— Да я ж небрит, Иосиф Иваныч.

— Ну, побройся. Сейчас Маня капяточку.

Да разве в том, что небрит? Всё настроение не то, придавило, несёт куда-то, какая фотография!

Однако, к зеркалу подошёл — к наклонному, в межоконнике над столом, неудобно и висит, изогнуться надо, чтобы посмотреть. Да и тусклеет уже, края в облезлых пятнах.

Своих тридцати двух лет никак не меньше, можно и под сорок. Лицо — и русское, и не то чтоб выпирало русским: чуть иначе усы подстригал, волосы разбирал на пробор, и на снимке с французскими рабочими в цеху не сразу его и отберёшь, который русский тут. А в хорошем костюме — так и коммивояжёр, что ли.

Самому-то ему хотелось бы вид погероичней, больше бы чего-нибудь революционного. Хотя нет, тогда б и полиция цапала хватче. А так — средний тихий мастеровой, любит заработать, если пьёт — то немного. Скромные усы, скромные волосы коротко-стриженные. Да не от этого, а: взгляд, весь вид какой-то странный, самому себе всегда непонятный. Такой вид, что ли, будто он знает больше, чем делает. (На самом деле — что знал, что умел, то и делал честно всё.) Такой вид, что ли, будто он знает, что делает всё зря. Какие-то глаза не такие, не боевые, какая-то улыбка не такая, печальная, и на всех фотографиях так всегда, как ни приосанивайся, — почему такой странный вид? Не похож иа настоящего революционера. Рысс, мальчишка, и тот гораздо больше похож.

А сегодня ещё и глаза безо сна и покоя, и усы опущенные, и вид такой недовольный — совсем не тот *Милунечка,* которого Саша звала, рвала в Хольменколлен на прогулки по косому угорью, встречать поезда на обрыве. А молодость, а сила, а ноги резвые! — неужели тому двух лет не прошло?

— Нет, Иосиф Иваныч, спасибо. Другой раз как-нибудь. Не до того.

— Ну, смотри. Тогда обедаем. — Пошёл Коваленко руки мыть.

А что за вид был у Саньки в 17 лет, ещё до первой одиночки, до гласного иадзора, до Владимирского централа, ещё когда совсем не был революционер: в косоворотке провинциальной самой дешёвой, а руки беспокойно просятся в дело, еле держишь их на груди, как живых, чтоб не вырвались. И глаза — к подвигу, к вере.

А вера та была — древле-православная. Она ещё гналась тогда, и за неё стеной стояли истинно православные, и, как все, готов и Александр был — умереть. Но гонения отменили, пострадать за веру не стало возможно, и кто потороватей — приспособлялся к начальству, а сила молодёжи потекла по другим дорогам. Александр пошёл в социал-демократию. Как будто всё другое, а гонители, а враги — те же самые, разве с другого боку.

И не намного старше того возраста, хоть уже после нескольких арестов, а такой же ещё провинциальный неумелый паренёк, не умеющий руки держать, ни сам держаться, строгий, застенчивый, малословный, он уехал за границу — и вдруг оборотилось неожиданным, в мечтах не представимым: красавица *барыня,* как ещё недавно он назвал бы её у себя на Руси, красавица писаная, хоть и ростом мала, старшая его на двенадцать лет, и опытом искусительная, захватила его цветным крылом — и даже от земли отрывало иногда, так ноги немели, в груди кружилось от небывальщины. Как говорится: рад госпоже, что мёду на ноже.

Что мёду. На ноже. А со временем — оборачивалось. И выравнивался он с ней. И вот со своими лишними годами, со своим немецким, французским, английским, манерами, письменностью, всему этому его образуя, меняя, — признала она себя перед ним *чухной:* твоя чухна, Милунечка! приезжай скорей!

И Ленин требовал — скорей (сюда скорей, и назад скорей с докладом). И если туда сейчас уехать, будет опять пансион одинокий, заваленный сугробами, и свечи острых северных елей в снегу. Но вся Скандинавия — чистый вымысел, морок. А правда — темнеющий петербургский день, постукивание настенных часов в тихой столовой и о тарелки звяканье ложек, добирающих суп.

Он — и сам разве с ними ел?..

Сестра и зять о чём-то толковали и к нему обращались, он не отвечал, не понял ничего.

— Маня, я второго не буду. Я бы сейчас поспал. — Соображал дурной головой, сколько можно себе позволить. — Да два часа... с половиной даже... Там раньше будут не готовы. Разбудишь — и поеду. А к ночи ближе пришлю листовки на ваш район, а вы раздавайте, кто придёт. Вот этому молодому человеку тоже штук... ну, четвёртую часть чего пришлю.

И оставляя хозяев доедать, и чай пить, и сахар им сохраняя, отшагнул туда, под занавеску с цветочками, до кровати, и свалился.

Полдня эту голову литую носишь, носишь, — давит без отступа: правильно? не правильно? что из этого выйдет? А — кувырнуться, грудью вниз, и все тревоги подушке, а тебе полежать два часа бревном — сладко!

И тут же проснулся, досада! Ещё от стола не поднялись, чашками звякали. Значит, так ходуном внутри расходилось, что назад изо сна вызывает, не отдаёт сну: нет, живи! нет, заботься! лок-аут! заварил кашу — расхлёбывай! Ах ты, мамочка моя!..

Матушка моя, Хиония Николаевна, дай сынку поспать, дай полежать, как угрелся хорошо! Не поднимай, ещё на завод мне рано. Ещё на завод мне рано, я же мал, и все четверо мы малы, ещё наработаемся, спину погнём от зари до зари за грошики. Утонул батька, только мной и виданный, а те не помнят, а нам всё равно на работу рано, мы пока в лес да на пруд. Мы пока все в рядок становимся при тебе и двуперстно крестимся перед верными иконами древлего письма, и «Пророки пророчили за тысячу лет» уже подпеваем голосочками и псалмы иные наизусть. И за нашу веру истинную в школе меня законоучитель после каждого праздника ставит на два часа на колени и без обеда до вечера — почему в нечистую церковь ихнюю не хожу? А Божья прав-

да — у нас, и другой правды на свете нет. И как мученики многие в Житиях принимали мучения за неё, и как прадедов твоих Белениных, истинно православных, жгли огнём, замораживали водой, заточали в подвалы, ломали рёбра клещами, — так и мы, твои детки, все мучения за веру примем подрастя, и проповедывать будем её и на костре, и на кресте, по воле Божьей. А пока угрелся, если дозволишь — дай, мамушка, часок потянуть, поспать.

Нет, спать нельзя. Что-то начато было и покинуто... Взялся — не кончил...

Спать — нельзя и не время, товарищ Беленин. Пролетариат не имеет права поддаться сну, это было бы архинеосмотрительно и даже преступно.

Да. Да. Если загублено, то конечно преступно... И откуда он взялся, чёртов адвокатишка, да в первый же день?

В свою первую поездку вы, товарищ Беленин, не установили необходимых нам реальных связей. Именно числом связей будем измерять успех второй поездки. Вы, товарищ Беленин, не устроили и правильной конспиративной переписки, это просто обидно. И не собрали в Питере денег для нужд ЦК.

Под визг ремней протягиваем мы вам свои мускулистые руки...

И вам нельзя всё время отлучаться — в Данию, в Норвегию, в Англию, в Америку. Вы больше всего нужны в Стокгольме. Пока наладите транспорт... переписку с Россией... конспирацию... явки... А товарищ Коллонтай может приехать к вам и в деревушку под Стокгольм.

Смотри, Юрка, за партийными делами никогда не бросай станка. А то партия будет у нас...

Объехать два-три рабочих центра, завязать связи и немедленно вернуться в Швецию для передачи всех связей нам и обсуждения дальнейшего положения. Съездить ненадолго и привезти все связи, вот цель! После этого можно ехать в Россию опять.

А язык скован, а голова — как болванка свинцовая, и как же пошевельнуться, объяснить: это не так просто... приходится бегать до кровяных мозолей... там, на границе, лёд про...

Конечно, конечно, для перехода нужны надёжные документы. Есть ли они у вас? Надо запастись. Не сомневаюсь, что в России сохранился надёжный слой рабочих-правдистов, и есть БЦК, и даже можно восстановить ЦК. И даже одного-двух влиятельных товарищей привезти в Швецию, чтобы прочнее связать с нами. Чтобы хорошо спеться.

Но, товарищ Ленин!.. Но там, на границе, лёд проваливается... И даже идя по верёвке... А если развезло, то на челноке...

Товарищ Беленин, не гипертрофируйте трудностей. И не пренебрегайте теоретической спевкой, за вами это водится, не обижайтесь: вы всегда пренебрегаете теоретической спевкой! А она ей-ей, поверьте, совершенно необходима для работы в такое трудное время.

А лёд — трещит, и хватаешься руками за устои моста... (Хорошо хоть руки свободны. Голова свалена, прикована, но руки свободны.) А ногами скользишь по трещинам дальше, дальше...

Конечно, вы должны беречь себя. Опасность в России очень велика, и для дела было бы полезнее после краткосрочного объезда нескольких русских центров возвращаться в Швецию — для закрепления связей с нами. И мы обменивались бы письмами. Вообще интересно бы узнать: какие вопросы сейчас всплывают в России? Кто их ставит? В какой плоскости?

Товарищ Ленин! У меня давно идея, я вам писал: отчего бы вам и Григорию не переехать в Швецию? Насколько было бы ближе к России и всё быстрей... Здесь я вам всё устрою и обеспечу через Брантинга...

Брантинг? Но он — социал-патриот. Не вступайте с ним... Однако используйте его — как официальное лицо с адресом... и для защиты наших интересов... и для денежных займов...

Я говорю... (ничего не договоришь — и язык не подчиняется, и голова свалилась)... я говорю неразборчиво, простите... я говорю: третий год вы так далеко, отчего бы вам не переехать самим сюда поближе?.. я вам всё, всё здесь устрою... и сразу бы все связи...

Нет-нет, товарищ Беленин! Это было бы архинеблагоразумно... И дорогая дорога туда, и дорогая жизнь там... И, главное, полицейская сомнительность, в Швеции могут побеспокоить. А вдруг они ещё и в войну вступят? Нет, такой переезд был бы преждевременен.

Но, товарищ Ле́нин!

Нет, товарищ Беленин!!

Хотя верно... а если обманет возница? Вот завтра проснусь, а лошади нет... снег, лес, полярное сияние... лупись на сияние... Да может, они меня и убили?.. Наверно убили, по голове топором трахнули, — почему я головы поднять не могу?

Вы, Александр, не будьте беспочвенным оптимистом! А главное: бойтесь интриг ликвидаторов! бойтесь социал-шовинистов! Не доверяйте и революционер-шовинистам, вроде Керенского, нам и с ними не по пути! Вы слишком доверчивы.

Так Владимир Ильич, лицо у него было честное, я не мог и подумать... И финны же все против царизма, как я мог предположить?.. Наверно, они меня просто в постели зарубили... просто во сне...

Вы что-то очень изнервничались. Материалы Кинталя я вам давно послал. И три письма, — а никакого ответа. Вы очень скупитесь на письма. Александра Михайловна, скажите Александру: он очень скупится на письма, так нельзя! Мы так не проведём спевки!

Что ж теперь делать? Как теперь будет с локаутом? Какая неудача, убили бы чуть позже, выиграть бы эту стачку... А то на дороге, не доехал, не там и не здесь...

Александр, вы что — обиделись?.. Большущий вам привет! Я вам послал толстущее письмо! Никакого ответа. Пожалуйста, критикуйте мой проект манифеста.

Владимир Ильич! Поскольку меня убили... я бы хотел вам передать... Вот эта история с локаутом... Я не знаю, правильно ли я поступил, посоветоваться было не с кем... А такого случая ещё не бывало... Но оставить революционных моряков под возможной казнью, как мне сказали... А с другой стороны, нельзя растрачивать силы пролетариата раньше времени... Теперь-то я вижу, что ошибся...

Александр, если вы обиделись на меня, то я готов принести всяческое извинение. Дорогой друг!.. Дорогой друг!.. Дорогой друг!.. Вот уже не сердитесь, не так ли? Я очень вас благодарю, тысячи лучших пожеланий!

Да, ошибся... Была у меня в жизни такая слабость — верить в успех, рисковать не по силам... Но исправить не могу... понимаете, так неожиданно, — видимо обухом топора... А может, из пистолета... в затылок сзади...

Пожалуйста, посылаю вам свои тезисы и с интересом жду вашего отзыва. В этом вопросе о самоопределении, где Радек и Пятаков так пошло, глупо, мерзко, слюняво напутали, — надеюсь, вы на моей стороне? Очень важно: есть ли у нас расхождения с Белениным в этом вопросе? и какие? и как их устранить, пока это не стало достоянием любителей склок, этих пакостных каутскианцев, всех сволочей оппортунистов? Надеюсь, в расспросах Бухарина вы проявите полный такт?

Так что, Владимир Ильич, срочно присылайте кого-нибудь другого... Потому что тут — кто же?.. Молотов никак не... да вы его знаете... Остальные сидят по норам. Кого же вы пришлёте?.. Там ведь тоже никто ничего... Тут приходится и подраться с филёрами и побегать, иногда целую ночь на морозе, по огородам...

В самом деле, очень интересно: какие там сейчас вопросы всплывают в России? Кто их ставит? В каких конкретных условиях? При какой обстановке?

А если попробовать всё-таки голову поднять? Кто ж за тебя поднимет? Ну-ка... ну-ка...

А с этим расследованием по Кескуле, знаете, *японцы* переусердствовали, только напугали левые социалистические круги. Не надо было так бестактно!..

Валун финляндский, не голова. И сил нет. Как ящерица, тело бьётся... как ящерица на камне... на камнях тёплых в Ларвике... Сашенька! Сашенька!! Разве ты — чухна? Тебя красивей женщины я не видел! Это — я чухна... Это я напутал... Сашенька, я к тебе вернусь! Я возвращаюсь, дай руку, ну-ка, ну-ка!

У-у-у-у-ф!

Жи-и-и-и-в?

Затекла голова... Сползла, затекла...

За занавеской в столовой свет выключен, а из третьей комнаты слабый. И иногда жужжит приятно. Шелестит.

Это Маня на машине шьёт. И материю поправляет.

Ни звука больше.

И не будит. Рано ещё.

Голову из затёка вырвал, а тело всё как избито. И голова не освежилась, ещё тяжелей. Спал бы сейчас — двадцать часов.

Но — никто за тебя не подымет этот валун.

Надо идти подымать.

Весь Петербург.

Сперва только — с кровати как-нибудь слезть. И чтоб не сникнуть, а до умывальника. Холодной водой умоешься — всегда легче. А там как-нибудь... Паровичком подъехать. Там трамваями двумя. Пешком ещё протащиться. Шпики пока не присмотрелись. Но крюки, проверки обязательны: штаб-квартира БЦК, у Марьи Георгиевны и печать, и кой-какие бумаги. Помотать лишних полчаса по Выборгской.

А вот разбит, нет сил часы из кармана вытянуть, посмотреть.

Да раз не будит, значит ещё можно полежать.

Ох, надо держаться. Вот так, действительно, сейчас умри или сядь за решётку — и всё развалится. Коромысло треснуло, одна корзина здесь, одна там, связи никакой, конспиративной почты никакой, заграничный ЦК сам по себе, у него — с Интернационалом спор, а Россия — сама по себе, и даже город каждый — по себе. И что в листовках пишем и чем угрожаем — ведь это всё хвастаем, ведь ничего этого нет.

Подыматься. Подымется ли? — полмиллиона рабочих за полусотней разрозненных большевиков?

А не подымется — кончено всё, надолго.

Вдруг! — без внешнего стука послышались шаги в сенцах из фотографии — мужские, быстрые, твёрдые шаги! и наверняка не хозяина! но — одного! о д н о г о!

Шаты! — на ноги! Сапоги? — некогда. Оружие? — утюг! схватил! Одного? — бить! Трое? — в окно прыгать! Отдаваться — ни за что! В такую минуту!

— Где он, Маня?

Знакомый голос, а кто? — голова отупела. Да Митька же Павлов! Сам приехал!? Провал?? Схватили???

Отдёрнул занавеску, а тот — холодный, притрушенный снежком, весёлый:

— Гаврилыч! Победа!!

И — обнимать! и — целовать! А свёрток в руке мешает.

И утюг. На табуретку опустил.

— Что? Какая? — без сапог, в носках (портянок по-европейскому не нося).

— Сдались заводчики! Сдалось начальство!! — кричит Митюга не по помещению, густо. — Локаут — снят!! Воинский набор — отменён!!

— Что ты? что ты? — даже отступая от слабости, назад к косяку, в занавеске путаясь спиной. — Когда известно, как??

А Павлов своё:

— И я не стал листовки раздавать пока, верно? Пока ребятам до утра кинул: наверно отменяем всеобщую, так?

А Митя-то Павлов страх не любит бастовать: очень уж любит свою работу, модельщиком на Русско-Балтийском, и своего инженера Сикорского, строят они «Ильи Муромцы». И свёрток суёт, суёт в руки прямо.

— Ну конечно... Ну что ты, — теперь слабо смеялся Шляпников. — Мог бы и сам решить, зачем же ребят два раза гонять?

Суёт, так надо брать.

— Это что?

— Пирожки!

Правда, пахло уже, заметил.

— Зачем пирожки?

— Тёплые, Маша тебе послала.

— За-чем?

— Послала!

— А — с чем?..

— Кусай, увидишь.

Да тут два свёртка. А этот — с чем?

— Да листовки же! Листовок тебе привёз пачку, показать. У «Вечернего времени» отпечатали. Эх, красота! Такая работа и пропадёт — жа-алко!

— Маня! Зови Осипа, пирожки ещё тёплые! С луком, что ли? Как ты их довёз?

Зажгли лампочку. Стоял в носках на рядновой дорожке. Ел. А на скатерти — листовка, бумаги грубой жёлтой военной, а печать — превосходная, чёткая, без мазни, без кривизны. Любовался и даже поглаживал тыльной стороной кисти (пальцы уже в масле), любовался, почитывал:

— ...по тому, как разлилась ваша стачка, около 130 тысяч человек, все с надеждой ожидающие целительного переворота видели, как связана революционная армия и революционный народ. И за это — вон с заводов? Из-за угла правительство подписало... Беспокойных и молодых — на позиции? Завод — в казарму? Под пятой насилия покорно отдавать жизни для процветания кучки тунеядцев?..

— Здорово написано, Гаврилыч. Кто это писал?

— Есть такой у меня парень золотой. Хорошие пирожки, как ты их донёс?.. Что ж, правительствующие классы лишь облегчают задачу их свержения! В ответ на закрытие заводов мы призываем... Пока все до одного, выброшенные на улицу...

Жалко, да, хорошая листовка. Но — ещё напишем и напечатаем не раз.

— Да-а... Укакались. Укакалась ихняя шайка! Честно признаться, ребята: и мы, конечно, гнём,— но падает оно уже с а м о!

Как на углу пивной стойки: утвердят локти, сцепятся ладонями — гнуть друг друга, чья рука упадёт, и вдруг — борьбы никакой: та вторая рука упала сама — бессильная? пьяная? сломалась?..

От-сту-пал перед рабочей силой тот царишка Николай Второй!!!

64

В этот четверг старшей дочери Ольге исполнится двадцать один год. Немало! Не будь она царской дочерью — уже могла бы выйти и замуж. Но, обречённая на дворцовый и династический плен, она может иметь только тайную воображаемую привязанность, не открытую

даже матери. Тем более, что Ольга очень несочувственно относится к каждому наставлению, дуется на строгость, изо всех четырёх дочерей она наиболее упряма и с переменчивым, неуловимым настроением. Ей особенно кажется скучным слушать, как воспитывали прежде, она может вспылить и резко ответить, глядя при этом в глаза. Но и — осанка у неё какова, при росте, золотокудрых волосах, голубых глазах,— с 16 лет она стала шефом одного из гусарских полков, очень этим гордилась, особенно — выехать верхом в гусарской форме. Ученье давалось ей легко, но оттого она и ленилась, и не была слишком образована.

Долго государыня не допускала мысли, что дочери — взрослые, но вот уже спорить нельзя, старшие две — взрослы.

Когда освобождалась она от терзательных государственных забот, от поспешности написать, передать, принять, распорядиться, — она постоянно, помногу и даже с мучительным страхом думала о будущем своих дочерей. Какая судьба их ждёт? Кто их суженые? В какие страны придётся им уехать навсегда? Жизнь — загадка, и будущее скрыто завесой. А главное: дано ли им будет найти такую безоглядную, непрерывную любовь и такое счастье, какое Александра сама испытывала с ангелом Ники уже 22 года? Увы, такая любовь всё большей редкостью становится в наши дни.

И — в каком мире им придётся жить? После нынешней войны — будут ли существовать идеалы или люди останутся теперешними сухими материалистами? Что за эпоха! Людские впечатления чередуются чрезвычайно быстро, машины и деньги уничтожают искусство. Ни в одной стране не осталось ни крупных писателей, ни музыкантов, ни художников, а у тех, кого считают одарёнными,— испорченное направление умов.

В их ближайшей узкой семье была и другая Ольга — сестра Государя. И после длительных её настояний согласились теперь разрешить ей развод с Петей Ольденбургским, и она выходит замуж за его адъютанта, ротмистра кирасиров,— как раз в эти дни, в эту пятницу, произойдёт их скромное венчание в маленькой киевской церкви над Днепром, поставленной на том месте, где прежде был идол Перуна. Большие сомнения у государыни были относительно этого брака: ещё одно морганатическое пятно на династию, где три-четыре уже стоит крупных. Но и — кому не жаждется личного счастья? И с каким сердцем отказать?

Девочки были воспитаны самою Александрой Фёдоровной (оттого она много лет не могла успеть на помощь Государю в его делах). Сама воспитанная при небольшом, небогатом гессенском дворе в знании цены деньгам, в бережливости, в приложении рук,— она упорно проводила это и с дочерьми: платье и обувь переходили от старших княжён к младшим, и ограничивались игрушки, — такая система нужна была самой матери для душевного равновесия. (Она и сама-то не была увлечена роскошью и могла носить платья годами, ей напоминали, что надо шить новые.) Александра Фёдоровна оберегала своих дочерей от дружбы с пустыми барышнями знати, также и от других великих княжён, двоюродных и троюродных сестёр, чьё воспитание казалось ей несносным (и так прорезались новые борозды обиды в династии). Сама зная много ручной работы, хорошо владея машинным шитьём и вышиваньем, мать старалась передать навыки дочерям, не разрешала им сидеть сложа руки. Правда, по-настоящему всё перенимала, владела талантом рукодельницы, имела ловкие руки одна Татьяна. Она шила блузы себе и сёстрам, вышивала, вязала, и она же часто причёсывала мать, что было нелёгкой работой. И всегда была за делом. Она и во многом напоминала мать: редко шалила, была сдержанна, горда, скрытна, но и лучше всех понимала внушения и сама напоминала сёстрам волю матери, за что те дразнили её «гувернант-

кой». Любящая, терпеливая девочка, она будет утешением родителей в старости.

В России государыня удивлялась, как барышни высшего света ничем, кроме офицеров, не интересуются. Стала она создавать общества рукоделия — для дам и барышень, работать вещи для бедных, — но им эти общества быстро надоели и рассыпались. Зато устраивала государыня — то в Царском Селе школу нянь, то в царскосельском парке — дом для инвалидов японской войны, где учились ремёслам, то в Петербурге — школу народного искусства, где девушки со всей России обучались кустарному делу. (Тут было и убеждение её, что сила трона — в народе, а через развитие народных искусств удастся ближе узнать страну, крестьян, губернии и быть в действительном единении со всеми.) В Крыму она строила на свои деньги санатории для туберкулёзных, устраивала базары в их пользу, сама для них с дочерьми вышивала и сама на них продавала, выстаивая по много часов кряду на своих слабых больных ногах.

Когда грянула эта ужасная война — государыня сразу деятельно принялась за систему лазаретов, госпиталей и санитарных поездов, многие из них сооружая на собственные средства, в том числе — ближайший к себе лазарет в Большом дворце Царского Села, названный «Собственным Ея Величества лазаретом». Ольга возглавила комитет помощи солдатским семьям, Татьяна — беженский комитет. Тогда же вместе с двумя старшими дочерьми и Аней Вырубовой прошли курсы сестёр милосердия военного времени, учились у хирурга, проходили практику рядовыми сёстрами в своём лазарете, снимали с раненых кровавые бинты, обмывали, участвовали в перевязках, помогали при операциях, — Александра Фёдоровна подавала и инструмент, не боялась крови, гноя, рвоты, и не смущалась при этом утратить царственный ореол. Она научилась и быстро менять застилку постели, не беспокоя больных, и делать перевязки посложнее (и перевязывала сама себя) — и была высоко-горда, заработав диплом сестры и нашивку красного креста.

Из них четырёх капризной самолюбивой Ане госпитальная работа быстро надоела, она стала отнекиваться, да через полгода сама попала в катастрофу и в госпиталь. У обеих девочек пошла настоящая регулярная работа уже третий год, особенно успешная у Тани (на этих днях назначена впервые давать сама хлороформ). Александру же Фёдоровну истинно тянуло к перевязочной и хирургической, она радовалась, когда могла там поработать, это её успокаивало. Но изрядно она поработала только в первый, 1914 год, да немного этим летом: предел поставило собственное здоровье. То не выстаивали её ноги длинных операций, то она лежала прикованная болезнями, прошлую зиму даже четыре месяца подряд, лазарет Большого дворца не могла ни разу и посетить. А ведь ещё должна была она объездить с инспекцией и множество других госпиталей (где их только не устраивали — в банках, в театральных залах), и по другим городам, и санитарных поездов.

А сын — сын единственный протяжно болел. От младенчества проступила жуткая болезнь Алексея, великая радость рождения наследника сразу была огружена постоянным трепетным страхом. Не только малый порез был страшен ему, но ударялся ли он рукой, ногой о мебель — появлялась огромная синяя опухоль как знак внутреннего кровоизлияния, и мальчик должен был долгие дни лежать. Мать сама его купала, не выходила из детской, забывая, что она ещё и царица. Все детские игры и шалости были ему от начала запрещены: никакого велосипеда, тенниса, ни даже беготни. Как у всякой матери болит детское за своё — так болел у Александры каждый ушиб и каждая неудача сына. А мучительней всего было постоянное сознание своей перед ним вины: все эти страдания — она невольно принесла ему сама! Зна-

ла она об этом пороке своего рода: её родные — дядя, сын королевы Виктории, и маленький брат, умерли от этой болезни, и несколько племянников страдали ею же. Знала, но всегда человек надеется, и надеялась Александра, что — пронесёт. И была за что-то наказана, — нет, мальчик наказан был.

Страшные с ним бывали случаи, и в них самое страшное, что порой терялись, отказывались лучшие, привычные доктора. И вот тут-то появился Святой Человек — и довольно было его прикосновения, а иногда только взгляда или слова, — и мальчик начинал выздоравливать. И уже было твёрдо известно матери: если только Он посетит сына — сын поправится. А четыре года назад Алексей неудачно прыгнул в лодку в Скерневицах — и три недели был между жизнью и смертью, три недели кричал от боли, лёжа с поднятою ногой, которую нельзя было выпрямить. Лицо его стало восковое, крошечное, с заострённым носиком, и доктора Фёдоров и Деревенко склонялись, что состояние его безнадёжно. И сам мальчик, в 8 лет, уже понимал, просил: «Когда я умру — поставьте мне памятник в парке, в Царском Селе.» Это всё случилось в Польше, а Друг — в Сибири был в это время, и как последний крик послали ему телеграмму, — и он ответил телеграммой: «Болезнь не опасна как кажется пущай доктора его не мучат.» И — всё! И сразу за телеграммой наследник стал поправляться! Разве не Чудо?

А прошлой осенью Алексей поехал с отцом в Ставку (с ужасом она отпускала сына, но и нельзя было обречь Государя в Ставке на жуткое одиночество) — а там вдруг началось кровотечение из носа, настолько непрерывное, что доктора не могли остановить. Пришлось Государю тотчас покидать Ставку и гнать царский поезд домой. Привезли, перенесли, мать на коленях стояла у кровати — кровотечение неотвратимо продолжалось, вот так и должен был он изойти до конца теперь! Но тут вызвали Григория Ефимовича, он вошёл в комнату, широко перекрестил наследника — «Не беспокойтесь, ничего боле не надо!» — и уехал. И кровотечение прекратилось на этом. (И большого — не было с того дня.)

Так и знали теперь, Друг и сам говорил: «Если меня близ вас не будет — не выживет наследник.»

Будь это всё в Европе — искали бы докторов, сверхдокторов (хотя — знаменитых не любила Александра, и скромного Евгения Боткина предпочитала его прославленному брату Сергею). Но в каждой местности на земле лечатся люди тем, что есть в местном обиходе, — где полярным мхом, где полевой травой, где водорослями. В обиходе же России всегда были ещё — странники, Божьи люди. Именно в России есть такие люди, не непременно священники, но называемые старцы, которые обладают благодатью Божьей и чью молитву Господь особенно слышит. Именно такого — странника, старца, Божьего человека, и послала православная Россия, простой народ — для спасения их сына, а может быть и трона. Для чего ж и быть православному царю, если не общаться и не слушать вот таких людей из глубины народа! И обрела его императорская чета почти тотчас после потери своего первого Друга, мсьё Филиппа: те же сёстры-черногорки, великие княгини, позвали государыню познакомиться у них дома с этим Божьим человеком. Государыня взглянула — и поверила в Него, в этот вид, который нельзя придумать, в котором нет ничего деланного: высокий рост, и немного пригорблен, в русской рубахе и сапогах, исхудалое, даже измождённое бледное лицо, пронизывающие, испытующие и властные серо-голубые глаза, косматые пучки бровей, косо уложенные волосы, иконная строгость и уверенная сила. Особенно поражала уверенность Его высказываний как имущего власть. Он был — как ожившая народная картинка: святой человек из народа, не символический, не собирательный, а живой, до которого можно было дотронуться рукой и слушать, — а говорил Он, полуграмотный,

ещё от того ярче, говорил так необычайно, как императрице не приходилось слышать, рассказывал интересно и рассуждал духовно. Он знал много из Священного Писания, а своими ногами исходил Россию, многие лавры и монастыри. Он воспитался в молитве, постах — а мяса и молочного вообще уже не ел.

Со встречами и с годами государыня всё более убеждалась, что это и есть тот избранник Божий, который спасёт их династию, ставшую под угрозу. Сила Его молитвы была обширна, она помогала не только здоровью наследника. И не только оберегала многих на войне — каждого, за кого Он молился. И не только оберегала Его молитва самого Государя на всех его путях (в эту войну государыня сообщала Другу заблаговременно тайны передвижений Государя, секреты маршрутов — чтобы направленней и достижней была молитва, она старалась получить Его благословение на каждую поездку Государя. Когда же ездила чета во враждебную Одессу — Друг так усердно молился, что еле спал). Но обширней того: Его благословение и Его неустанная денная и нощная молитва возносилась — за всё православное воинство, чтобы небесная сила была с ним, чтобы ангелы были в рядах наших воинов. И когда на фронте складывалось особенно серьёзно или предполагалось большое наступление, как на Юго-Западном, — государыня открывала Ему новые приказания Ставки, чтоб Он особенно обдумывал их и молился. Прошлой зимой Он очень досадовал, что начали наступление, не спросясь Его: Он советовал бы подождать: Он всё время молится и соображает, когда придёт удобный момент, чтоб не терять людей без пользы, как Брусилов. Он всегда советует не так упорно наступать: при большей терпеливости прольётся меньше крови. Мешали нашим войскам затяжные туманы — Аня телеграфировала Другу с просьбой о солнечной погоде (и Он, в телеграмме из Сибири, обещал её). Всей императорской семье и самому Государю Он дарил образки и иконы, а этим летом, когда государыня ехала в Ставку, послал икону и генералу Алексееву. (И если Алексеев принял её искренно, с подобающим настроением, то Бог несомненно благословит его военные труды.) И даже вот когда обдумывали, дать ли согласие на развод государевой сестре Ольге, — то и здесь за первым советом обращалась государыня к Другу.

Тревожней было, когда Он уезжал в Сибирь, много спокойней, когда в Петрограде, и можно встретиться или передать, спросить через Аню. А когда что-либо совершалось против Его желания — сердце Александры обливалось кровью, в тоске и страхе.

А как он выражался! А какие прелестные телеграммы он слал — и как много мужества и мудрости они придавали!

«Чем бы дерево нечестивое ни срубили — всё-таки падает. Никола с вами дивным явлением всегда творит чудеса.»

«Колодец глубок, а у них верёвки коротки.»

«В испытании радость светозарнее, Церковь непобедимая.»

«Злой язык грош, похвальба копейка, радость у престола.»

«Свет Божий над вами, не убоимся ничтожества.»

«Никогда не надо слишком заботиться, Бог поможет и так.»

«Будьте святы, как я свят.»

Трудно передать, что Он говорит, слова бессильны, нужно воспринимать сопровождающее их душевное настроение, так разлитое в его воспоминаниях о Палестине. А сколько Он раздаёт бедным! каждая получаемая им копейка идёт на них. Он великодушен и добр ко всем, каким был Христос. На Него даже многие епископы смотрят снизу вверх. (Государыне ужасно не нравилось, когда некоторые зовут Его «Распутин», она отучала близких от этой привычки.)

И какое это счастье, когда советами и многоопытностью Человека, посланного Богом, можно пользоваться также и в управлении государством, благодарно получать плоды Его духовного зрения и на каждый важный шаг испрашивать Его благословение. И в одной французской

книге той же прочла Александра: «Государство не может погибнуть, если его повелитель направляется Божьим человеком.»

Друг ночей не спит, готовя Государю советы. Он умеет всматриваться в глубокое будущее, и поэтому можно положиться на Его суждения. Он говорит, что всегда надо делать то, что Он говорит, — этого хочет и Господь Бог. И сколько же трезвых, верных советов Он давал за эти годы! Отговаривал от вмешательства в боснийско-герцеговинский конфликт: нужно дома дела приводить в порядок. На колени опустился перед Государем — удержать от вступленья в Балканскую войну: враги только и ждут, чтобы Россия там завязла. И от этой теперешней, ужасной, удерживал: из-за Балкан не стоит миру воевать, и Сербия окажется неблагодарной, — и может быть удержал бы, если б не лежал раненый в Сибири. (И присылал удерживающие телеграммы, а Государь рассердился и откинул.) И не идти через Румынию к Сербии, и не призывать ратников 2-го разряда, и не призывать старше 40 лет, зато кроме русских призывать и татар, хорошо им однако всё объяснивши. И Государю не посещать Львова и Перемышля, — рано (и действительно пришлось, посетив, вскоре снести позор отдачи их). Сколькое бы текло в войне лучше, если бы слушались всех советов Друга! И Он же предложил устроить в один день по всей стране крестный ход и моление — и вскоре откат войск остановился. И Он же, не доверяя Николаше, велел Государю брать Верховное Главнокомандование и никогда не уступать другим, которые знают меньше его. И несколько раз был против созыва Думы — и никогда она не приносила ничего доброго. А когда открывали её в прошлом феврале—это Он придумал: чтоб Государь внезапно появился там и этим бы их обезоружил. Он всегда предупреждал, что ответственное министерство будет гибелью всего. И это Он догадался: что надо опубликовать сведения о растрате казённых денег Земгором (сердце болело у государыни, сколько можно было лучшего сделать самому государству на одну четверть этой суммы), — Бог вдохновлял Его на все эти здравые идеи. А оставаясь близок к простонародью, Григорий видел многое глазами простого человека и тоже давал важные советы: не повышать трамвайную плату с пятака на гривенник; не запрещать раненым солдатам ездить в трамваях; в хлебных лавках велеть развешивать хлеб заранее, чтобы не было хвостов; и дрова в столицы до заморозков везти водою.

Уверенно предвещал Друг, что наступает слава царствования. Что близятся лучшие времена, и скоро война переломится к лучшему. И саму царицу радостно убеждал, что появленье её, как и наследника, на фронте приносит счастье войскам, — и потому велел ей чаще ездить в Ставку, и видеть сами войска на смотрах, и больше ездить по городам и госпиталям.

И стыдно было государыне, что за всё это благословение, свет и радость, доставляемые Другом, не могла она выполнить Его малой просьбы: не брать в армию Его сына, ратника 2-го разряда, а уж если неизбежно брать — то принять его в Сводный гвардейский полк, на охрану царскосельского дворца.

Но для приятия всей мудрости Друга, Его советов и указаний, надо было постоянно общаться с Ним — письмами, телеграммами (или новейшим средством телефона), и часто видеться. Однако это было совсем не просто для императорской четы. Великосветская среда и образованное общество воспринимали бы такое общение с насмешками и зложелательством. И стесняясь гласности, как будут чесать все эти языки, встречи с Другом приходилось делать полуприкрытыми, даже тайными. Цари живут совсем не свободно — гораздо связанней своих подданных: они не имеют права на интимность! Всякий приём идёт через цепь придворных, а те могут разносить. И когда, несколько раз в году, царская чета принимала Григория Ефимовича у себя во дворце — то проводили Его не в большую официальную приёмную, а боко-

вым входом, в кабинет государыни. (Но через прислугу это разносилось ещё хуже, чем принимали бы Его в самом парадном зале.) Трижды целовались по русскому обычаю — и садились беседовать. Всегда это бывало — по вечерам, и приходил Алексей в голубом халатике, тоже посидеть до своего сна. Много говорили о его здоровьи и о всех заботах императорской четы, и беседовали о Божественном, и Друг наполнял их упованьями и надеждой, и развлекал рассказами о Сибири. (На самом деле Он обижался: Он желал открытого приёма у царя и гордился, когда телеграммы Ему посылала не Аня, но не боялись послать прямо от государевой четы.) В отсутствие Государя государыня не приглашала Друга во дворец из-за крайнего злоязычия людей. (Например, родили такую сплетню, какой здравый ум может поверить! — будто Григорий Ефимович получил назначение от Фёдоровского собора зажигать лампадки во всех комнатах дворца.) А видеться и спрашивать надо было часто! — в грозное лето прошлого года едва не через день, — и выхода не было, как встречаться у Ани в «маленьком домике», стоящем отдельно, но в Царском же Селе, — иногда по своей просьбе, иногда по Его вызову, ездить незаметно туда, а с ним бывала иногда жена, а то и дочери, если приезжали из Сибири. Приходилось туда же иногда ездить и Государю, когда Друг хотел непременно видеть его, изредка и без Ани государыня встречалась с Ним там, и там же иногда принимали кандидатов в министры, познакомиться, или Друг приводил кого-нибудь из епископов, — и всегда бывал возвышенный умиротворяющий разговор. Иногда для встречи Друг приходил и в лазарет к государыне — вот так приходилось и в царском положении обманывать злые подозрительные глаза! Иногда Он давал сведение в газеты, что уезжает в Сибирь, а сам оставался. Каждый раз перед поездкою в Ставку государыня должна была получить благословение Друга, без этого она даже не решалась ехать. А в этом году на великом посту вся императорская семья и Друг вместе подошли к причастию в одном храме.

Но злословие — воздух этого мира. И об этом Святом человеке распространяли сплетен и лжи как о самом большом злодее, и даже родная сестра государыни верила этим сплетням — и на том сёстры навсегда расстались: враги нашего Друга — наши собственные враги. (Даже бывшего царского духовника епископа Феофана государыня отлучила за это.) Неизбежно было Ему стать жертвой зависти тех, кто хотел бы, но не удалось приблизиться к трону. Как всякий святой, Он должен был пострадать за правду, прежде всего от клеветы. Его возненавидели и обливали потоками лжи. То клеветали, что будто бы Он пьянствует! — это Он, не пьющий даже молока! Святого старца объявили развратником, похотником и связали этот разврат с царскою семьёй до таких мерзостей, будто он имеет вход в спальни великих княжён! Сочинили ложный протокол о якобы скандале в ресторане, за что пришлось уволить шефа корпуса жандармов: если б это было всё так, почему ж не позвали тотчас полицию, чтобы застигнуть на месте? Да, наш Друг, как делали в старину, одинаково целует всех, и мужчин и женщин. Почитайте апостолов — и они целовали в виде приветствия. (Только над письмами разжалованного обозлённого Илиодора государыня дрогнула один раз — они показались ей правдоподобными. Но она отогнала, возмутясь сама собою.) И ещё нагородили на Божьего человека, что Он связан с немцами! — не имеет пределов зломыслие и глупость, но они очень выгодны революционерам.

Всё же для проверки государыня посылала Аню в родное село Григория — Покровское, за Тюменью. И подтвердилось всё лучшее: неводами ловят рыбу, как апостолы, притом распевая псалмы и молитвы, и огромные иконы развешаны по двухэтажной избе. Впрочем, местный священник, конечно, не любит Григория, и среди односельчан Его не считают выдающимся.

Государыня много размышляла о Друге. Что ж, пророк не бывает признан в своём отечестве. Где есть слуга Господа — лукавый всегда старается вкропить зло. Он живёт для своего Государя и для России и выносит все поношения ради нас. И сколько уже Его молитв было услышано! Над Россией не будет благословения, если её повелитель допустит, чтобы человек, посланный Богом на помощь нам и непрестанно молящийся за нас, — подвергался бы в нашей стране преследованиям. Бог не простил бы нам нашей слабости. И как только на него начинают больше нападать — так все дела в государстве идут хуже. Григорий! Если и все на Тебя восстанут — я никогда от Тебя не отступлюсь.

За последний год, с тех пор как Государь был чаще в Ставке, а ей досталось управляться в Петербурге одной, — Друг и прямо помогал в выборе министров и в руководстве ими. Распознать сразу человека — составляет остроту, тяготу, а иногда и проклятье царского ремесла. Но Друг владеет этим качеством в совершенстве. Он имел длительные, хорошие, приятные беседы со Штюрмером (и велел ему каждую неделю приходить к государыне с докладом), обедал то с министром финансов, то с министром торговли и промышленности. (Всё более они приучались, что по главным вопросам надо посоветоваться с Григорием.) Один раз, например, когда решали, достоин ли Хвостов-дядя заменить Горемыкина, — как было узнать? как его повидать? — Друг придумал пойти к нему на приём в качестве простого просителя, и так оценить. И оценил, что — не достоин.

По выбору новых министров государыня до такой степени привыкла советоваться с Другом, что спрашивала у Него и о выборе градоначальников. Московского градоначальника Он одобрил. А с петроградским Оболенским вышла заминка, показывающая доброе сердце Григория Ефимовича и Его духовную отзывчивость. Он же первый и предложил убрать этого градоначальника, так как причиняет много вреда населению, совсем не справляется с продовольствованием, допускает хлебные хвосты. Правда, Оболенский никогда ни в чём не выступал против Григория и поэтому тяжело было просить его отставки, но так требовало благополучие Петрограда. Перевести его куда-нибудь провинциальным губернатором? Но потом Оболенский зазвал Григория к себе на обед, доказал по списку, что выполняет всегда Его просьбы, и плакал навзрыд, — и Григорий Ефимович ушёл глубоко растроганный: в духовном смысле это очень много значит, что человек с такой душой, как Оболенский, совсем перешёл к нам. Не надо его понижать, а взять или генерал-губернатором Финляндии, как он мечтает, или товарищем министра внутренних дел.

Защита Друга, понимаемая как высший долг, и вела соображения государыни — иногда относительно Думы (засидятся без дела — начнут разговаривать о Друге или назначенном по просьбе Друга тобольском архиепископе Варнаве) и всегда о составе Совета министров. (Состав прошлого года, навязанный Николашей, были презренные трусы, и все враги.) Мечта государыни была — так объединить кабинет, чтобы все министры едино стояли за нашего Друга и прислушивались бы к Нему. Необходимость обезопасить Друга от преследований, нападок и неприятностей особенно сказывалась при выборе обер-прокурора Синода: наиболее-то и ожидались (и опасны были) духовные преследования — и самого Друга и Его сторонников-епископов. У государыни уже голова болела от поиска кандидатур в обер-прокуроры! Самарин был невыносим, но долго искали, кем же его заменить? Нет людей! Сперва выбрали Волжина (и Друг ведь одобрил!), но едва назначили, — Волжин мгновенно оказался трусом перед Думою, боялся общественного мнения, боялся помогать митрополиту Питириму и даже — сослать подальше скотину архиепископа Никона Вологодского. Пока оставался Волжин — дела Церкви не могли идти хорошо, оказалось, что он совершенно не разбирается в них. Питирим писал, что́ нужно делать, передавал государыне, а она — Государю, чтоб он приказал Волжину. Тут к счастью нашли Раева — прекрасного человека и знающего дела Церкви с самого детства. Его очень хвалил Штюрмер, государыня его приняла — и он произвёл прекрасное впечатление. Ещё дали ему в помощь Жевахова — и вместе они будут истинным даром для Церкви. Теперь больше не было сопротивления тому, что́ надо Церкви делать. Прежде всего — свои люди должны быть митрополиты: как Питирима назначили из Грузии — петроградским, так теперь Макария из Томска — московским, а Владимира, вредившего всем нашим, переместили в Киев, там ему место. Всё, как хотел Друг. Чтоб укрепить Питирима — государыня добилась ему отдельной поездки в Ставку на приём. Священника Мельхиседека произвели в епископы, и Друг намечал в нём будущего митрополита. Конечно, в Синоде ещё оставались против Варнавы — животные, нельзя их назвать иначе. Синод всё ещё был неуправляемый, мог внезапно разразиться постановлением об учреждении в России семи митрополий вместо трёх существующих, и даже успели его опубликовать! — но Друг возразил: не соглашаться на семь митрополий, мы и трёх-то приличных митрополитов едва можем найти. И государыня успела аннулировать постановление.

А сколько мучительных поисков было — найти для России достойного премьер-министра! — ведь нет, ведь нет людей! Часто восклицала государыня: о, Боже, где же у нас в России люди? Никогда она не могла понять, как в такой великой стране не находится подходящих людей на каждое место. Горько разочаровываешься в русском народе. Государь уехал в Ставку, занятый военными делами, а тут всё более выяснялось, что Горемыкин — слабеет, ему уже не вытянуть, и слишком одиозен для Думы, боялись, что Дума его ошикает. И государыня мучительно обдумывала своими бессонными ночами всякие возможные кандидатуры — и обсуждала их с Другом. И так — нашли Штюрмера, он — верный человек (и к Другу!), и голова его ещё вполне свежа, — стоило рискнуть немецкой фамилией? Он высоко ставит Григория, что очень важно. Во всяком случае, он годится на время, а дальше, если Государю понадобится моложе, — можно будет сменить. И Государь согласился — но тут Штюрмер сам испугался своей фамилии и ходатайствовал сменить её на «Панин», по матери. Но и Друг и государыня сильно воспротивились: не менять фамилии ни за что! Пусть возмущаются, кому угодно, возмущения неизбежны при любом назначении. Во вздорной борьбе с немецкими фамилиями уже уволили от должностей десятки, сотни верных слуг трона — и ещё где найти таких взамен? Штюрмер начал своё правление с заявления, что Россия не положит оружия до полной победы совместно с союзниками. И, как ни надрывалась всякая либеральная и революционная дрянь, — вот уже девять месяцев как благополучно стоял во главе кабинета.

Трагичней обошёлся выбор министра внутренних дел. Например, Макаров, уже и бывший министром внутренних дел после Столыпина, и с хорошим опытом, — никак не мог быть снова назначен из-за того, что он неправильно себя вёл в истории с Илиодором, и кроме того не только не вступался за государыню, но даже бесчестно показывал её письмо посторонним и даже относился к ней враждебно. (К сожалению, этим летом его всё же назначили министром юстиции — но это не принесёт добра.) Нововступающему министру внутренних дел Государь должен был объяснить с самого начала, что если он будет преследовать Друга сам или даже позволит о Нём гадко писать и говорить — то он будет действовать как бы прямо против императорской четы.

А Хвостов-племянник так поначалу обаял — и назначили его на внутренние дела, — и какая жестокая ошибка, ах, как можно обманываться в людях! Нужен был решительный характер, кто-нибудь такой, кто совсем не боится левых. Сперва видались с ним Друг и Аня и

очень хвалили, затем он вымолил аудиенцию у царицы. Государыня жаждала увидеть человека — и наконец увидела и услышала такого! Это был — мужчина, не юбка, и такой, который не позволит, чтобы что-нибудь коснулось. Для Государя он готов дать себя на части разрезать. И — верит в разум государыни. И постоит за Друга, никогда не позволит о Нём упоминать. И — русское имя. И — член Думы, так что знает их всех, и как с ними говорить, и как защищать правительство. С ловкостью и умом берётся всё поправить. И не пропустит неправильных статей в прессе. Работать с ним будет сплошное удовольствие! И удивительно умён. И говорит хорошо. И государыня рекомендовала супругу брать этого молодого министра без всякого сомнения. А Государь оказался вдруг против, но по её настоянию всё же взял. Лишь потом, потом — в отчаянии вспоминала государыня, что у неё были какие-то сомнения: что пожалуй кандидат слишком самоуверен и быть может не совсем верный человек в некоторых отношениях. А тем временем случилось ужасное: Хвостовым в короткое время овладел дьявол, он круто переменился, и не только стал против Друга, но обвинял Его окружение в шпионстве и предлагал Государю выслать Друга в Сибирь. Эти страшные пять месяцев, пока Хвостов имел в руках власть, полицию, деньги, — государыня серьёзно беспокоилась за жизнь Друга и Ани. А когда его сняли, то государыня и Друг находили, что — слабо, надо было снять расшитый мундир и отдать под суд. (Страшно было видеть, как гневался Григорий, — никогда она не видела Его таким!)

После этой грустной неудачи государыня пришла в апатию, и в начале 1916 года мало вмешивалась в государственные дела: в ней пошатнулась уверенность в себе. Потом, однако, вернулась: как не вмешиваться? Надо быть совсем без ума, без души, без сердца, чтобы не печалиться над тем, что совершается в России. Дела не стояли, а требовали — и всё невольно ложилось на неё, пока Государь в Ставке. И многие, лучшие министры просились к ней на приём, а худших — надо было отставлять. Как, как на каждое место найти людей, которые исполняли бы приказания? Очень много хлопот было с поиском военного министра. Язвительный Поливанов, друг Гучкова и предатель, и к тому же избранник старой Ставки, не мог оставаться! (Вот уж кто был изменник, а не Сухомлинов!) При смене Поливанова сразу подрезáлись крылья революционной партии, надо было спешить — ради трона, ради сына, ради России! Но много месяцев всё не могли и не могли найти ему замены — и замену Шуваевым, издуманную при Государе в Ставке, государыня не могла одобрить, сомневалась, чтобы он справился с обязанностями или, например, с выступлением в Думе. И Друг и сама государыня очень предлагали в военные министры почтенного старика генерала Иванова — вот уж у кого опыт, авторитет, — нет сомненья, что сердца всей Думы устремились бы к «дедушке». Но Государь по-прежнему держал Иванова при Ставке безо всякого дела — и не хотел ставить его министром. Тогда с новой горячностью государыня стала настаивать на своём излюбленном выборе ещё во время Поливанова: аккуратный, исполнительный Беляев! (Она знала его по одному из своих попечительских комитетов —он никогда не чинил затруднений.) Это был бы разумный выбор! Если от штабной работы ему дать министерскую самостоятельность — он будет очень хорош. И какой трудоспособный, и какой абсолютный джентльмен, как умело в делегации отвечал английскому королю и лорду Китченеру! И она знала его старую мать... И у него никогда не будет выпада против Друга. Увы, вместо повышения, Государь почему-то сместил его с начальника Главного Штаба и теперь услал куда-то в Румынию. Но государыня продолжала надеяться, что настоит, и этот благородный генерал в ближайшее время станет нашим военным министром.

Поразительно, что даже при указаниях Друга, министры всё

никак не подбирались лучшим образом — настолько это была трудная задача! (Да ведь министры должны быть не просто министрами, но друзьями!) То просила Государя назначить Наумова на земледелие — и сама же потом просила уволить его, он себя не оправдал. То сомнение о Барке на финансах (многие здравомыслящие были против), и предлагала вместо него графа Татищева и потом отступила, может быть и правильно. То сама же настояла уволить Рухлова с путей сообщения как слишком старого, но опять вышла неудача: Александр Трепов был назначен без совета с Другом, а оказался враг Его. (Теперь вспоминала: да ведь ей и самой казалось, что он — несимпатичный человек!) И граф Игнатьев, просвещение, как будто приличный человек, а слишком бил на популярность, либеральными речами в Думе. И тоже по сути не подошёл, надо снимать. Но дольше всего изживали Сазонова с иностранных дел — ещё с прошлого года, с бунта министров, невозможно было его терпеть — длинноносого, назойливого, чужого, вредного, — но всё не находилось дипломата, знающего всю заграницу. Наконец, терпение лопнуло, и в июле, в одну из поездок государыни в Ставку, уволили Сазонова, а министерство иностранных дел просто передали Штюрмеру: куда теперь ездить во время войны? Но из-за этого впустили в кабинет Макарова на юстицию, а внутренние дела пришлось передать от Штюрмера Хвостову-дяде, ненавидящему и Штюрмера и нашего Друга, — и уволить его не было прямой возможности, пока не отобрали у него директора департамента полиции, тогда он сам ушёл.

Какой-то рок наказывал министрами внутренних дел — и можно было бы совсем придти в отчаяние, если бы в этом сентябре не догадался Григорий предложить одарённого Протопопова, с которым он был знаком уже четыре года, — и так горячо о нём говорил, что государыня уже была согласна, ещё и не повидав Протопопова. От такого должна была онеметь и замолчать Дума! Воистину, в его лице послал Бог настоящего человека.

Протопопов как бы завершил собой стройный дружный кабинет (теперь не хватало только Беляева, и ещё маленькие поправки). С этой осени, кажется, всё пошло хорошо и не ожидалось никакого кризиса. Штюрмер и весь год регулярно приезжал к государыне на доклады, прося аудиенцию через Аню, — и был рад, когда царица ездила в Ставку вместо него, его доверие просто трогательно. Постепенно государыня приучала и других министров — старого Хвостова, графа Бобринского, князя Шаховского, Барка, даже и морского Григоровича, приезжать к ней на аудиенции, — а некоторые просили и государевых аудиенций через неё. Государыня ставила своей задачей заставить их работать дружно, даже Шаховского и Бобринского с Протопоповым. И она достаточно упряма, чтобы добиться своего.

Это особенно требовалось из-за продовольственного вопроса. Всё запутал когда-то хитрец Кривошеин, забрав продовольственное дело на себя, в министерство земледелия, тогда как там и штатов особых нет (только много сторонников левых партий), — а у министерства внутренних дел во всех губерниях штаты, и Друг давно настаивал отдать хлебное дело им. Он давно тревожился: если будет недостаток продуктов в Петрограде — будут в городе неприятные столкновения и истории. Да и стыдно так мучить бедный народ! Да и унизительно перед союзниками! У нас всего много, только не желают привозить, дошли до недоступных цен, всё запутали, а больше всего: запретом вывоза и ввоза между губерниями и насильственным отбиранием хлеба. Месяц назад, понуждаемые государыней, Протопопов вместе с Бобринским, земледелие, разослали губернаторам совместный циркуляр: о том, чтобы соблюдать крайнюю осторожность в применении принудительных мер. Протопопов говорил воодушевлённо: «Когда дурные люди хотят иметь успех, они всегда обращаются к народу, и тот к ним прислушивается. Так надо и нам: разослать людей по

крестьянам, чтоб объяснили им, что не надо задерживать хлеб. И крестьяне их послушают!» Протопопов уже вполне соглашался перенять всё дело в министерство внутренних дел — вдруг последние дни стал что-то оттягивать.

На него произвела страшный шок встреча с главными думцами на частной квартире дней десять назад. Эти мерзавцы теперь не только не хотели сотрудничать со своим прежним товарищем, раз он стал служить трону, — но дерзко потребовали, чтоб он ушёл в отставку. Крайне взволнованный, он после этого свидания кинулся к Другу. Государь как раз в эти дни впервые за пять месяцев был в Царском Селе, и Григорий, тоже взволнованный, не ожидая посредничества Ани, дал ему прямую телеграмму: «Сердечно беседуем с Калининым ему заявляют подать в отставку он не в себе твёрдость это стопа Божья Григорий Новый.» (Вся переписка шла через чужие руки, императорской чете не было укрытия, такое было вокруг сомкнутое сторожащее внимание, что приходилось, как подпольщикам-революционерам, называть своих верных кличками, чтобы не было понятно чужим. Так для писем и телеграмм Друг назвал Протопопова «Калинин». А сам Григорий по высочайшему дозволению давно уже сменил свою непереносимую фамилию на «Новый».)

Ну конечно же никто не отдаст им Протопопова — но какова банда! Эта банда выпирает в разных местах, но больше всего в Союзе земств и городов, — наглецы, содержатся на государственные деньги, а действуют только против правительства! У Александры хоть не молодая голова, но в страдательных бессонницах появились кое-какие идеи: на фронте устроить контрпропаганду против Земгора. И — устроить за ними наблюдение, и которые заполняют уши солдат всякой вредностью, особенно доктора, фельдшера, сёстры, — чтоб тех тотчас выгонять. Протопопов должен найти хороших честных людей для наблюдения.

Не меньше зла заваривается и в военно-промышленных комитетах Гучкова, таких же политически-опасных: под видом военного снабжения они ставят в заседаниях прямо антидинастические вопросы. И в каких-нибудь комитетах по дороговизне, только и разжигающих страсти против правительства. Гучков, Родзянко и все думские мерзавцы интригуют, чтобы побольше вопросов вырвать из рук министров, изобразить, будто никто кроме них не умеет работать. Ах, серьёзно же болел Гучков прошлой зимой. Нисколько не греховно, ибо ради трона и блага всей России, — желала ему императрица отправиться на тот свет. Увы, поправился. А теперь — разжигал начальника штаба Верховного, напитывал всякими гнусностями, пытаясь перетянуть на свою сторону, и доверчивый Алексеев может попасться в сети этого умного негодяя.

Они — все сейчас пошли в атаку! Что они готовили к открытию Думы? — мерзейшую декларацию, предупреждённую благодаря помощи Крупенского, — он с ними там заседал, а потом принёс эту мерзкую бумагу Протопопову и был принят государыней тоже, она благодарила его. Отвратительная бумага оказалась прямо революционного характера, с чудовищными бесстыдными заявлениями: вроде того, что *они* не могут работать с министрами (позаботились бы — могут ли министры с ними?)! Штюрмер очень обеспокоился, он боялся предстоящих думских заседаний, государыня, напротив, в таких случаях-то и перебарывала свои болезни и собирала волю: с Думой идёт настоящая война, и мы должны быть тверды. Чем мы можем ответить? Обсудили. Если Дума будет вести себя слишком плохо — не прервать занятия, но полностью распустить в ожидании новых выборов 1917 года. Пусть подумают.

Только пять дней прошло с отъезда Государя из Царского Села — а сколько уже событий и сколько набралось дел!

Всего три дня, как виделась с Протопоповым, и он ничего другого

больше не сказал. А вчера — срочно просил приёма и принёсся крайне возбуждённый. Фигура его была, как обычно, стройна, легка, крылата, а подвижные глаза и лицо — ещё подвижнее. Они выражали раскаяние и даже отчаяние: он только что виделся с Другом, и Друг разъяснил ему, что он абсолютно неправ, оттягивая взять продовольствие в свои руки. И теперь — он убеждён и готов взять. Но осталось всего два дня до открытия Думы, объявить надо успеть раньше! — но как успеть получить подпись Государя из Могилёва?

Волнение передалось и государыне. Она и сама давно думала так, она и сама удивлялась откладываниям Протопопова, а теперь, когда Друг так твёрдо сказал, — кто мог ещё сомневаться? И государыня стала действовать огненно: была середина дня 30 октября, ещё хватало последних часов, чтобы Штюрмер оформил бумагу, передающую всё продовольственное дело министру внутренних дел немедленно. А сама государыня торопливо гнала супругу письмо, разъясняя. Если успеть отправить с курьером к вечеру — утром 31-го он будет в Могилёве. Если просить Государя не откладывая подписать и возвратить с поездом, идущим оттуда в 4 с половиной часа, — эта бумага вернётся сюда утром 1-го ноября, за два-три часа до заседания Думы! Успевает! Успевает, если только Государь уже вернётся к вечеру 30-го в Могилёв из киевской поездки, как предполагал. Даст Бог, так и будет, успеваем.

Сама государыня очень взбодрилась от этой операции — она любила решительные действия. И хотя стояла унылая пасмурная погода с дождиком — она сейчас пересилила уныние совершённым действием. Вот так энергично, быстро надо всегда, и опередишь врагов! С симпатией смотрела она на чрезмерно живое лицо Протопопова, постепенно обретавшее успокоение (она находила его лицо честным, правильным, чистым). Он был — новичок в совете министров и, травимый Думой, нуждался в крепкой поддержке. Государыня уже просила Государя не принимать в Могилёве других министров кроме Протопопова, а всем передавать через него, — это очень возвысит его и укрепит, и пусть он делится с Государем своими планами и пусть просит совета.

— Да, — вспомнила, — говорят, в городе на заводах какие-то волнения?

— Ничего особенного, Ваше Величество! — как всегда обворожительно улыбнулся Протопопов, а сам выражал непреклонность. — У нас руки твёрдые, удержим.

Так-то так, но правильно предлагал Штюрмер ещё в марте, едва вступив на пост: что военные заводы разумно милитаризировать, считать рабочих как бы призванными в армию, и не будет вообще никаких забастовок. (Но промышленники и кадеты помешали: что так будет попрана свобода.)

Протопопов ушёл — но приобретенное радостное волнение действия не покидало вчера государыню и до позднего вечера. Даст Бог, всё будет в одних твёрдых руках, — и Протопопов вообще покончит с Союзами городским и земским. Друг — поможет ему, направит. А Дума, конечно, будет в ярости: она хотела бы разорвать продовольствие на десятеро рук и запутать.

Тут ещё испортил настроение министр промышленности князь Шаховской: приняла его, рассчитывая на его верность, а он выказал неуважение к Штюрмеру, неодобрение Протопопову и пророчил, что им придётся уйти. И это в самом кабинете такое разногласие! Государыня слушала с большим несочувствием и немилостиво отпустила министра.

Была в своём лазарете на концерте, а когда вернулась — знала свою обычную обречённость на бессонницу. Праздник для неё был, когда ей удавалось проспать пять часов подряд — с Ники всегда лучше, без него бессонница особенно терзала. Часты были ночи, когда она забывалась лишь на два часа, уже перед утром. А бывали ночи, вот три

дня назад, — спала всего полчаса. От таких ночей добавлялась разбитость и отупение ко всем многочисленным болезням Александры Фёдоровны, список их за жизнь составил бы несколько десятков, — все боли мигреневые, невралгические, кардиальные, поясничные, адские головные боли периодами, головокружения, задышка, сердцебиения, расширение сердца, сдвиги сердца, синеющие руки, камни в почках, опуханье лица от перемены погоды, воспаление тройничного нерва, ослабление зрения (как она горько шутила — от непролитых слёз), боль в глазу, как от воткнутого карандаша, боли в челюсти, воспаления надкостницы, одеревянение всего тела, боли в спине, простуды, кашли, ушибы от падений, — прошлый год, 1915, она начала с трёхмесячного лежанья, этот, 1916, со сплошных болезней, а во всякий отдельный момент у неё всегда насчитывалось их четыре-пять. И регулярно, три-четыре раза в год, полный упадок всех сил. После бессонной ночи, разбитая и домучиваемая недугами, она по полдня не могла встать, сперва лежала с закрытыми глазами, потом долёживала на диване и, надев очки, на боку — всё писала и писала автоматическими ручками бесконечные ежедневные письма Государю, навёрстывая всё общение, теряемое в расстоянии. Она никогда не умела сказать в трёх словах, ей нужна была стопа страниц. Со средины дня, после завтрака в кровати, поднималась, потому что уже были назначены приёмы или надо было ехать в свой госпиталь или в другие (там по лестницам её взносили в кресле, ибо ноги её не брали лестниц), а от быстрой езды в карете развивалось сердцебиение, и всегда накачиваться сердечными каплями и многими другими лекарствами, получать массажи, мази, электризацию лица и, когда одна, обматывать голову толстой шалью, и избегать прямого солнца, так любя его.

И вчера она легла разбитая, раздёрганная — и эту ночь почти не спала. А все эти бессонные ночи — они наполнены крылатыми мыслями: несутся, несутся мысли и волокут за собой больное, не по сорока пяти годам старое тело, — иногда гордо взмывают, иногда безжалостно когтят грудь. В эти бессонные ночи пришло ей много государственных мыслей. Но к утру ещё более истомляется голова, и в бессонной безысходности всё рисуется в дурном свете.

Но — не поддаваться никогда! Почему бы верить, что злые захватят землю? Почему, если дурные люди активно борются за своё дело, — хорошие только жалуются, сидят со сложенными руками и ждут событий? Нет! Хотя государыня была кругом и вечно больна и с негодным сердцем — но она не могла спокойно сидеть и смотреть на происходящее, и у неё ещё найдётся больше энергии, чем у всей этой компании вместе взятой!

Лето Пятнадцатого года был самый страшный момент: шла борьба, по сути, за сам трон — это открыл им Друг, а втолковать Государю стоило очень большого труда. В Думе держали пари, что помешают Государю принять Верховное, потом — что не дадут распустить Думу. В то лето государыня вмешалась настойчивее всего и до изнеможения, так уставала душой, что хотелось заснуть и забыть о ежедневном кошмаре. Но и успешнее всего. Были против — все, все вокруг гудели, что если Государь примет Ставку — то будет революция. Только Друг и государыня настаивали: брать! И оказались правы. Но именно как результат той победы Государь уехал в Ставку — и уже нельзя было оставаться постоянно с ним рядом и помогать ему держаться твёрдо. А в Ставке, один, он непременно всегда что-нибудь упустит: он окружён там чужими и уступает им. Чаще ему приезжать сюда? — не пускает военное положение. Чаще государыне ездить туда (она охотно и вовсе бы переселилась в Ставку!) — опять-таки мешает положение, да и есть досадная явность для публики, что главные решения, назначения, смещения Государь производит именно в те дни, когда гостит у него жена. И оставалось — в ежедневных длинных письмах, всё повторяя и меняя выражения, — достигать убедительности. Иногда

советы её были успешны, иногда опаздывали, а иногда оказывались и бессильны: тихое, мягкое, ласковое, а было у Ники и упорство. Но Ники — очень доверял ей, и многие важные обсуждения и приём министров поручал.

Беспрекословно она повторяла Государю все советы Друга, многие и своим умом хорошо понимая. Но ум её при вглядывании в дело расширялся — и у неё были своерожденные идеи, которые она роняла в письмах: так, очень беспокоили её отдельные латышские полки — неконтролируемая сила, она считала безопасней расформировать их, рассеять по другим полкам. Она считала, что надо создать в резерве дружину на случай петроградских беспорядков: полиция была не подготовлена к ним и даже не вооружена. Она предлагала посылать людей из государевой свиты на заводы для наблюдения за ходом дел, и чтобы чувствовали повсюду внимание Государя, а не одних гучковских молодцов, — но зажирела свита, и никто никуда ни разу не поехал. И с Государственным Советом она обнаружила неосторожность: что назначают туда всякого, от кого хотят избавиться, — и трон лишает себя опоры. (И председателя надо сменить.) А другая опора была бы — повысить жалованье по всей стране бедным чиновникам. Она просила Государя позаботиться, чтобы все истории с еврейской эвакуацией были выяснены без лишних скандалов. Всегда следует делать различия между хорошими и дурными евреями и не быть одинаково строгими ко всем. Она удерживала Государя не давать толкать себя с поспешными уступками по польскому вопросу, когда Польша была отдана Германии: можно такого наобещать и надарить, что Бэби потом трудно придётся. А по всякому вопросу касательно немецких у нас военнопленных императрица была горестно и стыдливо стеснена распространёнными подозрениями, что она сочувствует врагу, тогда как она всего лишь хотела человеческого их содержания, чтоб Россия оказалась в этом выше Германии, и после войны хорошо бы отзывались о нашем обращении с пленными. И стыдливо, как бы на ухо, просила она Государя послать комиссию в сибирские немецкие лагеря или позволить пленным праздновать день рождения Вильгельма. Здесь — её некоторые называли немкой, в Германии — её теперь тоже ненавидели. Да, конечно, кого не соединяют нежные связи с местом рождения, с кровными родными, — каждая весточка оттуда, через шведскую или английскую родню, или вдруг письмо из Дармштадта через немецких сестёр милосердия тревожили её, наполняли неповторимыми волнами поэзии и юности. Да, конечно, когда она слышала, что у немцев большие потери, — содрогалось сердце при мысли о брате и его войсках. Но и кипела кровь, когда в Германии злорадствовали. Она бесконечно горевала об этой многокровной, бессмысленной войне. Как должен страдать Христос, видя всё это кровопролитие! — испорченность мира всё возрастает, не человечество, а Содом и Гоморра. Какая-то огромно-непоместимая всеобщая беда началась с этой войны, разорвавшей и её сердце. Нет, не из германских симпатий государыня умоляла укротить разжигание ненависти «Новым Временем», запретить безжалостное преследование у нас баронов — а по нелепости для самой России, ибо это ослабляло трон и армию. «Немецкое засилие» мы сами на себя навлекли: наши собственные ленивые славянские натуры должны были раньше держать банки в руках — но раньше никто не обращал внимания. Наш народ талантлив, даровит — только ленив и без инициативы. Александра искренно полюбила эту страну, ставшую её страной, и её огорчало, когда она видела, что такая огромная Россия зависит от других, а Германия радуется нашей дурной организации. Люди у нас, когда не на глазах, — редко исполняют свои обязанности хорошо. Нашей бедной стране не хватает порядка, потому что он чужд славянской натуре.

Александра не могла делать что-либо наполовину. Она принимала всё слишком близко к сердцу. Бог дал ей такое большое сердце,

которое съедало всё её существо. И чисто военных вопросов она тоже теперь не могла обойти — не могла не разделить военной судьбы своего мужа. Началось — с Алексеева, который тревожил её, подойдёт ли он Государю, — он казался неэнергичным, в нём развинчены нервы, мало души и отзывчивости, бумажный человек. К тому же тайные связи с Гучковым, а если настроен против Друга — то и вообще не сможет успешно работать. Алексеев открыто не считался со Штюрмером и давал почувствовать это другим министрам, уже полное безобразие. Явно чувствовала государыня, что Алексеев и её саму не любит. Стала вникать и в действия флота — и морской министр Григорович по распоряжению Государя посылал ей оперативные бумаги, которые она жадно читала, а потом возвращала запечатанными. Но начав пристально следить за военными действиями, она сердцем не могла принять бесполезных кровопролитий, какими были многие наши неудачные наступления, умоляла Государя остановить их: зачем же лезть на стену и жертвовать жизнями словно мухами? Это второй Верден! Наши генералы жертвуют жизнями, не считают — из чистого упрямства, без веры в успех, генералы закалены и привыкли к потерям. Пощади воинов, останови! Необходимо дождаться более благоприятного момента, а не слепо напирать, — это чувствуют все, но никто не решается тебе сказать. Мои штаны нужны и в Ставке, идиоты!

Стала она присматриваться к генералам — да чёрт возьми этих генералов, почему они так слабы и никуда не годятся? Будь строг с ними! Да вот что: во время войны надо выбирать генералов по их способностям, а не по возрасту и чинам! Разве, например, Каледин — настоящий человек на настоящем месте, когда так трудно?.. И она задумалась: как же Ники знать всю правду о своих войсках? И придумала: пусть берёт к себе в Ставку командиров полков на двухнедельные дежурства — они смогут рассказать Государю много правды, которой и генералы не знают, — и это будет живое звено с армией, а генералы будут бояться, что о них расскажут командиры полков. Но почему-то не сделалось.

Многих военных государыня видела по госпиталям, и представлялись из шефских полков всегда после лечения, — потому многих командиров полков она и сама предлагала к назначению, один раз советовала знакомого капитана в начальники штаба Черноморского флота. Захотела Академия генерального штаба отобрать помещение у госпиталя — просила она Государя, нельзя ли не отдавать, уж так ли нужны академисты во время войны?

А четыре дня назад к ней сам попросился на приём генерал — Бонч-Бруевич, бывший начальник штаба Северного фронта, несправедливо смещённый, а вместо него Данилов-чёрный, недобросовестный, канцелярист и действительно враждебный нам человек. Обходительного Бонч-Бруевича государыня охотно приняла, со вниманием беседовала — и свои глубокие приятные впечатления описала Государю, что надо бы на Северном фронте исправить, только не говорить Алексееву, от кого узнал. Старый Рузский — болезненный, кокаинист и тяжёлый на подъём, но мог бы оставаться, однако, при энергичном начальнике штаба, а хороших людей отстраняют. В результате на Северном фронте даже нет глубокой разведки противника. А ещё бы лучше Государь сам повидался с Бонч-Бруевичем: он очень умён, и честен, и многое расскажет. А самому ему ничего не надо, он действует только для общего блага.

И на фоне всех этих неудачных генералов всё более видела теперь государыня ту жестокую несправедливость, которую допустили они вдвоём с императором по отношению к несчастному Сухомлинову. Сейчас она очень сожалела, что в прошлом году так легко согласилась на его отставку и снять аксельбанты, — а ведь этого требовали кто? враги! — и ликовали потом. Сухомлинову всё напортила его молодая жена-разведёнка, вульгарная, авантюристка и взяточница, это она

разрушила его репутацию. Но вот с тех пор шло годичное следствие — и ведь никакого реального преступления не открылось, никто ничего не доказал, не только никакой не шпион, но ни в каком умысле не виноват, мало тратил денег на армию? — так ему не давал Коковцов, — а мы держим несчастного уже шесть месяцев в тюрьме — старого, разрушенного, уже этими месяцами достаточно наказанного. Правда, Государь и увольнял его с тяжёлым сердцем, написал ему ласковое увольнительное письмо, — а Сухомлинов бесчестно его показывал, и даже копии давал снимать, чтобы смягчить себе падение, не думая, как это используют враги Государя. Но государыня простила ему эту слабость, и уже при начале следствия заступалась — сменить сенатора, пристрастного к нему (ибо сам сдал Перемышль и потерпел от Сухомлинова), дневник Сухомлинова и письма к жене чтобы первый, до следствия, прочёл сам Государь и рассудил о виновности. Но сенатор, руководимый местью, посадил Сухомлинова в Петропавловскую крепость, хотя следствие того не требовало. А сейчас всё более становилось жаль Сухомлинова: он умрёт в темнице, он сойдёт с ума, и мы никогда себе этого не простим. И отчасти он сидит для того, чтобы прикрыть артиллерийские взятки Кшесинской и её любовника Сергея Михайловича, из-за которых и не смеют открытый суд. Но никогда не надо бояться выпустить узника, возродить грешника к праведной жизни: как говорит Друг, узники через их страдания выше нас становятся перед лицом Божиим. Друг — очень просит взять Сухомлинова на поруки. Это можно сделать без большого шума, почти секретно.

Сегодняшняя ночь — тянулась изматывающе, бесконечно. Ни в два, ни в три, ни даже в четыре часа ночи государыня не спала — и всё проволакивались мысли и заботы. И вот ей стало ясно, что дальше никак нельзя откладывать с Сухомлиновым. Государь всё промалчивал или откладывал просьбы о его освобождении, как и было в характере Ники — не решаться. Но Друг — настойчиво просил, и государыня решила наступающим днём в письме к мужу прямо требовать от него спешной телеграммы Штюрмеру: что, ознакомясь с данными следствия, Государь не находит никаких оснований для обвинения и распоряжается дело Сухомлинова прекратить. И так будут предупреждены возможные гнусные заявления Гучкова или думские. Убедясь, что вины нет, — недопустимо держать человека в тюрьме лишь из трусости перед врагами, как они закричат.

И ещё был один узник, о котором настойчиво просил Друг, — это Рубинштейн, богач и делец. Помогал в благотворительности, произведен в действительного статского советника. У него были, правда, некрасивые денежные дела — но ведь не только у него одного. Он схвачен был контрразведочной комиссией генерала Батюшина, подчинённой прямо Алексееву, — и тут нельзя было не заподозрить, что это Гучков подстрекнул военные власти в надежде найти доказательства против нашего Друга (из-за близости Рубинштейна к Другу). Эта комиссия Батюшина раньше подчинялась Бонч-Бруевичу и была хорошая, но с подчинением Алексееву вышла из-под разумного контроля, действует некрасиво и несправедливо, они мешаются не в свои дела, и этому надо положить конец. А Рубинштейна — очень жалко, у него слабое здоровье, и он может не выдержать заключения. И Друг, и Аня очень просят. Главное, сейчас забрать его из псковской фронтовой тюрьмы в Петроград, в ведение министерства внутренних дел, — и об этом сам Государь или через Алексеева должен срочно телеграфировать, — а здесь Протопопов тотчас его освободит, а если здесь открыто будет неудобно — ушлёт его хоть и в Сибирь, а там тихо освободит.

И то и другое надо немедленно сделать, нельзя пренебрегать указаниями нашего Друга. Божий человек благополучно проведёт чёлн Государя через рифы — а старое Солнышко, твёрдая и непоколе-

бимая, с решимостью, верностью и любовью всегда готова к борьбе за своих любимых и за нашу страну.

Только приняв решение о срочном исполнении этих двух милосердных дел, государыня успокаивалась, успокоилась — и уже под самое утро забылась.

Спала ли она сегодня хоть два часа? Проснулась измученная — и теперь, как обычно, нуждалась в нескольких часах медленного возврата к жизни. Пока что она, на боку, спешила написать письмо Государю, изложить всё выношенное. Глаза ей отказывали в таком положении, и она не всегда видела подробности своих строчек.

Но и долго залёживаться было нельзя: у неё и на сегодня, как все предыдущие дни, был назначен приём по делам о раненых, о поездах-складах, и ещё множество дам, и один министр, — и вдруг передали ей телефонный звонок Протопопова, что он умоляет крайне срочно принять его по очень нужному делу.

О Боже, только вчера обо всём уговорились — что ещё новое могло случиться? Приходилось принять Протопопова ранее всего остального приёма, но перед этим хоть полчаса прокатиться на автомобиле, чтоб освежить голову.

А погода стояла — такая же унылая, давящая, беспросветно-пасмурная, как и вчера. И срывался дождь.

В этом году были очень ранние заморозки, даже со снегом, 19 сентября, и листья осы́пались, и теперь из своих окон государыня видела церковь Большого дворца.

Но и с прогулки вернулась государыня с такой же тяжёлой головой.

Вид вошедшего Протопопова был ужасен: глаза его как бы дрожали или даже блуждали, подрагивали усы, — так странно было видеть выражение растерянности на его всегда уверенном, победном лице.

Что же? что же??

Его красивый голос переливался в большом волнении, и речь как всегда неслась потоком. Оказывается, банки мнутся, поддержки нет, а все министры нервничают, все министры тревожатся, узнав, что Протопопов берёт в свои руки продовольственное дело: Дума очень чувствительна к этому вопросу, и если только завтра будет опубликовано назначение Протопопова, — это вызовет в Думе бурю и скандал, размеры которых невозможно предвидеть.

Государыня восприняла довольно хладнокровно: ну что ж, мы и готовы к самой жестокой борьбе, мы на это и идём!

О нет, о нет! — в мучении выгибался Протопопов. Борьба — не страшит его нисколько, но скандал может принять такие размеры, что Штюрмеру придётся тотчас же распустить Думу, в первый же день и распустить! — а это очень неудобно.

Но что же делать?..

А — отложить. Несколько отложить назначение по продовольствию. Хотя бы недельки на две. Пусть Дума пока разрядится. А позже — будет её удобнее распустить. Это — не от себя только просит Протопопов, он готов к решительной борьбе (хотя хорошо знает губительные думские ураганы), — но так просит большинство министров, это в интересах всего кабинета!

Государыня впала в недоумение, такое ж тяжёлое, как и всё состояние её. Она не могла уразуметь: почему надо отказаться от решения, принятого вчера с таким энтузиазмом? Почему можно испугаться скандала в Думе, когда он всё равно будет — не по тому, так по другому?

Но глубокое убеждение светилось в одухотворённом, даже художественном лице Протопопова, с таким живым выражением густых бровей, искристых глаз, и крупных губ под слитыми тёмными усами, и каждой чёрточки, — убеждение ещё более глубокое, чем вчера.

Может быть, чего-то она не понимала.

Но во-первых — таково было желание Друга: Протопопову принять продовольствие на одного себя. Во-вторых, даже если решить снова менять: ведь Государь как раз вот в эти часы получил вчерашнее наше письмо — и подписывает, и завтра к утру оно придёт сюда? И это будет последний момент перед открытием Думы, а мы же не можем отменить сами?

(Хотя по крайности обстоятельств — а напряжение этого октября походило на напряжение прошлого лета — конечно, государыня могла бы взять отмену и на себя, её бесконечно-терпеливый супруг простит ей.)

— Телеграфировать Государю! — вырвалось из груди Протопопова.

Но о таком тонком предмете — как же телеграфировать? Ведь читают десятки людей, все колебания разнесутся сразу.

— Зашифровать! — исторглось из Протопопова.

Но и правительственная шифровка проходит через несколько чужих рук. Ах, ах! — государыня совсем забыла, теперь вспомнила: что долго-долго они горевали с супругом, что нужно же иметь возможность иногда что-то важное друг другу сообщить, и всё никак не могли собраться, а всё же заказали приготовить шифровку, хотя так ни разу её и не применили.

— Я сам и зашифрую! — воскликнул Протопопов.

Да, он слишком страстно был задет — почти невозможно ему отказать: как же он будет выполнять дело против собственной воли?

В конце концов — не отменять, только отложить на две недели?..

Но — и никак нельзя пойти против указания Друга.

— Вот что, Александр Дмитрич, — решила она. — Поезжайте как можно скорей в Петроград, на Гороховую, к Григорию. И если он откажет — значит, так всё и останется, как вчера. А если разрешит переменить — скорей езжайте назад, и ещё успеем зашифровать, телеграфировать, — и завтра к утру, за те же два часа до Думы Государь успеет отменить.

Протопопов взвился и помчался.

Милый, симпатичный человек, она пожалела его, хотелось снять с него слишком невыносимое беспокойство.

Такова была она и в любви и во всех привязанностях: если решалась раз, то уже навсегда. Этому человеку — она доверила охрану трона. А свои — должны выручать своих.

65′
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА, 1 НОЯБРЯ)

В Таврическом дворце, в Белом зале, заполненном восходящими полукругами кожаных кресел с пюпитрами, под стеклянным потолком, собрались на открытие сессии четыре с половиной сотни депутатов Государственной Думы. В глубине на балкончиках меж коринфскими полуколоннами важно расселись дипломаты союзных стран, левые и правые хоры были забиты публикой, сострастной к *своим*, в двух передних углах переполнены невысокие ложи прессы, а в ложе министров по правую руку от кафедры сидел с несколькими коллегами и сам Штюрмер, с длинной как прикладной бородой. О нём знали, впрочем, что он тотчас же после открытия уедет под предлогом молебна в Государственный Совет.

На центральный двувысокий помост президиума в сопровождении своих двух Товарищей взошёл Председатель — дородный, дюжий, избывающее земляное здоровье своё обративший не к земле же, не волов воротить, но паж, кавалергард, камергер, раздобрив и разрыхлив тело во многих председательствах, предводительствах, попечительствах, а вот и глава всенародного представительства. На самый почётный помост России, ещё своим ростом заметно увышая его, он взошёл, видя каждое своё

движение со стороны и сознавая его значительность для отечества. Крупный звонок взял крупною лапой.

И утихали перед ним сектора фракций — узкий левый, многолюдный кадетский, прогрессисты, поредевший октябристский с недосаженными верхними креслами, националисты русские, националисты окраин и правые.

Знал за собою Родзянко редкий по зычности голос, свободно заливающий этот зал, а хоть бы и вчетверо больший. Ещё кроме голоса в речи открытия должна звучать историчность — и её он тоже выразит легко.

Но сегодня был даже не просто день открытия годичной сессии: внизу под председателем тигрино напрягся Прогрессивный блок, до прыжка оставался час или два, а тайна прыжка уже расползлась, уже знали журналисты, тоже напрягшиеся, и публика, и испуганная стайка министров с расчётом вовремя улизнуть через непритворенную дверь (из ложи министров есть и тайный звонок тревоги к страже). И даже знала царица в Царском Селе. И земский и городской Союзы уже выпустили свои обращения, что наступил решительный час. И уж не менее всех знал тайну сам Председатель, достаточно посвящённый в планы Блока. Сейчас, на высоте, стоял он монументом, выше него, за его головой — лишь портрет Государя (ещё в два родзянковских роста, вытянутый, со снятою фуражкой), но одно неверное слово — и Председатель может свергнуться под когти набегающих. А иное неверное слово — и его настигнут тут, наверху, и раздерут, и стащат вниз.

За последнее время Родзянко уже предупреждал лидеров Блока:

> идёт глухая травля на Думу в лице её Председателя. Чтобы упал общий дух. Я могу жестоко оборваться в предстоящей речи на открытии сессии. Но и стесняться тоже не намерен. Могу быть жестоко оборван благодаря влиянию известных лиц, и моё дальнейшее *пребывание* станет невозможным. Тогда я буду апеллировать к Думе.

Обещали поддержать. Однако поддержка Блока — это не всё. Ведь положение Председателя Государственной Думы — несравненно, оно даже уникальнее, чем пост председателя совета министров, ибо тех часто сменяют. Если смотреть в суть вопроса, Председатель Государственной Думы — второе лицо в России после Государя. Он есть — посредник между царём и представителями народа, опора равновесия между монархом и Думой. Чтобы сохранить это выдающееся положение, надо ему же заботиться сохранять: и монархию в её величии, и Думу в её страстности. Он вынужден делать личные предупреждения также и Государю. В его частых докладах у Государя — необыкновенная смелость, он очень влияет на монарха — но всё же так, чтоб и своя великая миссия не пострадала. (А Государь на днях имел бестактность отказать Председателю в аудиенции.) И как ни сердится иногда на Государя — но сдерживает себя, щадя обоих. А впрочем, если завтра всё-таки настанет чудо, и будет создаваться *министерство доверия*... По последним планам Блока Родзянко даже не входит в тот кабинет! — Милюков ему специально это разъяснял. Но Родзянко нисколько тому не покорился, ибо сознавал себя фигурою зримо крупней Милюкова, главным представителем всех народных представителей, как бы персонифицированной Россией, — и ничья другая фигура так не подходила тоже и к премьерскому посту, как Родзянко. Да об этом и слухи ходят (как и намечали в 15-м году). Об этом и великие князья говорят... А для того опять-таки надо — всеми силами укреплять свою независимость от Блока. Своё особое положение — между Блоком и Троном.

> Родзянко: Господа члены Государственной Думы! Мы приступаем к нашим занятиям после большого, скажу — слишком длительного их перерыва.

(Укол правительству. Рукоплескания «Браво! Верно!»)

> Первейшая обязанность Государственной Думы — немедленное устранение того (слева: «Не — того, а кого!»), что мешает стране достигнуть единой намеченной цели.

Уже в одну сторону поддал достаточно. Теперь — в другую, нечто прочное, чтобы Дума не развалилась, не отпала от государственной власти. И — заливающим, беспрекословным басом:

> Тяжёлым гнётом налегла на нашу родину эта кошмарная война. Она должна быть выиграна, чего бы это стране ни стоило! (Бурные продолжительные рукоплескания, кроме крайних левых.) Этого требует народная честь и народная совесть; этого повелительно требует благо грядущих поколений. (Бурные рукоплескания. «Верно! Браво!») Мы удивили мир своим единодушием и силою сопротивления. Какие же пути ведут нас к цели? Спокойствие внутри страны, твёрдость духа в испытаниях и *твёрдо сказанная правда* здесь, в этих стенах. (Бурные рукоплескания.) Правительство должно узнать от вас, что нужно для страны. (Голос слева: «Уйти ему!»)

Ступать уверенно, а балансировать осторожно.

> В часы борьбы и напряжения народных сил нельзя гасить народный дух ненужными стеснениями. (Рукоплескания в центре и слева.) Правительство не может идти путём, отдельным от народа, но, *сильное доверием страны*...

Очень тонкое место. Родзянко не сказал, что **это** правительство идёт путём, отдельным от народа, или не имеет доверия Думы, но слился с Думою в жажде правительства, которое

> ...должно возглавить общественные силы, идти в согласии с народными стремлениями, стезёю победы над врагом. (Голоса слева: «Долой их! Пусть уйдёт правительство!»)

Осторожно! Теперь обратный наклон:

> Внутри себя страна не будет смутой помогать врагу.

Торжественная фраза, так и тянет на стих. И — силою баса, как двигая полк в наступление:

> Святая Русь! Никто тебя не сломит!
> Ты устоишь пред бурею как грозная скала.

Ну и, собственно, все бездны пройдены. А теперь уже, по прочному ритуальному мосту — вверх перед собою, через зал, шлёт Родзянко приветствия дипломатам

> семьи народов, воюющих вместе с нами во имя высоких принципов...
> И примкнувшему союзнику, доблестному румынскому народу!

А вся Дума и так уже встаёт, оборачивается, и кадеты кричат:

> Да здравствует Англия, ура!

Особенно Англию принято чествовать у кадетов и особенно приветствуют сэра Джорджа Быокенена — в пику немцу Штюрмеру, который, по их мнению, недостаточно почтителен с Англией и недостаточно ей благодарен. На это намекает и Родзянко:

> Нет ухищрений, которых враг не пускал бы с коварной целью расшатать и опрокинуть наш союз. Но напрасны вражеские козни. Россия не предаст своих друзей (общие рукоплескания) и с презрением отвергнет всякую мысль о сепаратном мире!

Это — особенно выигрышное место: и — верноподданно, и на вкус Думы, как будто против Штюрмера.

> Мы узнаём тебя, наш храбрый серый воин, в душевной простоте не ожидающего ни выгод, ни наград... С вами, неустрашимые борцы, наши молитвы!

Всё пройдено благополучно, вступительная речь окончена. Теперь ещё такой жест: послать приветствие Государю Императору, заверить его, что Дума... А чтоб не вспыхнули протесты — мол, не хотим царю! — такая извилина:

> Послать привет доблестным армии и флоту в *лице* их Верховного Вождя — Государя Императора!

Никто не поспорит. Единодушно. (Только голоса слева: «Штюрмера — вон! Стыдно присутствовать!»)

Действительно, под такие крики премьер-министру тут не засидеться. Да он и сам уже уходит, эти крики лишь мешают правительству выйти из зала достойно и прилично.

Теперь до всех дел деликатно выдвинуть внеочередным оратором — поляка. Ведь ещё летом 1914 русский Верховный Главнокомандующий в неточных выражениях обещал полякам заветную мечту отцов и дедов, час воскресенья польского народа и воссоединения, хоть и под скипетром русского Царя. Потом разочли, что с тем торопиться нечего. В прошлом году Польшу отдали Вильгельму, и упущено было объявить. Ныне, ещё год спустя, независимость Польши провозгласили немцы — да скорей-то всего, чтобы поляков мобилизовать в свою армию. И вот депутат от польского коло заявляет, что

польский народ не согласится на немецкое решение, которое противоре-
чит его стремлениям.

Мол, из немецких рук, без польского моря и без Галиции, Польша независимой стать не хочет.

Далее естественно выпустить на кафедру и декларацию Прогрессивного блока. (Марков 2-й: «Прогрессивный блок без прогрессистов!» Смех.) Да, решительные прогрессисты откололись, увы. И сама декларация в бесконечных согласованиях как полиняла! где тот первый грозный воинственный проект Милюкова? Декларацию скучно ровно читает

Шидловский: Ещё год назад... о бессилии правительства, не опи-
рающегося... Единодушное желание всей Думы о суде над Сухомлино-
вым до сих пор не исполнено. (Бурные рукоплескания,
кроме крайних правых. «Изменники покрывают измен-
ников!» «Не позволяет Распутин!»)

Недоверие к власти сменилось чувством, близким к негодованию.
Население готово верить самым чудовищным слухам. Правительство вся-
чески отстраняло общественность... Ничем не заслуженная обида... Цен-
зура занимается охраной несуществующего престижа власти... Растрачи-
вается драгоценное доверие союзников... Горячее сочувствие великому
английскому народу (рукоплескания). Правительство в нынешнем
составе не способно справиться с опасностью. Лица, дальнейшее пребыва-
ние которых во главе... уступить место лицам, которые... Опираться на
большинство Государственной Думы и проводить в жизнь его программу.

Умеренным тоном прочтена декларация, стены Таврического не сотряслись. Но кто же следом за декларацией, чтоб сбить её и превысить? кого невидимыми иглами вечно колет снизу депутатское кресло? кто полагает в говореньи с трибуны весь смысл деятельности своей? кто посылает самую первую записку, и урывает очередь, и вот уже вызван, и вот уже мимо стенографисток семенит, неряшлив, не молод, а как подвижен? Достиг высоты —

Чхеидзе (с-д): Конечно, мне придётся повторяться, но, господа,
кто ж не повторяется по вопросу о войне. Воспроизведу и я несколько
мыслей, которые мы высказывали и раньше. Всемирная война вызвана
материалистическим соперничеством великих держав. Объективные инте-
ресы... Противоречия капиталистического строя...

Для Чхеидзе России вообще сроду не было, у Чхеидзе — порхающая лёгкость мелкой фракции, ни на что не влияющей, ни за что не ответственной, но имеющей законный ораторский час. А для чего же ещё Дума? — вот именно для того, чтобы по часу и по часу заставлять выслушивать себя. В комиссиях работать не надо, сидеть-изучать думские материалы не надо, а говорить — пожалуйста, нисколько не отвечая за выводы, никуда не ведя собрания.

Не разрешение старых национальных проблем, а их осложнение, не остав-
ление гнёта милитаризма и диктатуры реакционных классов, а их укреп-
ление... Подчинение капиталистической олигархии... Депутат Милюков
говорил, что всё лежит на совести Германии, но от фактов не уйдёшь.
А какое освобождение, господа, вы принесли Галиции, когда были побе-
дителями? Господа, положа руку на сердце, мог ли бы я на каком-либо
основании утешать грузин относительно тех благ, которые эта нация
может ожидать от войны? А что сказать, господа, об украинском вопро-
се? А отношение к униатскому митрополиту?.. А в Финляндии?..
А Польша?..

Дикция у Чхеидзе неясная, гортанный клёкот, но ему самому это не мешает, не сдерживает разлёта речи. В отведенный ему час он — самый первый и сильный в Думе человек и бесстрашно размолачивает всех этих помещиков, капиталистов и финансистов, от монархистов до прогрессистов, не упуская огрызаться и на кадетов. И все тратят по часу свежей головы, выслушивая:

Вы повторяете, что война создаёт условия для сплочения, для объе-
динения, — но к чему это единение свелось? И как обстоит единение
у вас в Блоке? (Милюков: «Штюрмер вас поблагодарит.») Единение между помещиками и крестьянами? Единение между трудом и капиталом? к милитаризации труда? А как обстоит с лозунгом всеобщего разоружения? (Смех.) Мы требуем, господа, ликвидации этой ужасной войны, мы требуем мира! Но — не мира, заключённого безответственными дипломатами, никогда! От имени российской социал-демократии, от имени всероссийского пролетариата мы требуем мира, который... координацией сил европейской демократии... без насильственных присоединений!

(И напрасно ведь тянется! Ленин скажет: революционер-шовинист, революции хочет не для развала России. А Шляпников: боровшиеся пролетарии России не нашли в речи Чхеидзе ничего руководящего, не нашли революционного напряжения, которым дышал рабочий класс.)

Регламент держит Чхеидзе, как воздух птицу. Вся Дума, лишённая социал-демократического образования, вынуждена внимать поучениям крайнего оратора. И нет стеснения полёту крыл. Но тактика заставляет Чхеидзе всё же снизиться и вдруг сомкнуться с Блоком:

Конечно, для такой борьбы нужна большая осмотрительность и предусмотрительность. (Справа: «Ума побольше!») Но есть препятствие, которое мы должны устранить в первую голову, — это, господа, правительство, в руках которого судьба нашей страны.

Однако соединясь с большинством Думы, пламенный публицист, недоучеиник кутаисской гимназии, харьковского ветеринарного, годичный вольнослушатель одесского университета, тут же и жалеет презирающе эту трусливо-классовую Думу, и в учительном тоне объясняет ей и выговаривает:

В этом отношении вы, господа, долго себя обманывали или сознательно делали вид, что не понимаете. Можете ли вы сказать, что и у вас эта мысль созрела? Как будто выходит, что эту мысль разделяете и вы, но способны ли вы, господа, на какие-нибудь решительные шаги, чтобы совместно с нами выполнить эту первую очередную задачу?.. Мы знаем ваш темперамент и темп действий и не зовём на большее, чем законные средства борьбы. Но у вас не хватило смелости, это ваша обыкновенная черта: собраться синицу в море жечь, но это кончается плачевным финалом.

Голова оратора и среднего-то ростом приходится лишь чуть выше председательской кафедры. А Чхеидзе и вовсе утоплен где-то ниже. Очень крикливо, но не этого выступления опасается величественный Председатель, кто ж обращает внимание на Чхеидзе? И когда выскочит Керенский с обязательным спектаклем — это тоже будет не самый главный скандал. Но видит Родзянко, что по списку ораторов неуклонно приближается Милюков, а его речь уже известна тесному кругу думцев, и Председатель сам вчера отговаривал Милюкова от этих мест, затрагивающих лиц августейших. Однако тщетно. Однако и председательствовать во время такой речи двояко-гибельно: прервать или возразить — значит погубить себя в глазах всей левой части Думы и неизбежно потерпеть поражение на выборах Председателя, имеющих быть послезавтра; остаться безучастным — окончательно погубить себя в глазах царской семьи.

Но как же расстаться с должностью, столь приращённой к человеку, что никто уже и в воображении не может их разорвать? Если на председательском месте будет не Родзянко, то и Дума — уже как будто не Дума, и Россия — не та Россия. Также и сам он, не выбранный, — кто он и что? Отделённый от России уже не столп, но пасынок её. Да что там,

это звание есть священный культ — честь, доступная лишь немногим счастливым смертным в нашей земной жизни.

А вот — простая уловка: пошептавшись со своим заместителем Варун-Секретом, на почётном месте выставив его вместо себя, тучный Родзянко, беззвучно ступая, всем видом показывая, что это — не надолго, но уж приходится, увы, в такой торжественный день, — покидает зал.

(Накануне заседания я простудился, чувствовал себя неважно, с трудом закончил свою речь — и тотчас передал председательство.

Но — вот неожиданность! —

Этот маловажный факт оказался чреват последствиями!)

Теперь профессор Левашов — заявление фракции правых, скучно написано, серо читается. Зал не хвалит и не возражает.

Наше отечество переполняют выходцы из Германии, завладевшие лучшими землями, всей нашей торговлей и промышленностью... Имеют

полную возможность сообщать нашим лютым врагам сведения о... Портить мосты, взрывать склады, вызывать искусственно народные смуты. Большинство Государственной Думы систематически уклоняется обсудить вопрос о борьбе с немецким засилием.

Хищническая спекуляция появившихся повсюду мародёров тыла, банков и акционерных обществ. Мы, правые, более года назад... Государственная Дума ограничилась... Также и правительство не проявило...

Лишь под конец — касаясь нерва:

Мы осуждаем тех, кто промахи правительства стремится использовать для захвата власти в свои руки при громких словах о служении родине. Мы отвергаем обвинение, что правительство подавляет так называемую общественность. Ошибки правительства совсем в другом: в отсутствии твёрдой власти, боязни крутых мер. Правительство повинно скорее в желании всем угодить.

(В 1916 это никак не кажется очевидным, ещё долго надо пожить, чтобы сравнить.)

Если на нужды Земского и Городского союзов отпущены сотни миллионов казённых денег, ради этой работы десятки тысяч людей освобождены от воинской повинности — можно ли говорить, что правительство препятствует деятельности этих организаций?

(Сколько отпущено — 550 миллионов казённых при 10 миллионах собранных — никто и не знает, потому что вся свободная либеральная многочитаемая печать единодушно отказалась эти невыгодные сведения печатать.)

Мы призываем прекратить пагубную борьбу за власть или по крайней мере отложить её до конца войны.

Но Дума не хочет такого слышать — и не слышит.

А вот — подошло и Керенскому, еле дотомился. Всё, что было в заседании до сих пор, — это скука, вот только теперь начнётся! Измученный своею неистовостью, своею особой сладкодрожной ответственностью перед русским обществом и перед Думой — 4-й Государственной, а своею первой, зная за собой соединение и крайней политической смелости и высочайшего красноречия, Керенский не упускает ни единой возможности выступить — в прениях, по запросам, по мотивам голосования, для объяснения своего поведения при выгоне из зала, — кажется, едва сбежавши с кафедры, он тут же записывается вновь, и вот дождался, и снова взбегает, взлетает тула же, легконогий, затянутый в талии, нарядный на щипок. (С п р а в а к р и ч а т: «Ш а́ ф е р!» «П у с т ь р а с с к а ж е т, к а к о н б ы л ш а ф е р о м!») Ах, до этого ли, ах, не об этом, когда вьются, вьются выражения, одно красивее другого, и никакого нет затруднения в языке, изо рта их выпускать втрое быстрей, чем любой оратор в этом зале:

К е р е н с к и й: Кровавый вихрь, в который по почину командующих классов вовлечена демократия Европы, должен быть окончен! Но, господа, как мы можем подготовление мира, которого жаждет демократия, предоставить тем людям, которые планомерно разрушают организм государства? Разве прошлогодний страшный гром на Сане и у Варшавы заставил их

и с малым поворотом затянутого стана картинно откинул изящную руку направо назад, на опустевшую ложу министров, —

опомниться и уйти с этих мест? Они быстро очнулись, и долгий год производились новые издевательства над русским народом. Было сделано всё, чтоб уничтожить энтузиазм и бодрость.

Вот это слово — энтузиазм! зиазм! — особенно эффектно прокрикивает он даже в самом бешеном риторическом потоке. Да и с гектографических отпечатков будет очень эффектно читаться через несколько дней. Фракция Керенского, как и Чхеидзе, малочисленна, не влияет на думское голосование, зато вдвоём они проговаривают едва ли не четверть думского времени.

Господа! Правительство и з д е в а е т с я над охватившим всю страну требованием амнистии! За последний год создан режим настоящего белого террора! Все тюрьмы переполнены представителями трудящихся масс!

(Даже по Чхеидзе — политических 7 тысяч, и то большей частью в ссылке, откуда только ленивый не бежит да кто не хочет в армию попасть.)

И разве это не сим-вол, что наши товарищи, члены Государственной

Думы, социал-демократы, остаются на поселении в Туруханском крае, а Сухомлинов разгуливает по Петрограду? (С л е в а: «П о з о р!»)

Кто создал в России, житнице государств, разруху и дезорганизацию, когда городские массы принуждены выступать с криком «хлеба!», а им отвечают свин-цовыми пулями?!

Случай такой ни у кого не на памяти, но с трибуны всё идёт.

Кто повинен, господа, что в стране всё больше и больше возникает настроение уныния и ужаса? Правительство в своей деятельности руководствуется нашёптываниями и указаниями безответственных кругов, руководимых пре-зренным Гришкой Распутиным!

Это имя называть запрещено, но Керенского — кто удержит? Э-мо-ци-о-нальный удар по нервам слушателей. Нарядный стройный шафер — на кулачки, беленькие мягкие кулачки́ — с тёмным сопатым бородатым мужиком!

Неужели, господа, всё, что мы переживаем, не заставит нас единодушно сказать: главный и величайший враг страны — н е н а ф р о н т е! он находится м е ж д у н а м и! и н е т с п а с е н ь я стране прежде, чем мы не заставим у й т и тех, кто губит, презирает и издевается над страной?!!

А вот когда... а вот если бы когда-нибудь сам Александр Керенский... о, насколько иначе! о, какой яблоно-цветный вихрь! о, как иначе бы всё сразу пошло!

Скажите мне, господа! Если бы Россией в настоящее время управляли бы

— эта мысль, правда, не его, а Гучкова, она давно ходит, но отчего не повторить, если так легко слетает с уст? —

агенты вражеских держав, — смогли ли бы они предложить своим слугам какую-нибудь иную программу создать анархию в России?

Министры не решаются придти сюда и с глазу на глаз объясниться с нами, потому что они сознают, что они делают! потому что они знают, какая б у р я негодования ожидает их! (Р у к о п л е с к а н и я с л е в а.) Связав великий народ по рукам и ногам и завязав ему глаза, они бросили его под ноги сильного врага, а сами, закрывшись аппаратом цензур и ссылок, предпочитают исподтишка, как наёмные убийцы, наносить удар стране!!! (С л е в а б у р н ы е р у к о п л е с к а н и я.)

Растерянный В а р у н - С е к р е т, степняк из-под Херсона, хотя и прочный либерал, но:

— Член Думы Керенский, призываю вас...

К е р е н с к и й: Г д е о н и, эти люди, —

всё пронзительнее указывая на пустые места правительства, он знает, что Милюков готовит сильный выпад, а надо — сильней и опередить:

в предательстве подозреваемые братоубийцы и трусы?? (С л е в а — б у р н ы е р у к о п л е с к а н и я, ц е н т р м о л ч и т, с п р а в а: «Ч т о о н г о в о р и т?» «Э т о н е д о п у с т и м о п о з в о л я т ь!» «П о з о р!»)

В а р у н: Член Думы Керенский, я вынужден вас предупредить, что за повторение...

А Керенскому и не надо повторения, он главное своё уже вывалил, но огонь и дым ещё выпыхивают:

Я не могу отсюда не сказать, что все попытки спасти страну бесплодны, пока власть в руках... Я утверждаю, что в настоящий момент нет большего врага, чем те, кто на высоте власти ведёт страну к гибели! Я утверждаю, что именно это должно быть сказано тем, кто платит податью крови и обнищанием... и которые правды знать не могут! Мы должны сказать массе: прежде, чем заключить мир, достойный международной демократии, в ы д о л ж н ы у н и ч т о ж и т ь тех, кто не сознаёт своего долга!!! Они

третий раз тем же драматическим поворотом, пронзая ложу правительства адвокатскою дланью.

должны уйти! Они являются предателями интересов...

Ай, беда: Родзянки всё нет и нет, а ведь выходил на минуту! А до законного полного часа ещё долго Керенскому, ещё натолкает ниспровержений царя земного

и Царя Небесного. И напуганный неопытный Варун-Секрет звонит над змейною головой оратора:

— Член Государственной Думы Керенский, я вас лишаю слова. Прошу оставить кафедру.

А тот — вдруг и не спорит, вдруг легко покорился. Как пузырь проколотый, вмиг опадает карающий оратор. Только что удержу не было его гневу, а вот, изящно отряхнувшись, и изогнувшись, с платочком из нагрудного кармана, под любование балконных дам, одобрение левых и ярость правых он прогулочно сходит по ступенькам. Милюкова он обскакал, а больше ему ничего и не надо. Он исчерпал свои жесты и обвинения, а предложений и не было с ним, он так и рассчитывал, что его прервут и даже бы лучше — раньше.

Ну, кто же теперь с другой стороны? Кто же, равный, от правых, кинется в схватку? Э-э-э, таких у вас нет. Опять нудно, ровно, монотонно выходит читать с готовой бумаги заявление фракции русских националистов сухопарый камергер, отставной гвардейский гусар

Балашов: В сознании своей ответственности перед Россией и Престолом... Восторженно приветствует могучих и доблестных... К прискорбию, правительство не имеет плана действий... Постоянная смена лиц, издание непродуманных несвязанных мер... Благоприятное положение для мародёрства... Но и законодательные учреждения, принявшие на себя ответственность по снабжению и продовольствию... Создание великой Румынии, дружественной славянству... Наивны и легкомысленны те, кто думают, что близок конец мировой войны. Доколе не будет достигнуто объединение всех древних русских земель и обладание проливами...

Мы призываем все классы к терпению, самопожертвованию и борьбе с роскошью. Мы верим, что результатом мировой борьбы... нравственное возрождение народа... торжество русской культуры...

Скучно, скучно. Но и должна же быть передышка перед взрывом. И досадно, что дергунчик Керенский самое звонкое уже выкрал и вызвонил. Но это — право и привычка левых. Да не так важно, *что* сказано, важно — *кем*. Лидер парламентского большинства скажет и осторожней, но это умножится на его большинство, на весь Прогрессивный блок. Лидер парламентского большинства (по западным меркам — непременный глава правительства!) и в прения записан не наудачу, а так, чтобы своим выступлением оглушительно закончить думский день. Уже приглашённый на кафедру, он полукругло обходит стенографисток совсем не так, как депутат средней известности. Ещё не оглянувшись на зал, он знает, что нет рассеянных глаз, отвёрнутых в сторону, а все следят за его основательным затылком, широкой шеей, плотной спиной и ждут, что не с пустым он идёт, что каждый его восход на эту кафедру есть эпоха думской работы, есть шаг русской истории. (Так и пишет французская печать: великий лидер, кто в ближайшем будущем сыграет выдающуюся роль в своём отечестве.) Когда же он обернётся к залу седоватым хохолком, строгими простыми очками, не предвещая мирных речей сильно распушёнными усами, а между тирадами, читаемыми с бумаги, подарит залу кое-что из лучших манер, с которыми не стыдно фигурировать и в европейской среде, — он видит, как думское большинство соединено и захвачено, а реакционный правый сектор дёргается от ярости.

Так — всегда. Но сегодня с особой задачей всходит на кафедру лидер партии Народной Свободы и лидер Прогрессивного блока. Он — с марта по-настоящему не выступал, он целую думскую сессию пропустил в европейской поездке. Да уже две сессии кряду прошли слишком мирно, в диссонанс со смелыми съездами Союзов; уже есть впечатление, что Дума теряет авторитет оттого, что конфликт её с правительством остановлен. Сколько мог, сам же Павел Николаевич благоразумно и тормозил действия Блока — но возросли долг и вина перед левыми, уже нельзя отстать от революционной общественности, пришёл момент дерзко эффектно взорвать там, где не удалось высидеть и сдвинуть. Без честного союза с левыми, без подпора слева либералы не могут существовать. И чем обиднее тянут левые на раскол, лишая кадетов живительного соединения с народом, тем сотрясательнее должна быть сегодняшняя речь, чтоб и с левых скамей исторгнуть возгласы удовлетворения и устыдить отколовшихся прогрессистов.

(Дума отставала, общий барометр поднялся. Ждали *нового слова* с возрастающим нетерпением. Его надо было сказать 1 ноября. Было ясно,

что удар по Штюрмеру уже недостаточен, надо идти выше, не щадить источника, к которому слухи восходят. Я сознавал тот риск, которому подвергался, но считал необходимым с ним не считаться.)

И, поднимаясь на кафедру, он возносит с собой невидимую пудовую бомбу, ставит её пока у ног.

Милюков: С тяжёлым чувством я всхожу сегодня на эту трибуну.

С очень приятным, напротив. В двух Думах прочёл он уже полсотни речей по часу каждая — и с наслаждением. Той профессорской кафедры, которой лишили его в молодости, насколько же почётнее думская. Там ещё студенты будут ли твою лекцию записывать, а тут — вырвут у стенографисток, и через день в тысячах экземпляров в десятках поездов — по всей России. Умственным взором уже читаются завтрашние газеты: «Потрясающее впечатление произвела блестящая речь Милюкова — одна из лучших его парламентских речей. С огромной силой он бросал в слушателей острые вопросы. Чувствовалось, что мы переживаем один из тех моментов, когда слово становится делом.» Потрясёт эта речь и тех, кто никаких речей никогда не читает. А когда-нибудь цитатами войдёт и в учебники русской истории. Итак:

Вы помните те обстоятельства, больше года назад... Страна требовала министерства из лиц с доверием... Под впечатлением наших военных неудач власть пошла тогда на уступки. Ненавистные обществу министры были удалены, и было положено начало отдачи под суд бывшего военного министра. Какая, господа, разница теперь, на 27-м месяце войны! Скажу открыто: мы потеряли веру, что эта власть может нас привести к победе. Все союзные государства призвали в ряды власти самых лучших людей изо всех партий.

(Такие же есть и у нас!..)

А наша власть опустилась даже ниже того уровня, на котором она стояла в нормальное время русской жизни. Не обращаясь к уму и знаниям власти, мы обращались к её патриотизму и добросовестности.

Такого, впрочем, никогда не было, но это — фигура.

А можем ли мы это сделать теперь? Господа, если бы германцы захотели употребить свои средства влияния и подкупа, чтоб дезорганизовать нашу страну,

да опять же гучковская мысль, уже и перехваченная Керенским, но можно и Милюкову, уж очень ярко, —

то, ничего лучшего они не могли бы сделать, чем как поступало русское правительство. 13 июня

(на неделю позже, но профессор истории — не математик, вечно путает проклятые даты)

с этой кафедры я уже предупреждал, что «из края в край земли русской расползаются тёмные слухи о предательстве и измене». А три дня назад заявили и председатели губернских земских управ: «Мучительное подозрение перешло в ясное сознание, что вражеская рука тайно влияет на ход государственных дел.»

Друг на друга ссылаться — это ещё, конечно, не полное доказательство, однако — кровь леденит: вражеская рука тайно влияет!.. Ведь *зря* люди не скажут! *Тёмные силы* — грозны, сплочены, многолики, таинственны, нависли над Россией, а мы-то одурачены и отдались им!

Господа, и не хотел бы идти навстречу болезненной подозрительности, но как вы будете опровергать возможность подобных подозрений, когда кучка тёмных личностей руководит в личных низменных интересах важнейшими государственными делами?

И теперь уже председатели губернских управ могут смело ссылаться на Милюкова!..

Составляя эту речь, искал Милюков, как использовать свой заграничный опыт минувших месяцев и покрыть недостаток отечественного опыта за то же время. Нашёл он удобным, сильно действующим и тактически неуязвимым — цитировать иностранные газеты, которые в поездках прилежно читал, и передавать тамошние слухи

У меня в руках — номер «Berliner Tageblatt». Сведения этой статьи отчасти запоздали, отчасти неверны... Вы может спросить, кто такой Манасевич-Мануйлов? Недавно — личный секретарь министра иностранных дел Штюрмера!

Захватывающе! В России, говорите, с хлебом плохо? Сейчас лидер Блока раскрывает нам самый стержень русских страданий:

Не скажу ничего нового, повторю то, что вы знаете: он был арестован за то, что взял взятку. А почему отпущен? Тоже не секрет: он заявил следствию, что поделился взяткой с председателем совета министров Штюрмером! — и освобождён! (Рукоплескания, шум.)

В Думе иногда вызывали на дуэль за оскорбления, но — не Штюрмер же, Милюкову опасаться не приходится.

Вот когда затмены и Чхеидзе и Керенский, не читающие иностранных газет!.. Правда, потом выяснится, что взятка была подстроенная, а сколько, от кого именно, по какому поводу — Павел Николаевич никогда не добьётся, и не делился Манасевич ни с кем, а тем более с председателем совета министров, ибо тут же арестован. (Ну что ж, это были всё

не прямые сведения, догадки: приходилось клеить мозаично, из отдельных фактов, часто мелких; юридически трудно формулировать обвинение, но в порядке бытовом оно очень вероятно.)

Однако, и кафедра ж эта — не университетская, где нужно описывать историю ровно такой, как она была. Перейдя из описателей истории в делателей её, отсюда надо крикнуть громче, чем позволяют факты, — чтобы стало зримо для общества и чтобы криком напугать врагов. Штюрмер должен быть убран, он всем ненавистен, а Милюкову ещё тем особенно, что бестактно, бездарно занял несвойственный себе пост министра иностранных дел.

Итак: чем же спасти Россию??

Итак, разрешите мне остановиться на назначении Штюрмера министром иностранных дел. Оно у меня сплетается с впечатлениями моей заграничной поездки. Я просто вам расскажу по порядку, что я узнавал по дороге туда и обратно.

Так и самому проще, по порядку, по дороге. И на государственном уровне. Да ведь и депутатам интересно: за границу они не ездят, конфиденциально не беседуют в кабинетах наших послов в Париже и Лондоне.

Berliner Tageblatt: «Штюрмер принадлежит к кругам, которые смотрят на войну без особого воодушевления.» Kölnische Zeitung: «Штюрмер не будет препятствовать возникающему в России желанию мира.» Neue Freie Presse: «Как бы ни обрусел старик Штюрмер, всё же довольно странно, что иностранной политикой, которая вышла из панславистских идей, будет руководить немец. Он не обещал, — господа, заметьте! — что без Константинополя и проливов никогда не заключит мира.»

Откуда же берут германские газеты уверенность, что Штюрмер, исполняя желание правых, будет действовать против Англии? Из сведений русской печати. В московских газетах была напечатана в те же дни записка крайних правых,

голос оратора ожесточается, это — те самые тёмные силы, кто мешает свободе, победе и Англии,

опять, господа, записка крайних правых, всякий раз записка крайних правых

(Замысловский: «И всякий раз это оказывается ложью!»), доставленная в Ставку в июле. В этой записке заявляется, что хотя и нужно бороться до окончательной победы, но нужно кончить войну своевременно, а иначе плоды победы будут потеряны вследствие революции. (Замысловский. «Подписи! Подписи!»)

Да не знает Милюков никаких подписей, он такой газеты не видел, но тут приходится правдоподобно *клеить из мозаики,* ибо

это старая для наших германофилов тема.

Замысловский: Подписи! Пусть скажет подписи!

А несчастный Варун ещё и не понял, где ему опасность, он себе позвякивает:

— Член Думы Замысловский, прошу не говорить с места.

Милюков: Я цитирую московские газеты.

Какие газеты? за какое число? Отчего бы не сказать? Да ведь газет много, календарных чисел ещё больше, всего не пересмотришь, а Павел Николаевич был за границей, потом недосуг, вот Neue Freie Presse — пожалуйста, от 25 июля.

Замысловский: Клеветник, скажите подписи, не клевещите!

Варун: Член Думы Замысловский, покорнейше прошу...

Замысловский: Дайте подписи, клеветник!

Варун: Член Думы... призываю вас...

Вишневский 1-й: Мы требуем подписи, пусть не клевещет!

Варун: Член Думы Вишневский-первый...

Вот прицепились с этими подписями! Ведь сидит же спокойно Прогрессивный блок, сидят спокойно левые, никаких подписей не требуют, всё объективно. Большинство зала — против тёмных сил, и отступленья уже нет, теперь вся уверенность — в твёрдости голоса. И, продувая топырчатые усы:

Милюков: Я сказал вам свой источник — это московские газеты, из которых есть перепечатки в иностранных газетах...

Не сказать прямо — в газетах другой воюющей стороны, неудобно, но немцы-то, аккуратные люди, неужели же будут неправильно цитировать? Наверно, промелькнуло где-нибудь. Ну, может быть, не именно точно так. А в археологии как? необразованность! по каким-нибудь там безымянным черепкам восстанавливают, складывают...

Я передаю те впечатления, которые за границей... Я говорю, что мнение иностранного общества такое, что в Ставку доставлена записка крайних правых,

(и, как все документы Ставки, опубликована в московских газетах)

что нужно поскорее кончить войну, иначе будет революция.

Замысловский: Клеветник, вот вы кто!

Марков 2-й: Он только сообщил заведомую неправду.

Голос слева: Допустимо ли это выражение с мест, господин председательствующий?

Варун: Я повторяю, член Государственной Думы Замы...

Милюков: Я нечувствителен к выражениям господина Замысловского. (Голос слева: «Браво!») А кто делает революцию? Оказывается, её делают Городской и Земский союзы? Военно-промышленный Комитет? съезды либеральных...

Ведь вот же напраслина! вот придумают!.. От этой записки правых поскорее уйти:

Господа, вы знаете, что кроме приведенной записки существует целый ряд отдельных записок... Idée fixe: революции, грядущая со стороны левых!

Ну, действительно, чего не придумают: революция — и вдруг со стороны левых! Да где это видано?

Идея-фикс, помешательство на которой обязательно для всякого члена кабинета. И этой идее-фикс приносится в жертву высокий национальный порыв и зачатки русской свободы!.. Продолжая своё путешествие... Доехав до Лондона и Парижа... Прочность доверия с союзниками... Соглашение о Константинополе и проливах... Когда министерством управлял Сазонов...

а на него влиял Милюков... И вдруг пост занимает—кто же?.. Не Милюков, а Штюрмер.

Какая может быть вера русским послам, когда за ними становится Штюр-мер? В деликатном деле дипломатии есть кружевное шитьё и есть топорная работа... Господа, я видел разрушение деликатнейших фи-бр... Вот что сделал господин Штюр-мер — и может быть недаром он не обещал нам Константинополя и проливов!

С этими проливами хорошо хоть не напоминают: до войны объезжал Милюков страну с пацифистскими лекциями. Но это вздор, молодцу не укор.

Потом я поехал дальше, в Швейцарию, отдохнуть, а не заниматься политикой.

Читая думские отчёты, ведь как приятно будет узнать тем же русским солдатам-окопникам, что не остался без летних вакаций лидер партии Народной Свободы и даже заглянул погулять на швейцарские курорты. (А в рождественские вакации собирается на свою милую дачку в Крым.) А в Швейцарии-то — наших революционных эмигран-тов!.. Кое с кем и встречался.

Но и тут за мной тянулись те же тёмные тени. На берегах Женевского озера я не мог уйти от департамента полиции. Знаете, *поручения особого рода,* которые вызывают к себе наше особое внимание.

Так тайные сыщики ходили за Милюковым по пятам? Нет, они развлекались:

Чиновники департамента полиции оказываются посетителями салонов русских дам, известных своим германофильством,

а уже Милюков ходил по их пятам, жертвуя отдыхом.

Господа, я не буду называть вам *имени той дамы...*

Интригующе звучит, и даже роковей гораздо, чем если имя назвать. Одновременно в тонкий флёр — знать, он допущен к дамам... Однако, для конкретности:

...той дамы, перешедшей от симпатии к австрийскому князю к симпатии к германскому барону...

Неизбежные личные подробности, женщины всегда притягивают их в политику... Когда сейчас в кулуарах обступят и будут чествовать оратора, жать руки и восторженно благодарить, конечно будут и жадно спрашивать...

Салон на Виа-Курва, а потом в Монтрё был известен открытым германофильством хозяйки. Теперь эта дама переселилась в Петроград. Газеты поминают её имя. Проездом через Париж я застал... Парижане были скандализированы, и я должен с сокрушением прибавить, что это — та самая дама, которая начала делать карьеру господина Штюрмера...

Такой тонкий дамский материал, что уже и правые не рычат, не кричат. А между тем как раз тут небольшие простительные ошибки. (Летом 1917 благодушно и честно признается Милюков:

Для меня впоследствии выяснилась невинность этой дамы, Е. К. Нарышкиной.

Тем более, что эта Нарышкина, Лили, совсем и не возвращалась в Петроград, а в Петрограде газеты упоминали совсем другую Нарышкину, Зизи, старушку-гофмейстерину, у которой чуть сердце не разорвалось от милюковской речи. Впоследствии Павел Николаевич разобрался. Но *тогда*, с думской трибуны, только тревожное подозрение, только жгучий слух мог толкнуть Историю — а какую политическую выгоду принесло бы добросовестное сомнение? Народные массы, вся Россия, весь мир ждали от Думы чего-нибудь такого-такого-этакого...)

Что я хочу сказать этими указаниями? Господа, я не утверждаю, что я непременно напал на один из каналов общения. Но это—одно из звеньев... Чтобы открыть п у т и и с п о с о б ы... Тут нужно судебное следствие...

Шутки шутками, а как напряжён зал! — никакую детективную пьесу не смотрят с таким захватывающим волнением. Кажется, вот уже, вот уже приоткрывается завеса над страшными тайнами! Да какой же проницательный этот Милюков! Да ведь он намного больше знает, чем высказывает! И вот уже он называет не даму, но зловещее имя:

Когда мы обвиняли Сухомлинова, мы ведь тоже не имели данных. Мы имели то, что и теперь: инстинктивный голос *всей страны* и её *субъективную уверенность*! (Р у к о п л е с к а н и я.)

Боже мой! Мы тут сидим, или там гниём в окопах, — а мы преданы! Россия — предана! Куда нас ведут?

(И о Сухомлинове скоро выяснится, и скажет Павел Николаевич в доверительной обстановке, когда его слова уже не будут делать политики:

Несоответствие с серьёзностью момента; не столько предательства, сколько полного рамолисмента, неспособности стать на высоту положения... Лично я был далёк от предположения, что тут что-нибудь другое, кроме простой глупости; предательство и измена — мне и в голову не приходило.)

...Господа, я может быть не решился бы говорить о каждом отдельном из моих впечатлений, если бы не было совокупности... Переехав из Парижа в Лондон... Что с некоторых пор наши враги узнают наши сокровеннейшие секреты, и что этого не было во времена Сазонова. (В о з г л а с ы с л е в а: «А г а!») Прошу извинения, что сообщая о столь важном факте, я не могу назвать его источника

(один союзный дипломат побоялся показать одному нашему послу одну бумажку).

Но тем страшней, что не называется: значит, самое сердце наших секретов передано Вильгельму!

Из декларации Блока «измену» вычеркнули, — но ту же измену заталкивает Милюков сбежавшему из зала правительству — да как ловко! И вот подходит самое взрывное место речи. Но на всякий случай себя обезопасить:

Господа, не питая никакого личного подозрения, я не могу сказать,

какую именно роль эта история сыграла в *уже известной нам прихожей*, через которую прошёл и Протопопов к министерскому креслу. (С л е в а ш у м: «В е л и к о л е п н о! Это — Р а с п у т и н!»)

Да, это выразилось тонко и изящно. Но тут, друзья, не Распутиным пахнет! — ещё не представляли кричавшие всей силы милюковского взрыва. Вот приём: п р о ч е с т ь п о - н е м е ц к и! — бегло, с лёгкостью, лишь бы прочесть, хотя б и не поняли, лишь бы не прервали:

Это — та придворная партия, которая назначила и Штюрмера. Как пишет Neue Freie Presse: «Das ist der Sieg der Hofpartei, die sich um die junge Zarin gruppiert!»

Прошло-о! Остолбенелый Варун и не пошевельнулся. Да и в зале мало кто понял, — неважно, лишь бы сказано, а переведётся в списках. Будут захлёбываться, передавая изустно:

придворная партия, сгруппированная *вокруг молодой царицы*!!!

А прошло — так можно ещё ударить! И, как ни в чём не бывало, снова по-русски:

Во всяком случае, я имею *некоторые основания* думать, что предложения, сделанные в Стокгольме германским советником Протопопову, были повторены *более прямым путём и из более высокого источника.*

Думцы лбы потирают, ещё не поняли. Вот преимущество профессора перед полуграмотным Чхеидзе или банальным Керенским: какие гладкие фразы, ни за что не уцепишься, а в с ё сказано! Из более высокого источника — значит, не ниже германского министерства иностранных дел, и более прямым путём — значит прямо русскому правительству или даже царю!

И когда из уст британского посла... тяжеловесное обвинение против того же круга лиц...

переводите сами — круг молодой царицы,

подготовить путь к сепаратному миру...

Вот она, сила парламентского слова! — как там ни стянуто, ни сплетено, но едва произнесено — и уже стынет гранитным утёсом: ц а р и ц а г о т о в и т с е п а р а т н ы й м и р!!!

Никто не успевает ни сообразить, ни крикнуть, ни пикнуть: а — какие же, собственно, эти «некоторые основания»? Откуда вы, Павел Николаевич и сэр Джордж Бьюкенен, заключаете, что...?

(Ну, когда-нибудь, когда-нибудь Павел Николаевич объяснит добродушно:

Одно загадочное обстоятельство, которое мне так и не удалось выяснить. Мне как-то прислали американский журнал, в котором была статья «Мирные предложения, сделанные России». Портрет фон-Ягова, портрет Штюрмера, а в тексте излагалось содержание статьи швейцарского журнала Berner Tagwacht. Довольно правдоподобные пункты мирных переговоров, предложенных России. Как они попали в Berner Tagwacht, какие сведения у них есть, я так и не добрался. Официальных следов в русском министерстве иностранных дел не нашлось. Однако намёки были постоянные, *так что может быть тут кое-что и было.*

Да, б ы л о, конечно было: статья в Berner Tagwacht, подписанная К. Р.: Карлу Радеку не на что угля было купить, да и забавно.)

Ну, а раз намёки были — значит, лидер думской оппозиции имеет право обвинить русское правительство в и з м е н е!

Вот она, бомба, у ног приготовлена! Теперь её понемногу приподнимая:

Да, господа, теперь вопрос о нашем законодательстве отодвинут на второй план. С э т и м правительством мы не можем вести Россию к победе! (С л е в а: «В е р - н о!») Прежде мы пробовали доказывать, что нельзя вести войну внутри страны, если вы ведёте её на фронте. Теперь, кажется, все убедились, что обращаться к н и м с доказательствами бесполезно: страх перед народом слепит им глаза, и основной задачей становится поскорее кончить войну, хотя бы вничью, чтоб только отделаться от необходимости искать народную поддержку.

Но в кого бросать бомбу? — правительство сбежало, Родзянко сбежал, царь высоко и не придёт оправдываться. Слушай же, вся Россия!

Мы говорим этому правительству: мы будем бороться с вами

— впрочем, осторожность не мешает —

всеми законными средствами, пока вы не уйдёте! (С л е в а: «П р а в и л ь н о!» «В е р н о!»)

Прямо об *измене* Блок не разрешил, но на предварительных заседаниях Милюков подхватил фразу: «либо круглые идиоты, либо изменники, выбирайте». И теперь, от плеча разнося:

И не всё ли равно для практического результата,

швырнул! полетела!!!

имеем ли мы дело с глупостью или изменой? Когда власть *сознательно предпочитает хаос* и дезорганизацию —

взорвалась!!!

— что это: ГЛУПОСТЬ или ИЗМЕНА? (С п р а в а — г н е в н ы й ш у м, к р и к и, л о м а ю т п ю п и т р ы. В ц е н т р е и с л е в а — л и к о в а н и е.)

Ведь это кинул — не социалист, который за слова не отвечает, но лидер образованных цензовых ответственных людей! Он — зря не скажет!

Когда на почве общего раздражения власти *намеренно вызывают народные вспышки* — потому что участие департамента полиции в заводских волнениях доказано —

и там разбирайся, столько же доказано, как предыдущее всё: германцы под Ригой, а петроградская полиция по оборонным заводам распускает листовки на бунт — лишь бы «спровоцировать мир»?

— что это: г л у п о с т ь или и з м е н а?? (Л и к о в а н и е и г н е в.)

(А если через 40 лет и установят архивами, как и сейчас на глаз понятно простаку, что эти бунты всего нужнее немцам, а деньги у них есть, и агенты есть, и методы такие приняты,— ну ладно, пусть тогда и понизят профессора в ранге, не сегодня.)

Вы спрашиваете: как же мы начинаем бороться во время войны? Да ведь, господа, только во время войны *они* и опасны. Поэтому во время войны и во имя войны мы с ними теперь и боремся! («Б р а в о!» Р у к о п л е с к а н и я.) *Победа над злонамеренным правительством будет равносильна выигрышу всей кампании!!* (Б у р н ы е п р о д о л ж и т е л ь н ы е р у к о п л е с к а н и я, к р о м е к р а й н и х п р а в ы х.)

Да-да, аплодируйте, а я тихо сойду на место. Аплодируйте, но вы сами ещё не понимаете, какую речь вы слышали сегодня. За ней установится

репутация штормового сигнала к революции!

Газетам запретят её, но страна чутьём угадает смысл белых мест. Страна встрепенётся, пролетит

электрическая искра по ней от ваших речей в этой белой зале. До сих пор Россия бродила ощупью во тьме. Она теряла цель. Она начинала уставать. Страну окутывали призраки. И вот Государственная Дума дала стране луч света! И уже затеплилась надежда! И стала возрождаться воля.

Это из скромности говорится: «от ваших речей». Но не от речей же правых. И не от пляски Чхеидзе и Керенского. А за вычетом — одна только речь.

Действительно, господа, моменты, подобные 1 ноября, не повторяются. Запомните дату: 1 ноября — это э р а!

И если я скажу:

Страна готова признать в вас своих вождей,

то, за вычетом, понимайте: признать вождём — меня.

А с правительством, после *измены*, больше не о чем говорить.

Итак, с парламентской трибуны открыто объявлено, что монарх этой страны — изменник и состоит в сговоре с воюющим врагом. Какая же карающая десница завтра упадёт на голову клеветника?

А никакая.

Какой гром разразится над ней?

А никакой. Ведь давно уже привыкли, что общество недовольно, что общество нападает, — и сочтено хорошим тоном не унижаться до ответов.

Но если под основание трона вмесили глину *измены*, а молния не ударяет, — то трон уже и поплыл.

(Окончание следует)



НИКОЛАЙ КОЛМОГОРОВ



ШУМЯТ ГОЛОСА ПОКОЛЕНИЙ

* * *

Малые тропы знают большую дорогу,
твердые горы становятся мелким песком.
Так постепенно, таинственно и понемногу,
движется время почти незаметным шажком.
Я позабыл, как сидел на коленях у дёда
нежным ребенком в тумане начальных годов.
Я позабуду, о чем протекает беседа
нынешних дней, современников и городов.
Движется время! Шумят голоса поколений:
князь перед битвой
полки ободряет свои.
Маршал склонился над дымною картой сражений,
а космонавт —
над плывущим овалом Земли...
Место всему!
Но откроются звездные створы,
кончится жизнь... и увижу я сон дорогой,
как поднимаются твердые острые горы,
как рассыпаются
мелкою пылью седой.

КОЛМОГОРОВ Николай Иванович родился в 1948 году в Кемерове. Служил в армии, работал на различных работах, в том числе и журналистом. Окончил Высшие литературные курсы. Автор пяти книг стихотворений, вышедших в Кемерове и Москве. Член Союза писателей СССР. Живет в Кемерове.

В жгучей пустыне, в гремящих пургою просторах
больше не в силах поднять цепенеющих век,
снова я вспомню хороших людей, о которых
не рассказал
за один человеческий век!..

* * *

Я ехал ночью на коне
вдоль лесополосы, проселком,
и по-над степью, в глубине,
луна сияла над околком.
Оплывший, одинокий холм
темнел таинственно, сутуло.
И что-то светлое на нем
виднелось и к себе тянуло.
Поводья тронул я, и вот
стою на травяной вершине.
Широк июньский небосвод
и веет запахом полыни.
И, освещенные луной,
на обелиске невысоком
полны особой тишиной
слова о прошлом, о далеком...
Здесь красные бойцы врагу
в бою
не уступили пяди!
Здесь белые ряды во мглу
сошли святого дела ради!
Не поделив родной земли,
не кончив яростного спора,
и те, и эти полегли
в полынь великого простора!..
Россия-мать, пришла пора
понять пути и тех, и этих,
коль вечно заповедь добра
живет на милосердном свете.
Ведь каждый из твоих сынов
за дымкой лет, за расстояньем
принес тебе свою любовь —
кто щедрой кровью,
кто изгнаньем!..

* * *

Мой дом деревянный на взгорке
с зеленым двором в глубину,
дай снова оконные створки
ударом руки распахну!
Пусть ветром надуются шторы
и густо текут синевой
распадки, увалы, угоры,
тайга и туман луговой!..
Вчера, на закате широком,
когда пламенел окоем,
бродил я по этим дорогам
с вечернею тенью вдвоем.
И глядя на тихие дали,
почти что прощался с рекой,
в какой-то кромешной печали,
в печали какой-то слепой...
Но утро! — и заново всюду
дробится и тянется свет
и гонит ночную остуду
таежному мраку вослед.
Серебряный верх косогора,
где мокро в траве от росы,
открылся в средине простора
куском потаенной красы!..
Не так ли срединою жизни
мне только коснуться дано
бессмертного духа отчизны,
влетевшего в это окно?
Из ясных глубин поднебесья
не он ли донесся, как ток,—
гармонии и равновесья
утраченный сердцем
восторг?!

***

* * *

О, если тьма не поборола свет,
так значит — совесть не сошла на нет!
и значит — в том-то и была судьба,
что наша боль
перемогла себя!
Но там, где речи всех временщиков

ушли в сучки на деревах веков,
там надевали деды и отцы
колючей проволоки
тяжкие венцы.
И до сих пор — этапом черных дней
идут-бредут колонны их теней,
как будто бы несут незримый крест
столетия предательств и надежд!..
А мне в моей доверчивой стране
как объяснить и сыну, и жене,
что это ради братства и любви
стоят все наши камни на крови?
Что в эпохальных перекрытьях рек
не затерялся винтик-человек,
когда тепло и жилы наших рук
на пятилетки мерили вокруг?
Но решето передовых идей
глядит глазами брошенных детей,
и оправданья в настоящем нет,
покуда тьму не переборет свет.

* * *

Храм, не храм, а как будто бы облако,
и луга, и щетина лесов,
и следы позабытого волока
к горизонту, в страну праотцов —
вот такою, широкой и древнею,
Русь, еще открываешься ты!
И люблю над твоими деревьями
звездный ворох ночной немоты.
Знать, не знать бы, что где-то за далями
потрясен человеческий дух,
и сгибает земными печалями
столько вдов, и калек, и старух!
Но в пространстве, где плавают спутники,
и на тверди болящей земной
узел жизни, завязанный судьбами,
напитался единой виной.
Потому над равниною мглистою
нет мне радости и полноты,
и слезою своей материнскою,
Русь, еще омываешься ты.



ПОЭЗИЯ

МИХАИЛ ВИШНЯКОВ



ДОПИВАЕТСЯ ЧАША СЛАВЯНСТВА

Черный конвой

Кто за вьюгой невидим?
Может, ангел с мерзлым сердцем?
Космы вьющихся седин,
горький голос страстотерпца,
ни одной души вокруг,
только полость снеговая.
Так откуда ж этот звук,
эта пляска лиховая?
Шелест крыльев, топот ног,
скрип железный, рык утробный?
Солнца траурный венок
опускается в сугробы.
Ангел или сатана
ледяной веревкой машет?
Власть преступна, коль она
на костях народа пляшет.
На слезах и нищете
не построить храма славы.

В Соловках и Воркуте
ходит в небе ковш кровавый.
Вал метели бьет в лицо,
худшее сбывается:
поколенье мертвецов
переобувается.
Где друзья, а где враги,
поседевшие от пыток?
Где там, ангел, сапоги?
Где — присмотришься — копыта?
Так идет-бредет конвой
сквозь метель державным шагом
по Сибири снеговой.
Впереди с кровавым флагом
надзиратель из БАМлага
Лев Аронович Шамир,
черных бесов командир.

ВИШНЯКОВ Михаил Евсеевич родился в 1945 году в селе Сухайтуй Читинской области. Учился в ремесленном училище. Работал слесарем, мельником, табунщиком. Окончил Литературный институт, занимался журналистикой, был редактором Читинской студии телевидения. Автор нескольких поэтических книг. Член Союза писателей СССР.

* * *

А если взять конкретного крестьянина,
ему-то что от слов, речей, цитат?
В селе темно и путь-дорога в яминах,
дом покосился, как соседский взгляд.

В жене отпела красота весенняя,
на ферме — в телогрейке, в сапогах.
Сын старший в геологии, на севере,
и зять, муж меньшей дочери, в бегах.

Сидит мужик, дымит привычной «Астрою»,
грустят глаза от горестных примет:
погода надвигается ненастная,
жаль, выпить нет, и у соседа нет.

Возьмет газету — «Труд» или «Известия»,
а в них статьи — все те ж слова... слова.
Махнет рукой: «Эк расшумелись, бестии»,—
и плюнет, и пойдет колоть дрова.

* * *

Раскрестьянили и расказачили,
в прах вогнали по скользкой змее,
чтоб глухими, немыми, незрячими
мы бродили по нищей земле.

Где станичники наши, посельщики?
Солнце Спаса крестьянского где?
По великой Сибири рассеялись,
в трын-траве да полынь-лебеде.

Крепь мужицкая, дыблость
характера
впились в землю, как жесткая ость.

И осталась лежать за бараками
побелевшая черная кость.

В ней, зияющей, ветром
настуженной,
сон забвенья не очень глубок.
Потревоженный или разбуженный
дышит ядом змеиный клубок.

Но не яд, а слеза горько-черная
в нем шипит, как в снегу полынья.
И о чем, не поймешь, обреченная,
милосердная плачет змея.

* * *

Допивается чаша славянства.
Вымирает, как обры, народ,
покоривший такие пространства,
сам попавший в такой оборот.

Не ликуйте же, недруги-волки!
Уходя, наша древняя рать
хлопнет дверью — да так, что осколки
после нас никому не собрать.

* * *

Шумно в столице... Витии, пророки
тщатся великую славу стяжать.
Преподают нам, отсталым, уроки,
как, не посеяв, возможно пожать.

Что плюрализм, коль для вящей острастки
можно алмазы стереть в порошок.
И, застолбив кормовые участки,
помнить — кому на Руси хорошо.

Кто преуспел в правовом государстве
только свои узаконить права.
Племя элитное, барствуй и царствуй,
да не свихнется твоя голова!

Истина в том, что глубокие корни
враз обнажились, не скроешь уже:
страсти Арбата — всегда о прокорме,
думы России — всегда о душе.

Как уберечь ее? Бесы роятся,
рожки вонзают то в спину, то в бок.
Блещет отточенный клык душеядцев:
вот он, российской земли колобок!

В недрах редакций стрекочут машинки,
патока льется и капает яд.
Бунт по-московски — взлетают пушинки.
Бунт по-российски — оглобли взлетят.

Русский ум

Русский ум, ты был вечно
подсуден
все за то, что глубок и подспуден,
волен тайну немыслимой воли
сохранить, как презрение к боли.

Вьюги мира сквозили —
не выскволили.
Мы не все, что задумали,
высказали!

Было вече народов горячих,
распря глухонемых и незрячих,
бунт пространства, собравшего
силу
на одну тебя, матерь-Россия.

Столько вбито в нас,
столько растоптано
ради нового,
может, кровавого, опыта.

Русский ум, преходящий и вечный,
твоя избранность — сеча да вече,
да соборность того,
что расхристано,
что не слышно,
да все-таки истинно.

+++

* * *

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые.
Ф. Тютчев.

Пути России обозримы
с каких высот?
Расцвет Афин, паденье Рима
нас ныне ждет?

Не надо быть большим провидцем,
но вся страна
от стен столицы до провинций
потрясена.

Глаголют мертвые. Живые
не ценят хлеб.
Сей мир в минуты роковые
все так же слеп.

Все так же старики и дети
бредут на свет.
Всему есть судьи и свидетели,
прозренья нет.



Отечественный архив

«СКАЗКА — ЛОЖЬ...»

До недавнего времени массовому читателю И. С. Шмелев был почти неизвестен. К счастью, в последние годы мы получили возможность лучше познакомиться с замечательным художником, которого не зря называли «бытописателем русского благочестия». Нет сомнения, интерес к нему будет все возрастать. Как нужен нам сегодня, когда все ищут свои корни, этот писатель с его высочайшей культурой национального чувства!..

В «Окаянных днях» И. А. Бунина, в одной из февральских записей 1918 года, есть: «Вчера вечером у Т. Разговор, конечно, все о том же — о том, что творится. Все ужасались, один Шмелев не сдавался, восклицал:

— Нет, я верю в русский народ».

И горькая, страшная ирония судьбы: благодушный Шмелев потерял вскоре больше, чем кто-либо из ужасавшихся. По существу, всё. Его единственный, нежно любимый сын был расстрелян в Крыму в 1921 году без суда и следствия.

У В. Н. Муромцевой-Буниной была своя версия причин обрушившейся на Шмелева трагедии: «Он (Шмелев. — Л. Б.) винит себя, винит и мать, что не настояли, чтобы он (сын. — Л. Б.) бежал один, без них. Но все дело, конечно, что у них всех троих не было физиологического отвращения к жизни с большевиками». Нет никаких оснований не доверять автору этих слов. А если так, то тем больше понесенная Шмелевым жертва, тем трагичней его судьба.

Сказка «Инородное тело», написанная осенью 1919 года, тогда же, когда и «Сладкий мужик», «Степное чудо», другие произведения подобного рода, дает представление о мироощущении писателя в ту пору, когда он еще надеялся на общее «выздоровление» — благоприятный для обеих сторон исход событий. Хотя, конечно, тут были и оттенки.

«Сладкий мужик» — анекдотичная история о том, как писателя-народника угробил мужик из рафинада, присланный в подарок скептически настроенным читателем («У меня большой сахарный завод, но ваш больше...»). Эта ирония над интеллигентскими иллюзиями (как знать, не смеялся ли тут автор и над самим собой?), впрочем, покажется умеренной и даже подслащенной, если сравнить рассказ с тем, что позже было написано Шмелевым по крымским впечатлениям.

В «Степном чуде» писатель рисовал аллегорическую картину: умирает в овраге раненная детьми-бандитами русская красавица, гигантша баба. И хотя это оказывалось только сном героя, а во сне все заканчивалось относительно благополучно: спешат спасать, поднимать Россию и мужик, и солдат, и рабочий, — однако несколько темных мазков писатель здесь успел положить.

В «Инородном теле» у Шмелева нет ни иронии, ни намека на трагизм. Тут все пребывает в стихии юмора. Кстати, отсутствием горечи «Инородное тело» отличается от лесковского сказа, к которому очень близко в других отношениях.

Можно не сомневаться, что раньше это произведение рассматривалось бы у нас как свидетельство политической близорукости автора (другие его вещи так и оценивались), за границей же русские критики (в частности В. Ладыженский) находили сказки Шмелева пророческими. Что сказать на это? В 1919 году один из персонажей явно поспешил с заключением: «Рецидива не будет!» Зато сегодня знание национального характера и здравый смысл — тот самый здравый смысл, о котором мы привыкли говорить не иначе как с презрением, но без которого, оказывается, тоже плохо, — делают эту сказку почти злободневной.

Впервые «Инородное тело» было опубликовано в газете «Таврический голос», выходившей в Симферополе, 25 декабря 1919 года и с тех пор у нас не переиздавалось, а за границей в другой редакции — лишь однажды, в сборнике «Степное чудо» (Париж, 1927), где сюжет сказки не претерпел существенных изменений, но появились новые детали: еще больше обрусел Карл Карлыч, стал Карлом Иванычем, англичанин получил многоговорящее имя — мастер Тайм и т. п. «Инородное тело» — малоизвестное произведение Шмелева. Даже такой глубокий исследователь его творчества, как И. А. Ильин, цитируя сказки,

допускал неточность, если, конечно, не имел в виду какую-нибудь третью редакцию. «Не имею права. У нас теперь прикосновение личности», — Ильин пишет, что это «говорил комиссар женщине, жалующейся на незаконный обыск». Ни в газете, ни в парижском сборнике ничего подобного у Шмелева нет.

Ниже печатается газетный вариант сказки. К сожалению, единственный экземпляр «Таврического голоса», который удалось обнаружить (хранится в Алуштинском литературно-мемориальном музее С. Н. Сергеева-Ценского — КП 10309, МБ 6437), местами поврежден. Утраченный текст обозначен отточием в квадратных скобках, восстановленный и предположительно возможный дан курсивом.

Правописание приближено к современному.

Людмила БОРИСОВА,
кандидат филологических наук.
г. Симферополь.

ИВАН ШМЕЛЕВ

ИНОРОДНОЕ ТЕЛО

СКАЗКА

Жила в городе Городище вдова-мещанка, на торг калачи пекла. Капитала калачами не наживешь, понятно,— так, копеечка за копеечку цепляется, — ну и вдова та, — а звали ее Матрена Ивановна, — в банку денежки не носила, а домишко-дворишко свой обстроила не хуже людей. И амбар под железо вывела, и все такое. И банька у ней была — только купцам париться. И коровка была, и поросенка на Рождество колола, и птицы было довольно всякой. Ну, прямо — полная чаша. Как гость заезжий какой в Городище объявится, так уж и знает: у Матрены Ивановны сыт будешь. Год за годком — и баранками занялась, по округе торговцы брали.

Соседи даже завидовали:

— Как Матрена-то Ивановна расползается! Скоро и в банку почнет носить. Вот те и вдова! А потому ее муж покойник шибко пужал! За битого-то двух небитых дают.

А сосед-торговец зубы натачивал:

— Как бы мои баранки не завертелись! У ей мука-то загодя закуплена. Да и парнишка у нее какой стал шустрый: то все босиком бегал, а теперь вон лаковые сапоги завел.

А парнишка у Матрены Ивановны — Ванюшкой звали — и впрямь шустрей да шустрей становился. То муку дешевле других закупит, то новые какие баранки, сахарные там, объявит...

А Матрена Ивановна радуется и думает:

«И на медны деньги учился, а на-ко-ся! Будут детки — и наукам обучит, не хуже благородных будут».

С добрым человеком разговорится — обязательно Ванюшку начнет хвалить:

— Мой-то Ванюшка... уж и почтительный, уж и уважительный. Карактер-то у него больно простой, в меня.

С батюшкой как-то:

— Вот, батюшка, посоветоваться хочу. Ванюшка-то мой все энтот... вот колесо-то вертючее?.. вилсипед купить ладит. Купи и купи! И все-то корит: я тебе и сахарны баранки придумал, а ты мне удовольствия не желаешь доставить! А я думаю — завертится он на этом колесе, от дела отобьется...

А батюшка и говорит:

— И ни в каком случае! Обязательно завертится, да еще и ноги переломает или кого подшибет. И не покупайте, Матрена Ивановна. Лучше книжку какую духовно-нравственную или даже музыкальный инструмент!

— И ни за что не куплю! Чего выдумал — вилсипед! Там, как помру, все капиталы оставлю — хошь летуна покупай. А покуда жива... Да он себе обязательно головешку рассодит... больно шустрый!

Осерчал Ванюшка, что ему колеса не покупают,— три дни на торг с калачами не выходил и теста не закручивал. Сама Матрена Ивановна хлопотала. А Ванюшка лежит на лавке и в потолок плюет.

— Змей ты, змей! — говорит Матрена Ивановна. — Я ль тебя не родила, я ль тебя не носила, уму-разуму не учила! а теперь на старости лет самой на торг выходить приходится. Бога-то побойся, змей! Вон Никола-то Угодник все-о видит, твои коленца-то! Мать-то хошь издыхай, а ему все проклятое колесо надоть! Ну, я лучше тебе пятерку на праздник подарю и гармонью новую куплю, позвончей.

— Ма-ло!

— Да чучело ты *гороховое, мать-то* хошь бы пожалел. *Тесто не* кручено, — ну, чего *мне на* торг везти? Людям *хочется* баранков? И кто *тебя* [...] окаянному обучил! [...]

— Помещичий сын, *вот* кто! — говорит *Ванюшка. — Он катает,* и я хочу!

— Да помещиций-то *сын — дурак* набитый! — говорит Матрена *Ивановна.* — Он отцовское проедает, *на* колесе крутится. Тольки и *дела,* вот как все просвистит — *с голоду* и подохнет. А ты-то *у-мнай,* у-мнай, готовенького-то у *нас немного,* на черный день. *Может, детки* твои побогачей будут — *им и купишь.* Жалеючи тебя говорю, *ежели* все на колеса на эти *посядут,* кто ж тогда баранки-то *вертеть будет?* Ну, все с голоду и помрут.

— А мне наплевать! — говорит Ванюшка.— Ну ладно. Ты мне *ето,* хучь гармофон купи. У *часовщика* подержанный есть, здорово больно «По улице мостовой» играет.

— Ну, уж куплю, Бог с тобой,— говорит Матрена Ивановна со слезами.— Тесто-то иди — закручивай.

Прознал про то сосед, что зубы на Матрену Ивановну натачивал. Вот и зазывает Ванюшку в гости.

— У меня, — говорит, — есть вилсипед. Ты хоть у меня по саду покатаешься. Больно парень ты хороший, душа радуется.

А Ванюшка и рад. Подошел праздник, к торговцу — шмыг!

— Давай колесо кататься!

— Ка-тай — валяй!

Сел Ванюшка на колесо, крутил, крутил по саду... А торговец пиво себе попивает да думу думает, как бы ему механику подвесть. Вдруг — кррак! Колесо-то и поломал Ванюшка, да головой-то на сук! Два часа без памяти провалялся. А торговец сейчас колесо свое доломал, кусты подергал, пивом Ванюшку отпоил и говорит:

— За колесо ты мне после заплатишь, как мать помрет,— тысячу рублей. За кусты — ишь, сколько навалял, — две, потому апельсины на них росли. Подписывай бумагу, а то к матери сволоку. Ты без памяти был от закружения, а мне убыток. Подписывай, не стыдись!

Подмахнул Ванюшка бумагу — когда еще платить придется! Все передышка. А торговец и говорит (Бог его знает, какого он был сословия, а звали его Карл Карлыч):

— Д-да, строгая у тебя мамаша, и, значит, колеса тебе не видать. Колесо-то она кому другому купит.

— Это кому ж купит? — спрашивает Ванюшка, а сам все голову потирает.

— Известно, кому. Как махонький ты был, она все с помещиком путалась. Два сынка от ней на стороне содержатся. А ты хоть и законный, а колеса тебе не видать!

Так Ванюшка и закипел:

— Да я ее, такую-сякую... *душу* вытрясу!

А тот-то ему угольков *подкидывает:*

— Она им эна еще когда *по колесу* купила да учителям *сколь* платит! Они и икорку кушают, потому благородного звания. А *тут ты* еще с колесом! Она, *небось, тебя* и к капиталам не *подпустит. А* ты требуй с ее отчет — *и никаких!*

— И потребую! — так и орет *Ванюшка,* а в глазах все *колесо крутится:* здорово на сук налетел!

— Ты на братцев-*приблудней* стараешься, сколько, чай, *поту* пролил, а она тебе [...] *к* празднику-то пятерочку?

— Да, стерьва, *пятерочку!*

— А им-то по *четвертному перевела.* Мне почтовый *чиновник сказывал.* Потому они *барской крови,* от помещика!

Как вскинется *Ванюшка.*

— Да я им *головы оторву!*—кричит.— У меня... открылся!

А тот-то его накаливает:

— *Они* на твоих колесах *крутятся, а ты* и в праздник на торг *иди. Вот* она, правда-то!

— *А вот* покажу я ей кузькину *мать!*

Карл Карлыч и говорит:

— *Есть* у меня на примете *человек один.* Его хоть и из *училища выгнали,* а умней учителя будет. ...правды добивается, за то и *выгнали.* Могу и адресок дать.

— Обязательно давайте! Мне *теперь всякое* слово нужно! Ну, и [...] баранков!

Сейчас к умному человеку, *которого* из училища выгнали. А тот *и* говорит:

— Меня жизнь тоже ущемила. Из училища меня выгнали за мой *язык,* что учителей дураками *называл.* А почтенные мои родители сами капитал прожрали, а я на мели сиди! А желудок родили мне для деликатной пищи. Я теперь всех алчущих и жаждущих понимаю. Там икорку едят, а ты в конуре сиди?! Где правда? И пусть весь мир провалится, а мне чтобы подали сюда правду! Я тоже икры хочу!

Даже пожалел его Ванюшка:

— Иди к нам баранки вертеть. У нас по праздникам и икра бывает, а свинина не переводится. Можешь до хорошего жалованья дослужиться.

А тот даже обиделся.

— Мое призвание, — говорит, — не баранки дурацкие вертеть, а мир перевернуть! чтобы все при капитале были! У меня и книга такая есть.

Ванюшка и глаза выпучил.

— Да как же, — говорит, — все могут при капитале быть? Да на это никаких капиталов не хватит!

— Взять да и поделить! Должно хватить!

— Да тогда вся и торговля кончится! — осерчал Ванюшка. — Я первый разорюсь!

— Ничего ты, дурак, не понимаешь! — говорит умный человек, которого из училища выгнали.— Ты сперва мою книжку прочитай. Там так и сказано: бери капиталы, а то забастовка — и головы долой!

Да как начал выкладывать, — у Ванюшки и так в голове вертелось, а тут и вовсе закрутилось во всех мозгах.

— У каждого будет миллион! — говорит умный человек.— И работать никто не будет, а все машинами. Даже и Бога нет! А человек родился от обезьяны — ученый дознал, Дарвун называется! Я это тебе потом объясню по пунктам, а теперь начинай действовать, правду дознавать. А я к тебе перееду, советами тебя направлять. Действуй!

И начал Ванюшка действовать.

Пришел к матери и кричит:

— Отчет в капиталах подавай, такая-сякая! Знаю про твоих щенят приблудных!

Так Матрена Ивановна и ахнула!

— Ай ты сбесился?! Где ты, беспутная голова, нализался, даже кровь на морде?! Да я тебя за такие слова...

А Ванюшка и себя не помнит:

— Нет, уж теперь я тебя!

Схватил кочережку да Матрену Ивановну по темени — кок! Так *глаза* и закатила. Хорошо еще, *косу* на темени закручивала, а то *бы смерть.* А сам к шкатулке *ейной.* Выгреб все денежки, *а там* — всего-то четыре тысячи!

[...] — кричит. — По моему *счету,* сто обязательно выходило... [...] она своим чертям [...] порассовала!

[...] а за образами одна [...]

— *Всех* богов сдеру!

[...] сундуки *растревожил, клубки* раскатал — не в *них ли? ниток* столько напутал, что и сам запутался! А капиталов нет.

А Матрена Ивановна на кухне без памяти валяется. А Ванюшка пуще да пуще лютует: все у него мозги будто огнем палит. Прибежал на кухню, как Матрену Ивановну поленом по ногам трахнет — она и очкнулась.

— Ага! меня, такая-сякая, в черном теле держала, а приблудням своим учителям платила! Документы счас давай, а то голову оторву! И всех твоих богов покидаю куда ни след!

Да как ухватит Матрену Великомученицу да Ивана Богослова, ангела своего, — так Матрена Ивановна и завизжала:

— Прокляну, черт чумелый! Не смей!!

Как шваркнет Ванюшка об стену, так на щепки и разлетелись. Ухватил Матрену Ивановну за горло, рычит — глаза выпучил:

— Милли-ены подавай счас, сякая-разэдакая, а то счас дом спалю! У меня теперь все мозги открылись! И Бога нет настоящего... тот-этот Дарвун сказал, который от обезьяны родился! Нет на меня страху теперь, всех убивать почну!

Схватилась Матрена Ивановна — да из дому, а Ванюшка за ней. Да запутался в клубках-нитках — упал. А Матрена Ивановна выкатилась, простоволосая, в голос воет — да к приставу:

— Ваше благородие, защитите! Ванюшка-то у меня сбесился! Меня кочережкой... деньги порвал... все образа поскидывал!..

А пристав и говорит:

— Мы для наружного беспорядка, а не для внутреннего.

— Да он мне какое прикосновение-то сделал, извольте досмотреть! — плачет Матрена Ивановна — разливается.

А пристав и разговаривать не стал:

— В частном доме полиция не причастна. Потому — конституция.

Завыла Матрена Ивановна — ни суда, ни закона. Бредет незнамо куда, а соседи выбежали, кричат:

— Чего у тебя Ванюшка-то куролесит? Всех кур передушил, с ножом за поросенком гоняет! Всем головы долой! — орет. Обязательно связать его надо! Рехнулся он у тебя, мать моя, рехнулся!

А Матрена Ивановна заливается:

— Уж так-то рехнулся... всех угодников на лучину поколол, мать родную кочережкой чуть не убил — ограбил! Все про каких-то щенят

приблудных долдонит. Жила я, честная вдова, на людях, сладости не видала, только на Ванюшечку и радовалась. Вот, думала, двадцать годочков стукнет — сдам ему дела-капиталы, а сама на спокой. В монастырь, матушка, сбиралась... в монасты-ырь! А он на́ поди! С больным-то теперь маяться! Ведь залечут его докторя-то... залечут! А денег-то, денег-то что переберу-ут! Ведь закладываться придется...

— Уж и перебе-рут, Матрена Ивановна, переберу-ут!

А Ванюшка-то орет за забором как резаный:

— Подавай права-капиталы, а то счас дом спалю!

— Ма-атушки мои! — как всплеснет Матрена Ивановна руками. — Дом-от не застрахован! По миру, подлец, пустит!

А тут знакомый бутошник и идет.

— Сидорыч, родной! Мой-то что вытворяет! С ума сшел, уйми ты его, голубчик! Утром еще в себе был, а вот посетил Господь — тронулся!

А Ванюшка-то со двора орет:

— Я тебе такую лиминацию устрою! И корову зарежу!

Прослушал Сидорыч такие речи и говорит:

— Грозится пожарное отношение. Стало быть, я даже по закону обязан с им поступить!

И — во двор. А Матрена Ивановна за ним:

— К сарайчику-то его тискай! Себя-то ножиком, спаси Бог, полоснет...

— Я ево чичас... ватакую...

Навалился Сидорыч на Ванюшку горой, а тут и соседи помогли — связали. Получил Сидорыч целковый, спать пошел. А Матрена Ивановна всю ночь проплакала. Сидит над Ванюшкой, как над упокойником, — разливается. А тот в веревках лежит да всех-то лает:

— Всем чертям головы посрываю! И всех богов порешу!

А та-то его закрещивает! Наутро доктора позвала — пришел. В глаза поглядел, голову Ванюшке пощупал и говорит:

— Дело сурьезное, в острой форме!

Матрена Ивановна так и села:

— Вострой?! Неуж зарежется?!

А доктор и говорит: *

Промаялась Матрена Ивановна с месяц — все лучше нет! Ей и присоветовал батюшка:

— И молились мы, и кропились — значит, в наказание ниспослано. Попытайтесь столичное светило науки пригласить. Есть очень достопримечательный доктор, даже и архиереев пользует. Попытайте! Правда, английского происхождения — сэр Джон называется, но как по благодати пользует! А уж если и этот не поможет... стало быть, бесы избрали бренное тело Ванюшки вашего себе жилищем. Тогда будем молиться о безболезненной кончине. И наука предел имеет!

Нечего делать, пришлось Матрене Ивановне англичанина выписывать. Тысячу рублей потребовал за визит, — приезжайте! Ну, приезжает с подходящим снарядом, как ему по его науке полагается. Уж и стро-гой! А Матрена Ивановна на него как на Иверскую глядит. Осмотрел Ванюшку с головы, в темечко молоточком постучал, в трубочку поглядел и говорит через зубы:

— Йес!

— Есть?! — так и всплеснула Матрена Ивановна. — И батюшка-то тоже, слово в слово: вселились **они** в ево, вселились!

А тот опять через зубы цедит:

— Ино-род-ное те-ло!

— Помрет?! — испугалась Матрена Ивановна.

А доктор на нее пальцем — погодите. И цедит:

* Реплика доктора в газетном тексте пропущена (примеч. публикаторов).

— Ино-род-ное те-ло! Случай о-чень редкий! Французская...

— Французская?! — так и обомлела Матрена Ивановна, а англичанин ей строго:

— Дайте сказать! Французская... наука имела дело... с подобным пациентом... в 1789 году и дальше... но там болезнь протекала не так бурно и кончилась полным выздоровлением. Йес! А тут вмешалось ино-род-ное те-ло, это ясно! И потому неизбежно хирур-ги-ческое вме-ша-тельство!

Упала Матрена Ивановна англичанину в ноги, как на икону взирает.

— Помешался, батюшка, помешался! Ослобони ты его от **них**... денно-нощно Бога за тебя молить буду, в поминаньице запишу!..

Позвал англичанин для помоги русского доктора. Дал Ванюшке сонного спирта понюхать — тот и зашелся. Снял Ванюшкину черепушку, щелкнул языком и показывает русскому пальцем в мозги:

— А что я говорил?! Вон оно, инородное-то тело!

Да щипцами и выхватил... здоровеннейшую занозу! да гнилую!

Так русский доктор и ахнул:

— Да как же его угораздило... в такое место?!

Даже и англичанин развел руками.

— А уж как уго-раз-дило... — говорит, — об этом надо спросить того, кто ее туда угораздил. Одно могу сказать, что этот... как это?.. Ваню-точка... обладает выносливостью... как это?.. ну это... что стоит! ну... телеграф!

— Столб? — русский-то ему.

— Ну... да! только надо бы! Да, бревно! Месяц жить с таким ино-род-ным телом и не... как это?

— Умереть?

— Нет! Крепче, крепче! по-русски!

— Околеть? сдохиуть?!

— Вот, йес! Сдо-хнуть! Йес! это вынос-ливость! Надо показать его на всемирном конгрессе!

Накрыл черепушку, кожу зашил, Ванюшку за нос потряс — вставай, чудо!

Открыл Ванюшка глаза — и ноги с койки!

— Баранки на торг везти!

А англичанин его и придержал:

— Пого-дите, молодой человек! — да строго так. — Вам нужно еще лекарство!

Порылся в чемодане, достал книжку в сафьяновом переплете, стукнул Ванюшку в голову костяным пальцем и прочитал:

— Чти отца твоего и матерь твою, и да благо тебе будет!

Да в темечко-то пальцем! А Ванюшка только глазами хлопает. А англичанин дальше читать:

— Не сотвори себе кумира, елика...

— Знаю! — говорит Ванюшка. — Елика на горе под землею!

А тот все пальцем.

— Не убий! Не укради! Не пожелай дому ближнего твоего!

Да в темечко все, в темечко! Ванюшка, было, опять ноги с койки:

— Пущай, баранки время вертеть!

А англичанин опять его придержал:

— Ти-ше, ти-ше, молодой человек! И баранки будут. Я вам общее лекарство дал, а теперь и свое примите.

А Матрена Ивановна от радости и ног не чует, поддакивает:

— Так его, батюшка... хорошенечко! Долби ты ему хорошенечко в пустую башку! Неучень, совсем неучень! На медны деньги пономари учили...

Вынул англичанин из чемодана еще книжечку и говорит:

— А это ваш русский народ придумал... умный народ, который весь

никогда с ума не сходит. — И начал: — Не все то золото, что блестит!

Насупился Ванюша, слушает.

— Тише едешь — дальше будешь!

— Знаю! — говорит Ванюшка, ногу одну спустил.

— Пила бы лиса молоко, да рыло коротко!

— Ну, еще чево?

— А еще? А вот: семь раз примерь, да один отрежь!

— Да зна-ю! — даже закричал Ванюшка, а англичанин погрозил пальцем и начитывает:

— Без труда не вытащишь и рыбки из пруда!

— Да все зна-ю! — скривил рот Ванюшка — вот заревет.

А Матрена Ивановна приговаривает:

— Хорошенечко его, ваше превосходительство! Поучите вы его уму-разуму!

А англичанин свое:

— На чужой каравай рот не разевай, а пораньше вставай да свой затирай!

— Да ну вас, знаю! — так и взревел Ванюшка — и ноги с койки долой. — Мне тесто затирать время!

А тот-то его зачитывает!

— И близок локоть, да не укусишь, молодой человек! Глядите, что вы с вашим хозяйством сделали! и какое огорчение почтеннейшей вашей матушке доставили!

Ощерился англичанин, показал желтые лошадиные зубы — и по головке погладил.

— И... последняя: быль молодцу не укор! Гу-ляй!

Как вскочит Ванюшка да к квашне, — и давай! А англичанин полистал-полистал книжечку, нашел что нужно и заулыбался, ощерился:

— А теперь, мадам, самая умная пословица: сухая ложка и рот дерет!

А Матрена Ивановна сейчас ему в руку — да самыми настоящими золотыми!

— В другой раз ежели чего, уж не оставьте, ваше превосходительство! Уж так-то намаялась...

Пересмотрел англичанин золотые, перестукал, пересчитал и опустил гонорар в кожаный кошель. Набил трубочку, закурил и говорит:

— Будьте, мадам, покойны. Рецидива не будет.

Забрал чемоданы и уехал.

Алушта. Октябрь 1919 г.

Публикация Л. БОРИСОВОЙ и В. ЦЫГАННИКА.

Сохранился в Алуште дом, купленный И. С. Шмелевым в 1920 году, памятный по книге «Солнце мертвых», ставший свидетелем трагических событий братоубийственной гражданской войны и красного террора, свидетелем мучительных раздумий Шмелева о судьбе России и его творческих поисков, ставший последним пристанищем писателя на родной земле перед его отъездом в эмиграцию в 1922 году. В этом доме предполагается создать музей И. С. Шмелева, в стенах которого могли бы сосредоточиться исследования творчества писателя и литературы русского зарубежья. С этой целью открыт специальный счет — № 142425 Отдела культуры Жилсоцбанка г. Алушты, МФО банка 324032, код г. Алушты 334270.



ПОЭЗИЯ

ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ



НОВЫЕ СТИХИ

Жернова

Порхов. Остатки плотины. Трава.
Камни торчат из травы — жернова.
Здесь, на Шелони, забыть
не дано,—
мельница мерно молола зерно.
Мерно и мудро трудилась вода.
Вал рокотал и вибрировал пол.
Мельник — ржаная
торчком борода —
белый, как дух, восходил
на престол.
Там, наверху, где дощатый помост,
хлебушком он загружал бункерок
и, осенив свою душу и мозг
знаменьем крестным,— работал
урок.
...Мне и тогда, и нередко теперь
мнится под грохот весенней воды:
старая мельница —
сумрачный зверь —
все еще дышит, свершая труды.
Слышу, как рушат ее жернова
зерен заморских чарующий крик.
Так, разрыхляя чужие слова,
в муках рождается русский язык.
...Пенятся воды, трепещет каркас,
ось изнывает, припудрена грусть.
Все перемелется: Энгельс и Маркс,
Черчилль и Рузвельт —
останется Русь.
Не потому, что для нас она мать,—
просто не выбраны в шахте пласты.
Просто трудней на Голгофу
вздымать
восьмиконечные наши кресты.

* * *

«Блаженны милостивые...»

Собранье лиц. Сидячая толпа.
Кипенье честолюбий. Битва в зале.
И вдруг один — с фамилией «раба» —
призвал людей, чтоб эти люди — встали.

Почтить вставаньем, выкрикнуть «уря»
нам не впервой — натасканы эпохой.
Но чтобы... убиенного царя
почтить вставаньем?! — Многим стало плохо.

Зал онемел. Зал очумел в бою.
Зал похудел. И — сделался рассеян...
А «раб»: «И убиенную семью...
отроковиц невинных... Алексея!»

И вот с большим трудом, но там и сям,
с зубовным скрежетом, душевным воем,
как бы привинченные догмою к местам,
вздымались люди... Месиво живое

ломалось на отдельные миры.
И вот, кто встал, смятенных глаз не прятал.
С ума сошли? Нет, сделались добры.
Пускай на миг, но — приобщились правды.

Не осуждайте милости слепой,
как не гасите вспыхнувших улыбок...
Поднявшимся — впервые — над собой
скажите покаянное... спасибо.

Другая дорога

Я видел однажды в укромном месте
забытого тракта булыжные сны...
Никто по дороге этой не ездил
с времен гражданской войны.

Ее заглушили жадные травы,
деревья над ней — решеткой
ветвей,—
потому что телега нашей державы
однажды взяла левей.

А там — болото. Там кровь живая.
Возница — в Бога! Увязли, факт...

...Не знаю, куда заведет кривая,—
знаю, помню булыжный тракт.

Там пахло светом, там пели гусли.
Там слово было, как на меду...
Однажды ночью туда вернусь я
и старой дорогой пойду.

Туда, в святое, к родному дому,
где храм взывает, гудит пчела,
туда, где небо, как синий омут,
куда русалка звала...

* * *

Предзимье. Кладбище раздето.
Умри — свободных нету мест.
Беда: на днях с могилы деда
архаровцы стянули крест!
Не сшибли весело от скуки —
изъяли... Молча, без следа.
Переместили. Чьи-то внуки.
Беда? Подумаешь, беда.
Оно и впрямь: ничто не вечно.
Но без креста — могилы нет.
Пришлось в подзол втыкать
дощечку,
писать расписку: здесь мой дед.
...Уймись, печаль, накройся снегом.
Судьбу, дружок, не прокляни.
И все же, братцы, с человеком
что происходит в наши дни?
И мы гуляли не уныло,
вдрызг пропивались, до креста!
Но чтобы так... до крестной силы,
дотла, до глубины могилы —
плевать в распятого Христа?!
Что с нами будет, господа?..

Радуйтесь

В городе тесном, промозглом, морозном,
в темных его подворотнях и нишах —
как я устал продвигаться сквозь воздух
существованья,
безбожьем унижен.

Как измочалено сердце неверьем
на поворотах в обратное, в то же,
что уже было — в унылые двери,
в дыры присутствий и в ямы ничтожеств.

Мозг стекленеет, смерзаются мысли.
Гаснут восторги конструкции чуткой.
Все ж и тогда — на окраине жизни —
мы уповать продолжаем на Чудо.

...Сад. За оградой, сквозь искристый иней,—
свет из-под свода отверстого храма.
Может, заглянем? Душа в паутине...
Радуйтесь, грустные дети Адама!

Грезится пение... Плавятся свечи.
Мир небывалый! Без хама и позы.
Как я устал, если выплакать нечем
холод отчаянья... Где мои слезы?

Плачет непознанный голос о Благе.
Скачет Георгий — заоблачный витязь.
Лики исполнены смертной отваги.
«Радуйтесь, скушные, и — веселитесь!»

Ветер с моря

Ветер с моря — усталость
из сердца.
Возносящая бодрость — под плащ!
Рокот волн, как язык иноверца,—
непонятен, но свеж и манящ.

Пахнет Швецией, той стороною.
Ветер с моря... Оборвана нить.
Время — верить! Затылком?
Спиною?
Чем угодно! Но — только не ныть.

...А назавтра уляжется ветер.
Станет сердцу тесней, но теплей.
И потянет на смутном рассвете
тишиной от родимых полей.

Тишиной и господнею силой —
от кержацких могил и пустынь,
от священных развалин России,
уходящих в небесную синь...

Асфальт под снегом

Земля под снегом — то, что надо.
Асфальт под снегом — вздор
и грусть.
Во всяком случае — досада...
Я пояснить сие берусь.

Так где-нибудь на стыке
наций,
в песках дремучих иль снегах
порой — былых цивилизаций —
мы обнаруживаем прах.

Вот храма выстраданный камень,
вот черепок... Бассейна дно.
То, что содеяно руками, —
игрой стихий погребено.

Асфальт под снегом... Есть,
по слухам,
во льдах гренландских самолет —
как в янтаре прозрачном муха,
в нем — замурованный пилот.

Он — экспонат. Он — столкновенье
стихий, субстанций... Лед и ртуть!
И солнца луч с недоуменьем
ему ощупывает грудь...

* * *

За что люблю я Землю?
За неровность
ее рельефа:
за крутые берега,
внезапные овраги, ниши, прорвы,
могильные холмы, душистые
стога,—
за всю непредсказуемость пейзажа!
...А как же — эго?
Свет духовной мглы —
любовь людская? Божеская...
как же?
И — за ее провалы и углы!
За смену лиц, за череду обличий,
физиономий, морд, угрюмых рыл...
Особенно люблю небесных птичек.
Червей беспомощных.
Задумчивых горилл.
Развалины духовности вчерашней.
И — дерево, как церковь,—
на скале...
За что люблю я Землю?
За бесстрашье —
лететь и жить
в единственном числе.

* * *

«Читатели газет — глотатели пустот».
М. И. Цветаева.

Мысленно, в который раз —
на душу — противогаз!
Ртом ловлю утробный воздух,
холодком стеклю глаза,
затыкаю уши, ноздри,
чтоб не слышать словеса
времени,
унылых прений,
дабы рабски не вдыхать
ядовитых испарений,
дабы пашенку пахать,
перышком водить по полю,
борозду за бороздой
выводить, взрыхляя долю,
оставаясь за чертой
чертовщины, подле правды.
Мысленно... В который раз...
А на деле, Боже правый! —
как же хочется отравы,
чтобы истово, кудряво
с сатаной пуститься в пляс!



Автор перечисляет гонорар за опубликованные стихотворения в Фонд восстановления Храма Христа Спасителя.

ПОЭЗИЯ



ИГОРЬ ЛЯПИН



КРЕСТ ВОИСТИНУ ТЯЖЕЛ

Тамара

Закат, как отсвет дальнего
пожара,
Взыграл и меркнет. Дремлют
лопухи.
Идет в загон колхозная отара,
И маленькая девочка Тамара
Читает мне бессмертные стихи.

Земля покоем сумерек объята,
Седая крепость в этот тихий час
Загадочно молчит и виновато.
И холм, как голова Хаджи-Мурата,
Глядит еще угрюмее на нас.

Я думаю о маленькой Тамаре...
Как детская доверчивость светла,
Какой весенний лучик мне
подарен!
Я, как толстовский пленник,
благодарен
Судьбе, что с этой девочкой свела.

Я, издали узнав ее по платью,
Машу ей и кричу уже: —Салам!—
И мы садимся с книгой и тетрадью,
Ей радостно учить большого дядю
Таким родным, естественным
словам.

Потом тропою в поле кукурузном
Мы весело спускаемся к реке.
И с расстановкой, с толком,
жаром, чувством
Я ей читаю Пушкина на русском,
Она мне — на ингушском языке.

Река шумит прохладою осенней,
И громкий голос девочки притих,
Но взгляд горит,
как дух стихотворений,
В ее глаза уже не лягут тени,
Что здесь у всех ровесников моих.

Пред ней Кавказ, над нею небо
сине,
Ей радостно проснуться на заре,
Она от солнца щурится в долине,
Рожденная уже не на чужбине,
А на родимой дедовской земле.

Памяти Василия Шукшина

Боль уже приглушена,
А покоя нету.
Над могилой Шукшина
Размотала тишина
Жизни киноленту.

И дорога повела
Через перекрестки
По стране добра и зла
От столицы до села,
Из Москвы да в Сростки.

Отчий край, родимый кров,
Милый скрип колодца.
Жизнь идет, а мир таков,
Что до третьих петухов
Сердце разорвется.

И прольется не бальзам
Над толпою праздной.
А ворвется в кинозал,—
И как плетью по глазам,—
Цвет калины красной.

Вся душа кровоточит,
Как в остроге, строки.
Вот он в кадре сам стоит,
Будто кляп во рту забит.
По рукам — веревки.

Что случилось? Что стряслось? —
Вздох по всей России.
И во всех глазах вопрос
И сквозь слезы, и без слез:
— Кто ж тебя, Василий?!

Но опять, опять, опять,
Проклиная долю,
Станет Разин повторять:
— Я пришел вам волю дать,
Я пришел вам волю...

Жизнь была, была беда
И была дорога.
И взошла над ней звезда.
А до гласности тогда
Было, как до Бога.

Митинговый рынок

Нам и льстили и грозили,
Лезли в душу без стыда,
Смуты в наш покой вносили,
И о сущности России
Все судили и всегда.

Пересуды, перетолки...
И уже к толпе лицом
Прокричал оратор бойкий:
— Кто не в русле перестройки,—
Враг страны, в конце концов! —

Прут к трибуне журналисты
Всяких «Таймсов» и «Унит»,
Курят сдержанно таксисты,
И бушуют сионисты,
И свистит антисемит.

Демократии навалом,
Гласность прет со всех сторон,
Но студент с лицом усталым
Держит лозунг не задаром —
Он червонцем награжден.

Тут мальчишки, там девчонки,
Там мужик в плаще до пят,
Как на съемке на массовке,
Получили по пятерке
И, где сказано, шумят.

Рынок. Купля и продажа.
Крест воистину тяжел.
Но куда, скажите, дальше?
Сам застой всесильный даже
Дальше этого не шел.

Уж какая тут стихия,
Явный варварства момент.
Купля — тоже вид насилья.
А Россия? Что Россия?
Тут еще России нет.

Стихи о революции

Ветры с юга, а тучи — с востока,
Майским утром —
дыханье зимы.
Все запуталось в жизни настолько,
Что распутаем, видно, не мы.

Бог не мил нам,
и дьявол не страшен,
Красной тряпкой обвис транспарант.
В мире нашем, в отечестве нашем,
В душах наших — великий разлад.

Разделяясь на красных и белых
И сшибаясь — полки на полки,
Как мы в этих запутались бедах
И в какие зашли тупики!

Мы, отважившись строить
коммуну,
Начинали с разора страны.
И построили склеп да трибуну
У священной Кремлевской стены.

Как чумою страну заразили,
Как убогие, просим подать,
Будто не было в мире России,
Заставлявшей себя уважать.

Даже слезы от горя не льются
При звучании слова «Вставай...»
Может, хватит тебе революций,
Дорогой обескровленный край?!

Разделяясь на левых и правых,
Мы России добра не сулим,
Как и те, что в отстроенных
храмах
Поклоняются жертвам своим.

Спецназ

Словно выстрелы, строки приказа,
Эхо долгое, словно в горах.
И уходят ребята «спецназа»
В раскаленный враждой Карабах.

Бьет приказ по взводам и по
ротам,
Потому что, как видим, пока
Пресловутая дружба народов
На поверку — не очень крепка.

Потому и в долинах Кавказа,
У дунайской и волжской волны
На бесстрашных мальчишек
«спецназа»
Обращаются взоры страны.

От качания черных беретов
Строй их видится жестким, тугим.
Что напутано властью Советов,
Выпадает распутывать им.

Со своим боевым офицером,
Ощущая всю тяжесть погон,
Вот стоят они, как под прицелом,
Между двух озверевших сторон.

Все, что будет здесь,
станет судьбою.
Мир огромный напрягся, притих.
И глазами, налитыми кровью,
Обе стороны смотрят на них.

Власть Советов — пустейшая
фраза,
Если так, через семьдесят лет,
Подменяют солдатом «спецназа»
И Верховный, и местный Совет.

* * *

Вся наша жизнь — приливы да
отливы,
И есть на это множество причин.
Вдруг люди стали так
властолюбивы,
Любой холуй — готовый властелин.

И всякий жаждет стать хоть
малым кормчим,—
Добраться хоть до малых, но
рулей.
Давали руль, а в жизни, между
прочим,
Не стало ни на искорку светлей.

Но мы опять отдушину находим
В любом призыве с веским словом
«власть».
И с ребятней на улицы выходим,
По доброй воле массой становясь.

Уже гудят и площади и плацы,
Все трубы демократии трубят.
А суть одна, все та же —
самозванцы
Хватают мертвой хваткою мандат.

Прилив, отлив... И вновь пошли
напасти,
Когда же нас, безумных, осенит,
Что в этой жизни рвущееся
к власти,
Увы, благодеяний не сулит.

✦✦✦



АЛЕКСАНДР ЦУКАНОВ

«У ОБРАЗА»

(СМИРЕННЫЙ ЛИК РУССКОЙ «ВОЛЬНИЦЫ»)

«Рабство» и «бунт», «богоискательство» и «безбожие», «национализм» и «всечеловечность»... Кажется, мыслителям при подступах к сущности русского духа так никогда и не перейти от эпитетов к строгим научным категориям. Ограниченной, как свидетельствует история XX века, оказалась и последняя официальная версия «русской идеи» — народность, светское великодержавие, духовное мессианство. Русская революция с третьего захода «благополучно» раздробила триединство «идеологического монолита» и в очередной раз показала, что печальный удел мыслителя Руси — не создавать стройные теории, а оправдывать данную от Бога действительность. Но посудите, легка ли и эта задача! Российская действительность в своем свободном развитии прежде всего... консервативна до парадоксальности; и суть этой парадоксальности в том, что исторически широкая народная жизнь протекает в довольно узком идеологическом диапазоне — от свободы заточения (призвание «варягов», принятие православия) через замысловатое крепостное право к заточению в свободе (капитализм, социализм). А потому, оправдывая «свободу», неминуемо приходится оправдывать «заточение» и соответственно наоборот. Естественно, что при всегдашней российской идеологической несуразице народ, в деятельной своей части, никогда не ждал дельного рецепта от озадаченного с рождения и по гроб теоретика, народ искал сам, и часто ему удавалось «нащупать» прекрасную форму «вольницы» — прообраз будущей оправданной идеи.

Сама по себе свобода в поиске народа имеет два характерных свойства, на Руси радикально разведенные, — разрушение и созидание. О своеобразии русского бунта много уже написано и сказано, многое уже явлено. О подлинно русской форме организации свободного созидания сказано несоизмеримо мало по сравнению со «сказанным» самим народом. Эта организационная форма народного вольного созидания есть — артель. Ее оправданию и хотелось бы посвятить непритязательный исторический очерк.

Сейчас истинная сущность великорусской артели мало кому ведома. Коротка историческая память. Что ж, вольно каждому дремать в забытьи, но разумно ли вершить в беспамятстве очередной всероссийский переворот?! Верно — бывало на Руси и диво-дивное, и чудо-чудное; так ведь не из-за моря оно прилетало, а из простого дела рождалось, и проще артели на Руси в организации дела не было ничего. И от простоты и понятности, а главное — по справедливости и чести, артельность в той или иной мере охватывала практически всю народную хозяйственную жизнь — от производства до потребления.

В «Советском энциклопедическом словаре» об артели — три строчки, но, заглянув хотя бы в «Словарь Брокгауза и Ефрона», легко убедиться в том, что всего каких-нибудь лет сто назад существовали в России артели промысловые (рыбный, тюлений, моржовый, китовый и пр. промыслы), охотничьи артели, артели по ловле соколов и кречетов, артели сбора таможенных пошлин, биржевые артели, грузчиков-дрягилей, артели каменщицкие, плотницкие, артели кузнецов, извозчиков, чернорабочих, артели бортников, артели арендаторов земли, косарей, артели старателей, землекопов, бурлаков, артели ямщиков, лодочников, артели нищих, артели лирников, батальонные артели, артели кредитные, страховые, банковские, артели харчевые, квартирные, артели сырьевые, солепромышленные, извозно-промышленные, горнозаводские, иконописные артели, артели крестьянских оркестров, праздничные молодежные артели-«складки» и прочие, прочие, прочие... Но, пожалуй, труднее, чем перечислить виды российских артелей, отыскать ту отрасль, где бы артельный труд не применялся. А если учесть, что к революции, в «эпоху» наивысшего капиталистического развития, пролетариата (наемных рабочих) едва набиралось несколько процентов от всего российского населения (в 1913 г. — 14,6% вместе с семьями, а в XIX веке — чуть ли не на порядок меньше), то становится очевидным, что в дореволюционной России промышленные дела вершились главным образом артельно. Разумеется, среди такого многообразия много было и не подлинно-артельного, много было пограничного и «разубоженного», но в целом именно в артели обитал русский хозяйственный, и шире — созидательный русский дух. Так было вплоть до конца XIX века, а кое-где сохранялось и в начале XX. Но, говоря о веке XX, мы уже приближаемся к выводам, а хотелось бы подробнее остановиться на посылках.

Артель известна на Руси с незапамятных времен. По признакам мы можем обнаружить упоминания о ней во многих письменных свидетельствах, начиная с летописных. Но официально народное название «артель» закреплено сравнительно недавно. Указом от 12 ноября 1799 года Высочайше утвержден устав цехов, в котором впервые было узаконено следующее определение: «Неизмеримые силами одного человека служения и работы производятся некоторым числом людей по добровольному их между собой согласию и таковые общества называются артелями».

Поскольку более развернутого толкования артели в указе не дается, можно предположить, что суть артели была хорошо известна русскому человеку и без указа, который, следовательно, не определял новое образование, а лишь закреплял, в каких-то административно-государственных целях, существующее и значительно и повсеместно на русской земле распространенное. Сущность же представления русского человека об артели наиболее точно передана одним из дореволюционных исследователей этой организационной формы М. Слобожанином (Максимовым Е. Д.). По его определению, «артель древнейших времен представляла собой союз отдельных, принадлежащих к разным семьям, лиц, имевших общий интерес (цель) и согласных (солидарных) в нем; сознательно и добровольно договорившихся между собой в дружном и доверчивом единении, закреплением обетом или клятвой, осуществить поставленные себе задачи на основах равноправия, общей круговой ответственности и самоуправляющейся организации с высшим выразителем его (союза.— А. Ц.) — общим сходом артели и с ответственным, снабженным полнотой прав и власти вождем (атаманом, большаком и пр.) и опирающихся в первую очередь не на денежную силу свою, а на личное трудовое участие своих членов и на моральность их взаимоотношений...»

Само слово «артель» образовалось по принципу полногласия от старинного (по некоторым источникам — тюркского) «ротв» — клятва, присяга; «ротиться» — божиться, клясться (Вл. Даль). И клятвой, обетом прежде всего определялась нравственность артели.

Клятва эта давалась, как правило, перед «Образом» — главной святыней артели. Русские артели (каменщицкие, плотницкие, позднее биржевые и др.) чаще всего ведь были «отхожими». Свободно ходили они по Руси и до крепостного права, и во время него. Указы Петра 1722 и 1724 гг., в частности «Плакат о зборе подушном и протчем», подробно регламентировали порядок отходничества, согласно которому крестьянам дозволялось «кормиться работою» при наличии пропускных, или «прокормежных», писем как в своем, так и других уездах в течение трех лет. Этим стимулировалось, возможно, в некоторой степени развитие раннекапиталистического найма, однако, поскольку было указано — «с женами и с детьми таких прокормежных писем никому отнюдь не давать», то ясно, что, кроме беглых, другого «пролетариата» образоваться на Руси в результате принятия таких указов не могло. В то же время с их принятием существованию артельности крепостное право уже юридически не могло мешать. И не случайно артельность впоследствии узаконена была как бы «попутно» изданием первого российского цехового устава, который целиком, как известно, был заимствован с Запада, за исключением единственной самобытной, упомянутой выше статьи о весьма условном определении артели. Так вот, отправляясь на работы, артельщики обязательно брали с собой «особочтимые иконы», перед которыми они молились на чужбине и совершали свой заветный артельный ритуал. И именно эти иконы зачастую служили единственным свидетельством о происхождении той или иной артели. Взять хотя бы известнейшую петербургскую артель грузчиков-дрягилей, выходцев из Ярославля, двухсотлетие которой широко отмечалось в России в 1914 году. Их «особочтимая» икона Толгской Божьей матери была пожертвована Троицкому собору в Петербурге в год основания артели, о чем и сохранилась в церковной книге соответствующая запись.

«У Образа» — вообще уникальное священное место русской артели. Это ведь уже не церковь, но еще и не рабочее место. Это какое-то локализованное земно-космическое образование; это не монастырское, а совершенно свободное, мирское, хотя и духовно обособленное, единство труда и молитвы, единство обряда и практического действия, единство язычества и христианства, единство серьезной игры и веселой вольной жизни, единство, вообще, условного и безусловного. Это оправдание созидания со священной целью и во имя священного. И все это, надо заметить, без учреждения специальной церковной и административной организации, точнее — без разделения на мирскую (общинную), церковную (духовную) и государственную организации. Это то народно-соборное созидающее бытие, из общественной «плоскости» которого воздвигается артельщиком вершина

личностной пространственной свободы творчества; это то, что в присутствии печального «Образа» рождает радующее глаз и душу творение.

«У Образа»—это традиционное место сбора артели для получения наряда, для разбора жалоб, это место схода артели для принятия важнейших решений. Если это, скажем, была артель грузчиков-дрягилей, то «Образ», как правило, в серебряном, позолоченном окладе ставился на галерее у входа в «амбар», где хранился артельный «такелаж». Артельщик, явившийся «к Образу» без рабочих атрибутов (передника, крюка, рукавиц и пр.), штрафовался. Здесь же совершался прием новых членов в артель, здесь «новик» совершал первую молитву и давал клятву. Неявка перед началом рабочего дня «к Образу» считалась, вне зависимости от участия в последующей работе, прогулом. «У Образа» же принимались и постановления. Характерно одно из таких постановлений артельщиков-ярославцев — «приговор» от 1 ноября 1829 г.: «...все единогласно учинили свое артельное условие для лучшего своего наблюдения порядка и дела в том, чтобы нам находиться всем в любви и добром положении, как точно одно семейство; если кто из числа нашей артели станет умышленно делать что к разврату артели, чтобы такое противно не было... то исключать их из артели без выводу»... (т. е. без прощения).

Чудный артельный космос Руси...

Рубеж XIX и XX веков стал переломным для русской артели. Никогда так много не говорили и не писали об артельном вопросе, как в конце XIX — начале XX века. «Освобождение» крестьян и необходимость организации огромной массы народа на «новых началах» вызвали к публичной жизни «хорошо забытое» всеми, кроме самого народа да разве что славянофилов, «старое». Об артели принялись писать экономисты, историки, политики, литераторы, просто публицисты и даже просто артельщики. Достаточно назвать такие хорошо известные тогда фамилии, как А. Алексеев, В. Воронцов, А. Исаев, Н. Калачов, М. Туган-Барановский, Д. Менделеев, Г. Плеханов, П. Кропоткин, К. Пажитнов, Н. Брянский, Ф. Щербина, и мн. др. Выходили специальные журналы артельщиков («Артельный мир», «Артельное дело», «Альманах артельщика», «Биржевой артельщик», «Вестник биржевых артелей» и др.), издавались рекомендации по организации «товариществ», журналы «десятников», уставы «обществ», «отчеты» артельной деятельности; созывались съезды артельщиков (первый всероссийский — в 1912 г.); сетовали, советовали, делились опытом, рекомендовали методики, ругались, анализировали, восторгались, но мало кто... сокрушался. А ведь вся эта шумиха сопутствовала не возрождению, не расцвету артели и артельного русского духа, а, напротив — вырождению, более того — агонии.

Да, артели обеспечили успех капиталистического строительства «доходных домов» в столицах; да, артели «осилили» гигантские объемы земляных работ при прокладке сибирских железных магистралей; артели с успехом строили шахты, каналы, пристани, еще на биржах «страховались артельной круговой порукой миллиардные ценности», но уже артельный космосозидательный дух вырождался в дух нравственно-отвлеченный, просто кооперативный, приспосабливающийся к духу капитала. Принципы подлинной русской артельности разрушались. Исконная русская трудовая артель, артель производительная, уступила место нестойким мелкобуржуазным союзам, преследовавшим цели прежде всего наживы, причем за счет обычного для классических капиталистических отношений, но совершенно не свойственного артели присвоения части чужого труда. К 1909 году, по приведенным А. Алексеевым данным, учениками уже пользовались приблизительно 47% артелей, наемным трудом — 24%; в 1911 г. учениками пользовались 73% артелей, наемным трудом — 81%; в 1913 г. — соответственно — 84% и 81,4% артелей. Впрочем, это уже, очевидно, и не были артели в исконно русском понимании.

Утрачивался не только моральный дух артелей, но и их трудовой характер: к 1918 году, по расчетам того же А. Алексеева, в производительных артелях оставалось приблизительно 18 тыс. человек, в потребительской кооперации — миллионы! Приблизительно одно полное поколение русских людей «хлебнуло» такой «артельности», и с этим «артельным», перекошенно-свободным духом была осуществлена революция. Это было не поколение, порабощенное капиталом, прикрепившееся к капиталу или разоренное капиталом; это поколение успело к семнадцатому году только развратиться капиталом! Великорусского строительного артельного духа не стало и в помине. (Предпочитают не вспоминать о нем и самые радикальные сторонники очередного глобального «свободно-рыночного» «обновления» России. Естественно, что сей глубокомысленный «неорадикализм» не идет поэтому дальше капиталистического «заднего двора». И хотя незатейливая «шустрость» иных «неорадикалов» вызывает симпатии своей простодушной непосредственностью, но... Впрочем, речь сейчас не о симпатиях, да и очерк не имеет цели обострить полемику. Хочется просто кое о чем напомнить соотечественникам и поразмыслить вместе над тем, что является для России несомненно важным. И в частности, в контексте этого абзаца, вот о чем.

Давно отмечена и в какой-то мере проанализирована связь между разложением общины и распадом российской государственности. Некоторые исследователи вообще видят в этом главную причину революции. Если понимать под революцией просто «бунт», то подобное заключение можно признать в некоторой степени справедливым, хотя не в диковину России бунтовать и при общине. Но если говорить о революции в неразрывной связи с постреволюционным переустройством и созиданием, то необходимо указать на существование не менее важной, но более сложной, исторически и диалектически, причинно-следственной инверсивной связи между: 1) непродуманным, условным, более вынужденно-искусственным, чем последовательно-органическим, «освобождением» крестьян; 2) разложением, точнее — просто вымиранием артели в связи с непомерным, неконтролируемым выбросом на появившийся «свободный» рынок низкоквалифицированной, но дешевой «рабочей силы»; 3) столь сокрушительным, в связи с издержками первого, революционным, вторичным, «освобождением»; и, наконец, 4) столь механистическим и катастрофичным для русской созидающей свободы, в связи с гибелью самобытной русской артели, постреволюционным строительством «нового мира». И еще. Духовный космос русской общины был весьма условен, т. к. обязан был своим возникновением крестьянскому потреблению; это был, по сути, плоскостной космический отпечаток, и не случайно столько российских сил было потрачено на его освобождение через разрушение. Его, пожалуй, и нельзя было освободить, не разрушив. Но вместе с ним «освободили» и свободное — русскую артель, и с ней разрушили свободно-созидающее, разрушили органическую, живую гармонию космосов творца и творения. Коллективистской революция могла быть и стала, артельной — никогда! И естествен в связи с этим постреволюционный национально-духовный кризис, как естествен и постреволюционный, до сих пор не «сведенный», отрицательный баланс свободы созидания и разрушения. «Большевикам» не по духу, не по силам, а потому, вероятно, и не по нутру, оказалось сформировать полноценное «без-Оразное» коллективное*, равное по духовной мощи артельному «у Образа», с которым, несомненно, и поныне связывает русского человека глубинное сердечное чаяние...)

Как видим, «без-Образное», космополитическое «освобождение» российского рынка оказалось губительным для страны с самобытной духовно-космической организацией. Показателен и исторически мизерный срок, за который, с одной стороны, это произошло, с другой стороны, обнаружились фатальные последствия рокового, иначе не скажешь, шага — какие-то 50 с небольшим лет. А ведь мы знаем примеры, когда, едва после отмены крепостного права, работники, объединившиеся в артели, еще могли получать гораздо более высокие заработки за продукцию, которая продавалась ими в несколько раз дешевле произведенной капиталистами. Артельная альтернатива капиталистической рыночной «свободе» на Руси была! Замечательный русский экономист В. В. Берви-Флеровский, анализируя деятельность уральских горнозаводских артелей, приводил такие факты: «Артель Нижнетурьинского завода поставляла казне ударные трубки по 38 копеек, за которые казна прежде платила по рублю, другая артель взяла за двадцать пять тысяч подряд, за который капиталисты просили 80 тысяч рублей...» (Трехкратное снижение себестоимости! Даже «перезакладываясь» на «бессовестную», невозможную в развитой капиталистической стране, но вполне возможную в тогдашней России 100-процентную норму прибыли, и то имеем двукратное, стопроцентное, снижение. Сравните с нынешними труднодостижимыми 2—4%, и вы невольно вырветесь за пределы круга банальных экономических категорий, с плутоватым усердием вычерчиваемого неорадикальными «рынкофилами» для простодушных «рынкофиль».) И это притом, что рабочие в таких артелях получали заработки не сравнимые с заработками наемных рабочих. (А это значит, что в артелях достигалась невероятная по нынешним меркам эффективность труда с трудновообразимой при нынешней российской разнузданности экономических ресурсов.) Причем факт весьма любопытный: эти артели сами нанимали ученых специалистов для работ, требующих высшего образования!..

На основании этих и других неопровержимых фактов В. Берви-Флеровский в своей знаменитой книге о положении рабочего класса в России, проникнутой отнюдь не благодушным и романтическим настроением, писал о русском работнике: «Отношение между капиталистом и работником холодное, оно основано на одном расчете, им русский человек выводится на путь, не свойственный его натуре; артельная жизнь, не слишком строгий расчет, где иногда место денежного расчета заступает уважение, — вот его настоящая сфера; работник при этом не теряет ни своей индивидуальности, ни достоинства, заслугу трудно оценить на деньги — он для артели сделает из уважения, артель ему за это отплатит почетом». Это выдержка из книги 1869 года, а чуть позже в работе «Организация труда на Урале» Берви-Флеровский писал, опираясь на новые факты: «Русский работник не может жить без артели; везде, где работает несколько человек, составляется и артель, причем они не преследуют цели наживы. Главное — потребность общения». Вторичность экономического элемента, как видим, налицо. Но налицо и замечательные экономические результаты.

К сожалению, на экономической стороне артельного вопроса дольше задерживаться нельзя. Избранная тема русской смиренной «вольницы» требует своего дальнейшего развития.

Итак, мы установили, что к семнадцатому году духовная основа великорусской артели, а с ней в значительной мере — и народа, была подорвана. Но, может быть, ее и не было — этой особой великорусской артели и этого особого великорусского артельного духа? Может

* Здесь венцом было ленинское «глубокомысленное» и «трогательно простое» толкование «открытой» им новой сути «у Образа»: «Всякий боженька есть труположество»...

быть, русские идеалисты ее вообразили. Может быть, этот великорусский артельный дух — досужая выдумка «великодержавных шовинистов» ряда потомственного дворянина Вильгельма Вильгельмовича Берви-Флеровского?.. Что ж, давайте послушаем малоросса.

Выдающийся украинский исследователь Ф. А. Щербина посвятил анализу украинских артелей специальную монографию («Очерки южно-русских артелей и общинно-артельных форм»), вышедшую в Одессе в 1881 году и заслуживающую своего переиздания к столетию выхода. Однако лет десять мы уже просрочили, а напрасно, потому что трудно указать на другую более тщательно и добросовестно подготовленную книгу по сравнительному анализу разнонациональных артельных образований. Щербина отнюдь не заявляет, что артель сама по себе есть великорусское завоевание в области организации труда, он начинает свое исследование с анализа украинских артелей, но замечает, что «вот этот-то пришлый великорусский элемент и придал самому складу артели свой национальный характер. Таковы (из производительных.— А. Ц.)... артели плотников, каменщиков и грузчиков-дрягилей». (Кстати, Щербина также приводит мимоходом и экономические факты; например: «Тот же самый плотник, который получает у мелкого рядчика какие-нибудь 8, 10 или 12 рублей, в артели вырабатывал (не — зарабатывал. — А. Ц.) 20 и 25 рублей в месяц». При условии равной оплаты за равный результат мы имеем производительность труда в артели в 2—3 раза выше, чем при наемном труде. Присовокупите к этим данные Берви-Флеровского о себестоимости артельной продукции. Если же продолжить о заработках, которые в те времена в более тесной связи находились с выработкой, то Берви-Флеровский приводил еще более контрастные цифры, когда писал о ярославских строителях, работающих артельно в Петербурге. Их заработок составлял 400 и 500 рублей в год, в то время как плотники, работающие «по найму», зарабатывали не более 20 рублей в лето. Это, если не ошибаюсь, 5-кратное увеличение производительности. Ясно, что при работе «по найму» непомерно возрастают «накладные», но не отбивают ли именно эти грабительские «накладные» охоту работать производительно. «Сбросим» на их счет «самые-самые» 100%, но и тогда 3-кратное увеличение остается. Кажется, злоупотребляю цифрами, но куда от них денешься.) Не ленится Ф. Щербина подчеркнуть еще и еще: «Что артели плотников и каменщиков великорусского происхождения — это само собой ясно и понятно».

Однако Щербина не только отмечает существование особенного великорусского характера в артелях, но и указывает, что этот «чисто великорусский характер» — «характер равноправного товарищества с выборным распорядителем — артельным старостою...» Не удержусь, чтобы не привести довольно длинное высказывание, которым Щербина завершает рассмотрение группы украинских артелей великорусского образца:

«Т. о. вся четвертая группа южно-русских артелей (плотники, каменщики.— А. Ц.) носит не местный, а заимствованный извне склад. Это совершенно аналогичные по своему строению артели. Они составляются из вполне равноправных между собою членов. Во главе стоит артельный староста или лицо, напоминающее его. Староста — лицо выборное и не пользуется в артели никакими особенными правами и преимуществами. Он только доверенный артели, добровольно избранный хозяин-распорядитель и представитель ее, и все его действия ограничиваются поэтому известными, определенными обычаями пределами. Сегодня он хозяин, а завтра может быть и рядовым рабочим, и тот, кто раньше подчинялся его распоряжениям, может в свою очередь предписывать ему, раз он избран старостою. Староста — лицо почетное и уважаемое. Он должен поэтому обладать опытностью, практическими знаниями и сноровкой и хорошо знать условия того дела, за которое берется артель. Он должен давать пример артели во всем — и в труде, и во взаимных отношениях. Без этого нельзя и быть старостою. На этом держится почет и уважение к нему. И за все свои труды и услуги артельный староста не получает никакого особенного денежного вознаграждения. (Разве что символическое — «на сапоги». — А. Ц.) В этом отношении он уравнивается со всеми другими членами, и только один нравственный почет со стороны артели служит ему наградой. Взаимные потом отношения членов артели суть отношения равного к равному. Никто не пользуется никакими преимуществами, никто и не зависит от другого, и одна только артель является верховным судьей и истолкователем поступков...» То-то сейчас подобное в диковинку великороссам...

Да, вот еще любопытный факт в завершение этой темы. По традиции староста артели избирался зачастую на определенный срок, обычно — на год, «по очереди». Причем те артельщики, которые не соглашались исполнять эту скорее повинность или которым «общество не дозволяло», должны были нанимать вместо себя «кого изберут и за какую сумму». Таков был обычай, и за несколько десятилетий «свободного» капиталистического развития великорусской артельности как не бывало. В 1911 году старый артельщик, давая интервью «Биржевому артельщику», сетует на то, что «старосту окружают только полезные ему члены, т. к. 3/4 артельщиков живут в отдаленности, и староста даже подговаривает хозяев увольнять неугодных...» «Чудный» космос человечьего рынка...

Но — чудный артельный космос Руси! Ведь не придумка, не вре́менное, сам наш народ от веку считал, что:

Артель своя семья; Артель суймом крепка; Брюхо да руки — нет иной поруки; Атаманом артель крепка; Артелью города берут; Артель — круговая порука; Артель расходчика кормит; Артельная кашица гуще живет; Артельно за столом — артельно на столе; Муравьи да пчелы артелями живут, и работа спора; Смирный — в артели клад.

. . . .

Все это, однако, только присказка. Были времена, когда артель не только хранила свой уникальный космос, но и активно формировала самобытный космос Руси.

Вопрос формирования русского государства настолько исследован уже вдоль и поперек, что успел обзавестись прочной традицией. По ней установилось, что исторически инициатива государственного объединения России принадлежит либо князьям (Ярослав Мудрый, Дмитрий Донской и др.), либо церкви (Иларион Киевский, Сергий Радонежский и др.), либо их союзу. «Народ безмолвствует». Но так ли было?! Раскроем русский летописец.

Известен интересный, а для наших рассуждений — один из ключевых исторический эпизод, зафиксированный практически во всех более-менее полных летописных сводах, содержащих «Повесть временных лет». Процитируем по древнейшей Радзивилловской летописи:

Год 1016. «Начало княжения Ярославля в Киеве. В лето 6524. Приде Ярослав и ста противу обапол Днепра, и не смеяху ни ти (воины Святополка Окаянного.— А. Ц.) на сих, ни си на них, и стояша 3 месяци противу собе. И воевода Святополчь нача, ездя возле берег, укаряти новгородцев, глаголя: «Что придосте со хромцем сим? А вы плотници суще, да приставим вас хоромов рубити наших...»

Занимателен эпизод междоусобной борьбы двух князей-братьев, но замечательно летописное свидетельство о прозвании новгородцев плотниками. Уже тогда, как видим, шла по русской земле, несмотря на ее переполненность братскими распрями, приносящими гибель и князьям и воинам, слава о новгородцах плотниках, созидателях. И случайно ли Ярослав, княживший долгое время в Новгороде, получил прозвание «Строитель»? Мог ли Ярослав, жизнью своей вплотную соприкасавшийся с управляемым им народом-строителем, не «заразиться» идеями этого народа? Да и откуда еще в воине, потомке варягов-завоевателей, могла взяться строительная жилка? А ведь летописи свидетельствуют о постоянной параллели во время его княжения войны и созидания. Читаем, к примеру, в Летописном своде 1497 г., что на следующий год после победы над Святополком «Ярослав же заложи больший град Киев, и Златые врата, и Софию святую заложи...» Видно, частенько посещал Ярослав «Плотницкий конец» в Новгороде, и, видимо, оттуда набирал он особо надежных и в битве и в строительстве «товарищей». (И случайна ли, личностна ли вообще государственнотворческая инициатива Ярослава? И, тем более, правомерно ли отдавать ее целиком знаменитому сподвижнику и ставленнику Ярославову — митрополиту киевскому Илариону? Не первична ли здесь как раз глубинная народная, «артельно-плотницкая» инициатива, ювелирно оправданная в «Слове о законе и благодати» и сконцентрированная во властных повелениях чуткого и мудрого субъекта — исполнителя совокупной воли?)

Можно привести доказательство уместности употребления здесь слова «товарищи» именно в артельном смысле. Вернемся ко времени битвы воинов Ярослава Мудрого и Святополка Окаянного. Эпизод с прозвищем новгородцев плотниками зафиксирован множество раз. Но характерно, что лишь однажды, причем именно в 1-й Новгородской летописи, отмечается, что после победы Ярослава «бежа Святополк в Печенегы, а Ярослав иде Кыеву, и седе на столе отца своего Володимера; и нача вое свое делити: старостам по 10 гривн, а смердам по гривне, а Новгородьчем по 10 всем, и отпусти я домов вся...»

Как не задуматься: почему, во-первых, лишь в Новгородской летописи уделено внимание распределению вознаграждения между воинами; во-вторых, почему приведены суммы вознаграждения; и в-третьих, почему подчеркнуто, что «Новгородьчем по 10 всем»?

Допустим, новгородцы как народ, известно, меркантильный, придавали издревле большое значение вопросам вознаграждения; но почему мы тогда не находим в новгородских летописях развития этого чаяния в систему? Допустим, что суммы вознаграждения приведены для того, чтобы подчеркнуть важность участия именно новгородцев в победе Ярослава над Святополком; но не достаточно ли тогда было бы просто указать на факт преимущественного их награждения? Нам остается теперь лишь с наибольшей вероятностью предположить, что для летописца-новгородца главным было показать, что все новгородцы получили: 1 — поровну, и 2 — наравне со старостами, т. е. управителями смердов. Следовательно, новгородцы-плотники в то время уже имели стабильный артельный принцип распределения вознаграждения (сохраненный, как было показано ранее, в неизменности до XX века и совершенно отличный от принципа общинного распределения); имели и предъявляли в соответствии с ним требования к князю. (Сравните с приведенным фактом, например, известное свидетельство о распределении дани, выговоренной Олегом, еще типичным варягом, у перетрусивших «греков»: «И заповеда Олег дати воем на корабль по 12 гривен на ключ и потом даяти уклады на русскыа грады: первое на Киевъ, тоже на Черниговъ, на Переяславль... и на прочая городы, по тем бо городомъ седяху велиции князи, подо Олегомъ суще...» Здесь мы видим особое награждение городов в связи именно с тем, что в них «сидели» «подо Олегом» князья. Ярослав же хотя и становился иногда на сторону варягов-новгородцев, как, скажем, в известном эпизоде с побиением новгородцами варягов, но по ду-

ху своему уже в большей степени был «плотником-новгородцем».)

После размышления над приведенными свидетельствами, не удивительным, а лишь своеобразным, причем — совершенно исторически-органичным и самобытно-свободным оказывается летописный факт призвания варягов.

«Бывша варягы и-заморья и не да им дани, и почаша сами в собе володети, и не бе в них правды, и воссташа род иа род, и быша в них усобици, воевати почаша сами на ся, и реша сами в себе: «Поищем собе князя, иже бы володел нами и рядил по праву». И идоша за море к варягом... Реша чюдь, словене н кривичи, и вси: «Земля наша велика и обилна, а наряда в ней нет. Да поидите у нас княжити н володети».

Вспомните из определения артели: «...в дружном и доверчивом, добровольном единении...» Вспомните и не удивляйтесь наивной доверчивости иаших предков. Их «наивность» имела совершенно практический и осмысленный характер. По устойчивой к тому времени традиции, для успеха свободного созидания атаман, староста и пр. выбирались артельно из числа самых опытных н знающих дело людей. Причем, как видим из летописи, для успеха общего дела добровольно преодолевались и межплеменные противоречия. Действительно, отчего же не пригласить «варяга», если он хорошо знает «дело», которое в то время было важным для наших предков? (Это к тому же не был единственный и исключительный случай; имел место продолжительный народный эксперимент; мы знаем из летописей, что «варяги» до своего окончательного утверждения иа Руси изгонялись и призывались неоднократно.) Следовательно, исторически населяющие русскую землю племена сформировались в нестойкое, но обладающее совершенно определенной общей нравственной волей единство (своего рода межплеменную демократию) раньше утверждения на Руси государственности. А отсюда можно заключить, что «всечеловечность», «всеплеменность», как идея, возникла на Руси раньше идеи «великодержавия». И именно народ (в то время — стихийная межплеменная общность) своим добровольным, свободным историческим действием, историческим поиском воплотил, возможно — не лучшим образом, свою сокровенную идею...

Нет нужды быть многословным в очевидном, но на еще одно важное для развития русской идеи обстоятельство, относящееся к тому далекому периоду, надо обратить внимание. Известно, что артель первоначально образовалась не как внутрисемейное, а как межсемейное соединение, и была своего рода реакцией иа семейное, и шире — родовое, племенное обособление, мешавшее («и воссташа род на род») свободному народному развитию. Первоначально артельно собирались лишь на языческие игрища. Только там в условиях патриархального семейно-родового быта возможно было осуществление равноправия. И, очевидно, вышедшие из сферы языческого игрища артели перенесли свой свободолюбивый артельный принцип на «светское» созидание также не сразу, а лишь по мере созидания сначала культовых сооружений (усыпальниц, курганов и т. п.). Т. о., артельно сооружаемое предназначалось изначально не для личностного или семейного, а для всеобщего (при развитии игрища в религиозный ритуал) пользования через поклонение. Уже здесь мы видим зачаток того позднеартельного «у Образа», хотя это языческое «у Образа» имеет пока лишь статус места артельного сбора, клочка освященной земли. Тем не менее, скорее всего, именно из этого артельного сбора «на игрища» образовалась свободогласная, созидающе-разрушающая вечевая площадь. Здесь, вероятно, собрались однажды, а точнее — не однажды, н решили призвать «варягов»...

Языческая артельность иаших предков — интереснейшая и важнейшая для осознания истоков русской самобытной духовности и русской государственности тема, но, к сожалению, дольше задерживаться на ней в кратком очерке нет возможности. Отметим тем не менее ее главный инициирующий итог. Именно языческая строительная, свободно-созидательная артельность определила православную особенность русского христианства, его созидательность в рамках нравственного «Образа». Языческое «без-Образное», символическое, мифологическое (но — почвенно-космическое) «у Образа» с переходом артели из условио-ритуальной в безусловно-созидающую потребовало своего нового, более определенного по межплеменной объединяющей идее иаполнения. Попытки варяжских князей занять это место не увенчались успехом. Родовые междоусобицы владетельных князей сковывали развитие Руси. Потребовался очередной, после «призвания варягов», свободолюбивый протест против родового заполнения «Образа». Кроме того, «Образ» князя, заместивший «Образ» рода, явно не справлялся с громадной идеологической и духовной нагрузкой. Его место неминуемо должен был занять единый Бог. На Русь было «призвано» христианство. И с его приходом русская народная идея артельно-созидающей свободы получила православное подкрепление.

Само по себе христианство, естественно, вызвало яростное сопротивление языческого иаселения Руси. Еще бы! Ведь новый «Образ» изменял и отношения «у Образа». И до тех пор, пока не были непротиворечиво отрегулироввны взаимоотношения «Образа» с реальностью, пока не найден был свободный выход из «Образа» в созидание, язычество не сдавалось. Да и «сдалось» оно чрезвычайно своеобразно и половинчато. От Византии первоначально была принята народом нравственная идея оправдания «Образом» действительности, т. е. православие, и лишь вторично — нравственная идея самого «Образа» Христа. Лишь только тогда, когда была осознана народом возможность свободного созидания «у Образа», христианство было органически включено в народную жизнь.

Христианское противоречило языческому, но православное не противоречило артельному. Добровольность в рамках нравственного «Образа» — это то православное, которое органически продолжало артельное, расширяло артельное, окончательно выводило артельное из игрища в жизнь, но — одновременно наполняло православный «Образ» народной жизнью. Условное языческо-артельное свободное бытие перешло благодаря принятию христианства в безусловное православно-артельное. Но, к сожалению, уступая доминирующей идее монархической государственности, это народно-артельное православное бытие локализовалось.

Был, конечно же, соответствующий переходный период от вечевой площади, где, по словам летописца, долго еще «видим бо игрища утолчена, н люди множество на них, яко пхати начнут друг друга, позоры деюще от беса замышленного дьявола, а церкви стоят», к тому православно-артельному «у Образа», где русский человек дает обет добровольного «заточения» в созидающую свободу. Долго еще (да что там долго, — и по сию пору) «диавол льстить и другими нравы всякими и лестьми пребавля ны от бога, трубами и скомрахи, и гуслеми, и русальями»... Долго еще государственная и церковная идеология переоценивает ценности. Вот уже и свят князь Владимир, мудр князь Ярослав, государственно-добродетелен даже Иван Грозный, не говоря уж о других, «тишайших»; привольно самодержцам на престоле, привольно и мысли русской иа необъятных державных просторах, но «тесно» народу «у Образа», — и «совестится» русская мысль, и «робеют» самодержцы: «Не я! Не я твой лиходей!..» «Тесно» «у Образа», «утолчено», но — стоят церкви! крепнет Русь! да н артелька жива...

Итак, христианство принято, но артель жива, и ее участие в дальнейшем формировании духовного облика Руси не прекращается. Ее главная роль в период становления христианства и централизация русского государства состоит большей частью в духовном «строительстве». Причем в отношении церквей — без кавычек. Именно «строительством» сформировался самобытный духовный мир Руси, и именно преобладанием участия народа в строительстве над участием в богослужении («а церкви стоят» пустые) определился уникальный смысл русского «у Образа». Мы уже привели сетование летописца по поводу запустения церквей, но при этом летописцы сообщают нам и о небывалом по размаху церковном строительстве. Только в один пожар 23—24 июля 1124 года в Киеве «по 2 дни по Подолию и по Горе, яко церквей единых изгорело близ шестисот». Шестьсот! А сколько же их всего было тогда в Киеве?! И мыслимо ли было вообще в то время вести во всех церквах богослужение? Можно высказать предположение, что русский человек совершенно уникально приобщался к христианству не через богослужение, а непосредственно через участие в церковном строительстве. Посудите, встаньте на место князя ли, митрополита ли. Где набраться священников, знающих по-русски и по-гречески, где набраться переводчиков книг, да и самих книг? (Ведь надо еще и воевать непрестанно, и торговать, хозяйствовать.) Так пусть же люди хоть участвуют в строительстве церквей! И иарод включился в это богоугодное и, по характеру процесса, близкое и понятное ему дело. Из-за этой понятности и включение оказалось таким активным. Известно ведь, что русский человек «мыслил» топором.

Поскольку духовная суть «Образа» была ясна простому русскому человеку в то время недостаточно, то формировалось при его участии в строительстве церквей прежде всего все то же земно-космическое, теперь уже духовно-натуралистическое, «у Образа». Первые церкви скорее всего выполняли роль утилитарно-духовную, роль храмов-усыпальниц. По сути, учитывая их количество, в то время практически каждая простая семья выстраивала себе церковь-усыпальницу. О князьях нечего и говорить. Известный советский археолог М. И. Каргер отмечает по этому поводу, что «сыновья и внуки Ярослава (XI — начало XII в. — А. Ц.), конкурируя между собой, создают за городскими валами, а отчасти и внутри города свои фамильные «вотчии» монастыри». Эта мысль находит подтверждение и в работах другого советского археолога Н. Н. Воронина; по его мнению: «Придворная церковь служила в то же время и усыпальницей владельца». Предположения эти подкреплены реальностью. В Переяславле Русском (Переяславле Хмельницком) удалось обнаружить (М. И. Каргер) «целую серию миниатюрных бесстолпных или двухстолпных храмиков» — «капелл-усыпальниц» XI века. Кроме того мы знаем, что в начале церковного строительства на Руси (XI в.) помещение для крещения еще строилось отдельно от храма и только позже было введено внутрь здания (то есть одно из главных христианских таинств совершалось еще вне церковного строения). Мало того, по мысли советского историка архитектуры Н. И. Брунова, «в композиционном замысле самой Киевской Софии обнаруживаются черты, унаследованные от русского языческого кургана».

Нам остается, опираясь на выводы упомянутых исследователей, сделать заключение о том, что в те времена «у Образа» (уже реально локализованное внутрихрамовое пространство) начинало играть роль «иного мира», «того света», отличного от мира реального, и русский человек самым активным образом участвовал в его формировании, воплощая в своем видении «иного мира» и свою надежду. И, возможно, не от Византии радостность красок русского иконостаса, а именно от желания русского иконописца сделать «иной мир» как можно более радостным. Русский человек, перенося

жизнерадостное космическое ощущение внутрь храма, замыкая, «заточая» его в храме, одновременно одухотворял «Образом» эту радость, это совершенно языческое, природное очарование. Отсюда — и русская идея, истекающая из того времени, — **одухотворение космического очарования.** Это субъективная идея; ее объективное отражение мы находим в диалектической антиномичности «радости» Космоса и «печали» Бога. (И вершина их диалектического единства в усталом сиянии рублевской «Троицы».) Отсюда вся Русь старообрядческая, со своим особым «каноном» — не исповедующая Бога, а ворожащая Бога, созидающая Бога и одновременно завораживающая Его. И от этого «ворожения» уже не избавиться Руси никогда...

Артели плотницкие, каменщицкие, иконописные принимают в «ворожбе» православного «того света», артельного — «у Образа», самое непосредственное участие. «Красота неописуемая», русская сказочная красота воплощается артельно в формах и красках. Летописи сохранили немало свидетельств артельного строительства и артельной росписи храмов. Не говоря уж о строительстве «скромных» русских храмов, отметим, что артелями были созданы такие «жемчужины» русского церковного зодчества, как Благовещенский собор в Казани и московский Покровский (Василия Блаженного) собор; первый строили «мастер-пскович Иван Ширяй с братией», второй, как сообщает Постниковский летописец, — «мастер Барма (по другим сведениям — мастера Постник и Барма) со товарищи».

О росписях приведем для примера свидетельство Вологодской летописи, наиболее подробное и показательное: «Того же 194 (7194 г. — 1686 г. — А. Ц.) году месяца июля в 20 день преосвященный Гавриил архиепископ Вологоцкий и Белоозерский приказал писать соборную и апостольскую церковь Успения пречистыя Богородицы стенное писмо во всю церковь, кроме олтарей. А писали тое церковь мастеры ярославцы Димитрей да Илья Григорьевы дети с товарыщи тридцеть человек, а работы их было и трудов до Рожества пречистые Богородицы 195-го году. А олтари писали и все трои двери церковные они же, Дмитрей со товарыщи, дописали во 196-м году июля в 5 день». (Причем здесь мы имеем чуть ли не прямое свидетельство артельной династичности. Поскольку сообщается летописцем отчество мастеров, то можно предположить, что в Вологде был известен на этом поприще и их отец — ярославский мастер-артельщик Григорий.)

Что касается артельной буквально-строительной «ворожбы», то есть и об этом замечательные свидетельства. Это свидетельства о строительстве своеобразных церквей-заклинаний, которые сооружались артельно, всем миром, в течение одного дня, как правило — для прекращения эпидемии, «мора». Читаем в той же Вологодской летописи: «В лето 7163-го (1655 г. — А. Ц.). Октября в 18 день на память апостола и евангелиста Луки поставили однодневной храм во имя Спасв Смоленскаго на Вологде, на старой площаде, а почели рубить против 18-го числа октября в нощи в 6-м часу, а клали светочи и, зажигав скалы на батогех, светили светло, а срубили за два часа до дни, я святить почели в 5-м часу дни, а освятили на последнем чвсу ночи. И виде господь веру и моление (здесь видим уже артельно-соборное моление-строительство, моление-созидание, единство артельного и соборного Откровений, единство освященного труда и духовного пользования. — **А. Ц.**) раб своих, и покаяние слепное в своих прегрешениях, и той великий гнев свой на милость преложи и моровую язву утоли. И того дни мор на Вологде престал быть...» Или подобное же в Летописце Льва Вологдина: «В лето 6982, а от Рождества Христова 1472. В Новеграде Великом и на Устюге было моровое поветрие весьма великое. Того ради устюжане по обещанию своему поставили деревянную церковь во имя Вознесения Христова на поле за градом близ Архангельского монастыря, над озером, и нарекли «Овыденное», потому что людие, собравшиеся со всего града, во един день оную церковь поставили. И тако преста мор»...

Мы поведали о народном духовном строительстве «без кавычек»; теперь, приближаясь к концу нашего очерка, надо сказать кое-что и о народном духовном «строительстве» «в кавычках». Речь пойдет о совершенно удивительных духовных артелях — артелях «калик перехожих». В эти артели, как известно, объединялись странники, совершавшие паломничества по святым местам. Формирование этих артелей происходило на Руси, очевидно, в период коренной переоценки духовных ценностей, и прежде всего понятий «духовной свободы» и «свободной силы». Естественно, что народное творчество не могло не отразить этого идейно объединяющего Русь явления. (Паломники ведь не только «проходили» Русь, они и просвещали Русь, способствовали уяснению всеми населявшими ее народами единой нравственной идеи.) Мы видим ряд народных произведений своего рода переходного типа от героического эпоса к духовному стиху. Это, например, известные «Калика богатырь» и «Сорок калик со каликою». Уже в первом произведении мы видим нового русского «богатыря во смирении», уклоняющегося от битвы и вступающего в нее в составе традиционной богатырской дружины лишь тогда, когда достаточно полно проясняется святость предстоящего сражения. Мы еще видим в этой былине некоторую героическую инициативу богатыря-героя Ильи Муромца:

Ай, калика перехожая!
А идешь ли ты с нами во товарищи?..

Но отвечает «калика»: «Я иду с вами во товарищи», — и в дальнейшем уже «она» является подлинным героем битвы.

В былине, а по сути — в почти духовном стихе «Сорок калик со каликою» мы уже видим совершенное преобладание религиозно-аскетического мотива «отречения», причем — личностного «отречения» в пользу артельного единства. Укажем только на характерный «приговор» описываемой артели «калик перехожих», отправлявшейся на поклонение во Иерусалим (и сопоставим с соответствующим, приведенным ранее, «приговором» ярославской артели 1829 г.):

Они клали ведь заповедь великую,
И великую заповедь тяжелую:
«Еще кто из нас, братцы, заворуется,
Кто из нас, братцы, заплутуется,
Кто из нас, братцы, за блудом пойдет, —
И нам судить такового чтобы
своим судом...»

Кстати, ведь вполне вероятно, и даже — наиболее вероятно, что и знаменитое «Слово о полку Игореве» было написано вовсе не дружинником несчастного князя (как полагают иные исследователи), а как раз-таки безымянным «певцом» артели «калик перехожих», русским «богатырем во смирении». В пользу этого предположения говорит «беспримерное своеобразие» этого памятника, выразившееся в его главном нравственном мотиве, убедительно раскрытом М. М. Бахтиным, — мотиве «трагического посрамления героя». Этот мотив словно усугубляет, трагедийно концентрирует мотив «самоотречения» героя ранних былин о «калике перехожей». Надо только добавить, что идея «трагического посрамления героя» могла, разумеется, возникнуть и у дружинника князя, однако маловероятно, чтобы она могла быть оформлена в то время в величайший литературный памятник. Для этого недостаточно только нравственно-отрицающей идеи «посрамления героя», ищущего одной мирской славы; нужна еще идея позитивная, и такой позитивной идеей «Слова» выступает идея оправдания иного — «смиренного» богатырства. Это уже идея не одного, пусть даже гениального, воина-дружинника; эта идея отражает уже цельное и глубокое мировоззрение, духовный нравственный закон, совершенно определенной общественной группы перехожих странников-проповедников, ратующих не за распрю, а за духовное единство, так явно воплощенное к тому времени в деяниях народных созидающих артелей. Уже мало этим безымянным «смиренным богатырям» внутрихрамового «у Образа», и они стремятся сделать его земно-космическими пределами всю святую Матушку-Русь. Смиренный лик русской «вольницы»...

Мы убедились в том, что артельным духом была буквально проникнута атмосфера древней Руси; этот артельный дух проявился в народной государственнотворческой инициативе и во многом определил православный характер принятого христианства. Этот артельный дух нашел воплощение и в вртельных формах творчества и в артельных формах хозяйствования. Этот же артельный свободный дух помог сформировать триединую «русскую идею», во всяком случае — предопределил ее самобытность. В той или иной мере вокруг идей артельности постоянно вращается русская мысль. Русь, ворожащая Бога, — это, несомненно, артельная Русь. «Одухотворение космического очарования», вообще — своеобразный, деятельный, русский космизм, — также имеют корни в народной артельности, в частности — в народном чаянии пространственного расширения одухотворенного «у Образа». «Жизненная философия» славянофилов также имеет в артельности свои истоки; здесь же и «почвенничество», ведь не случайно глубоко православный мыслитель Ф. Достоевский отправляет каяться «трагически посрамленного героя» Раскольникова именно на площадь, на то самое артельное «у Образа». К сожалению, народно-артельная свободная жизненная цельность, гениально поставленная И. Киреевским во главу нашей самобытной жизненной философии, как свободно определяемого народного идеала, была односторонне идеализирована почвенниками, разведена богоискателями и народниками и раздроблена окончательно теми, кого остроумный Герцен «добродушно» называл «марксидами». «Ленинидов» Герцен не мог и предвидеть, но предвидел Вл. Соловьев и в предотчаянии попытался пантеистически свести разведенное во Всеедином. Отсюда родилось вдохновенное: «Абсолютное осуществляет Благо через Истину в Красоте», — но мы уже не чувствуем в этой сверкающей фразе живого «славянофильского» начала, и тем более — жизненного приближения к реально-артельному народному воплощению...

Что ж, снова привольно русской мысли. И, кажется, сейчас как никогда близка она к осознанию бесплодности абстрактно-теоретических подходов к преобразованию российской действительности, осознается ею и убогость практики «радикальной реформации» по аналогии. Растет человеческий интерес к «живой» истории, к глубине и «порядку» жизни. И наша история любому, взявшему на себя труд разобраться в ней, показывает, что есть в русском народном бытии некоторая артельная «постоянная», преобразующая всякое частное, «мгновенное», бытие в бытие всеобщее, непрерывное, в то совокупное бытие, которое В. Кожинов в одной из своих историко-философских работ («И назовет меня всяк сущий в ней язык...») определил как «историческое поведение народа». Вживанием в это «поведение» связывается во всех раздробленных частях своих, материальных и духовных, жизнь нынешнего и прошлых поколений. За смыслом этого понятия таится и загадочная суть парадоксально-свободного русского существования, согретого сокровенной народной заботой о «всечеловечности» русского созидающего бытия, о «всечеловечности» русского духовного «делания», о реальном и безграничном расширении артельного «у Образа»...

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

История Отечества: документы и судьбы

С. Н. ДМИТРИЕВ

ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬЯНС

Об авторе публикуемой ниже статьи Сергее Петровиче Мельгунове (1879—1956) можно написать целую книгу. Ограничимся лишь утверждением, что он стоит в ряду крупнейших русских историков XX столетия и что в самое ближайшее время все его труды будут переизданы на его Родине, из которой он был выслан в 1922 году, и несомненно вызовут огромный общественный интерес. В следующем году читатели «Нашего современника» смогут познакомиться с самой «жуткой», по оценке современников, книгой Мельгунова «Красный террор в России. 1918—1923», предваряемой рассказом о его творчестве и жизненном пути.

Историка Мельгунова всегда влекли к себе тайные и загадочные стороны прошлого, которые он старался высветить. Одной из таких тайн, долгое время занимавших внимание исследователя, были взаимоотношения большевиков с немецкими властями до Октябрьского переворота и после него. Итогом изучения вопроса о финансировании большевистской партии со стороны правящих кругов Германии в период подготовки пролетарской революции стала книга Мельгунова «Золотой немецкий ключ большевиков» (Париж, 1940; 2-е и 3-е издания — Нью-Йорк, 1985, 1989), вскрывающая закулисные стороны рождения «таинственного альянса». Статья же «Приоткрывающаяся завеса» повествует о втором этапе «предательского сговора» немцев и большевиков, имевшем место в 1918 году. Эта статья, публикуемая в СССР впервые, была напечатана сначала в парижских «Последних новостях» (1925 г., 5 февраля), а затем в более полном виде в журнале «Голос минувшего на чужой стороне» (Париж, 1926, № 1, с. 159—169). Она сразу же вызвала широкий общественный резонанс: включенная в статью «нота Гинце» была перепечатана несколькими зарубежными изданиями, правда, с оговоркой, что достоверность данного документа еще полностью не установлена. Но вот проходит всего несколько месяцев, и достоверность ноты полностью доказывается. Призыв Мельгунова к германским демократам «приподнять завесу над тайной, которая все еще окутывает взаимоотношения большевиков и старой правившей Германии», оказался частично услышанным, и в мартовском номере 1926 г. гамбургского журнала «Europaishe Gesprache», посвященного проблемам иностранной политики и редактировавшегося А. Мендельсон-Бартольди, был напечатан немецкий оригинал «ноты Гинце» и подтверждающий ее ответ советского посла в Берлине А. А. Иоффе. Опубликованный Мельгуновым документ представлял собой не что иное, как дословный и точный перевод оригинала.

«Завеса приоткрылась»... но только для западного читателя. Для нас она приоткрывается лишь сегодня. Что же мы можем разглядеть сквозь образовавшийся просвет? Попытаемся дополнить некоторыми соображениями и фактами (серьезный анализ этой проблемы еще впереди) то, что прозвучало в статье Мельгунова.

Большевики, захватив власть в условиях продолжавшейся мировой войны, очень скоро убедились, что наибольшая опасность для них исходит не от внутренней контрреволюции, а от германской армии, сохранившей свою боеспособность и готовой к активным наступательным действиям. Тут им пришлось ощутить на себе весьма чувствительный удар рикошетом тех пораженческих настроений, которые они сами, не жалея сил, долгое время разжигали в стране. Первая же реальная угроза потери власти, сложившаяся с началом широкомасштабного наступления немецких войск после срыва переговоров в Брест-Литовске, привела к победе среди большевиков стремления заключить самый «похабный» мир, только бы удержать рычаги государственного управления и продолжить пролетарскую революцию. И позорный мир этот, равного которому не было с эпохи татаро-монгольского ига, был-таки заключен, в результате чего страна потеряла около 1 млн. км^2 территории, где проживало более 50 млн. человек, располагалось 54% всех предприятий, 33% железных дорог, добывалось 90% каменного угля, 73% железной руды и т. д.

Но и это было еще не все. 27 августа 1918 г. в Берлине были подписаны дополнительные русско-германское финансовое соглашение и русско-германский договор. Согласно первому документу, Россия обязывалась уплатить Германии контрибуцию в 6 млрд. марок, в том числе 1,5 млрд. золотом и кредитными билетами, 1 млрд. поставками товаров. Что касается русско-германского добавочного договора к Брестскому мирному договору, то его содержание как раз и проясняет составленная в тот же день «нота Гинце», которую можно расценивать как секретное приложение к договору с более откровенным прояснением позиций сторон. Налицо признаки той самой тайной дипломатии, которую большевики публично порицали и отвергали. В ноте мы встречаемся и с разграничением сфер влияния, и с установлением границ, и с определением сырьевых поставок из одной страны в другую, и с использованием Германией военных судов Черноморского флота (по некоторым данным, немцами было разграблено имущества Черноморского флота и портов на сумму 2 млрд. руб., не говоря уже о миллионах пудов хлеба, продовольствия, важнейших видов сырья, вывезенных Германией с оккупированных территорий). Главное же, что поражает в ноте и ответе на нее Совнаркома РСФСР, — это обоюдовыраженное согласие сторон прилагать взаимные усилия к борьбе внутри России с Добровольческой армией, интервентами Антанты и чехословацким мятежом.

Однако к такому четко выраженному политическому и военному союзу партнеры пришли не сразу. Развитие событий проясняют чрезвычайно интересные воспоминания генерала В. И. Гурко «Из Петрограда через Москву, Париж и Лондон в Одессу. 1917—1918 гг.» («Архив русской революции», Берлин, 1924, т. XV), на которые ссылается Мельгунов. Гурко был наряду с В. Ф. Треповым, А. В. Кривошеиным, А. Д. Оболенским, Б. Э. Нольде одним из деятельных членов «Правого центра», вступившего весной 1918 г. в переговоры с представителями германского правительства с целью свержения большевиков. Согласно его воспоминаниям, Германия, «хотя и вступила в переговоры с русскими общественными кругами, но одновременно тем не менее поддерживала тесную связь с большевиками. Политика ее была двойственная». Имея возможность свергнуть пролетарскую власть, что особенно очевидно было в весенние месяцы 1918 г. (в марте этого года прибывший в Петроград во главе германской миссии граф Кайзерлинг в одном интервью без стеснений заявил: «До поры до времени оккупация Петрограда не входит в планы немцев. Но она станет вполне возможной и даже неизбежной, если в столице возникнут беспорядки»), Германия не спешила делать этого, добившись в результате Брестского мира захвата огромных территорий и широкомасштабных поставок из России сырья и продуктов, столь необходимых для продолжения борьбы на Западном фронте.

Окончательное определение позиций произошло летом 1918 г. Как писал Гурко, в июне «германское правительство перешло на точку зрения германских военных кругов о необходимости в германских интересах воссоздать порядок в России и покончить с большевиками. Но тут произошло перемещение ролей, тут уже германское верховное командование, наткнувшееся на крайнюю неприязнь Добровольческой армии и осведомленное об усиленной тяге русского офицерства в Сибирь, на Урал, для образования там нового, враждебного ему фронта, решительно заявило, что ни о каком восстановлении России не может быть и речи, что наоборот необходимо разваливать Россию и в этих видах поддерживать большевицкую власть».

Опасения, и весьма обоснованные, у правителей Германии вызвало то, что

любая другая власть в России, кроме власти большевиков, возобновила бы фронт борьбы с немецкой армией и тем самым ослабила стратегические позиции Германии. Получалось, что, как до революции правящим кругам страны было выгодно финансировать большевиков, разжигавших в России пораженчество и вообще готовых в перспективе вывести ее из войны, так и в 1918 году им было крайне выгодно сохранение пролетарской власти, чтобы обезопасить себя с Востока.

В своих воспоминаниях Гурко упрекал вождей белого движения за то, что они, следуя своей «сентиментальной» верности союзникам России по Антанте, упустили реальный шанс свержения большевиков. «...Если бы Добровольческая армия,—писал он,—не задрапировалась в тогу скудоумного ламанчского рыцаря Дон-Кихота, а последовала бы мудрой государственной политике Донского атамана Краснова, то Германия исполнила бы свои обещания, а именно пересмотрела бы Брест-Литовский договор, вернула бы нам наши владения... и восстановила бы в России русскую государственность. О большевиках давно бы не было и помину».

В условиях германской оккупации части России и сотрудничества Москвы с Берлином белые генералы рассматривали гражданскую войну как прямое продолжение мировой войны, только противник теперь представлялся им в облике двуликого немецко-большевистского януса, а союзники оставались те же (отсюда поддержка добровольцами интервенции в Россию стран Антанты). Вожди белой гвардии не хотели да и не могли сделать тот поворот, на который надеялся Гурко. И он сам признавал это, написав следующие горькие строки: и Корнилов, и Деникин, и Алексеев — «это лучшее в смысле горячего патриотизма и действенной энергии, что выставила императорская армия после крушения монархии, но, увы, это лучшее, в смысле разумения мировых событий, в отношении организации национально-русского ядра, представляло силу, хотя и незаурядную, но тем не менее не отвечающую тем исключительным требованиям, которые предъявляли чрезвычайные события. События были сильнее их: они требовали людей, быть может, и менее горячо любящих родину, менее беззаветно преданных делу, которому они себя посвятили, но глубже понимающих истинный смысл совершающегося, более искушенных в политических хитросплетениях».

Да, вожди белого дела слишком горячо любили свою Родину и не шли на несовместимое с их идеалами политиканство. В этом была и их сила, и их слабость. Противники же белого движения, как в лице правящих кругов Германии, так и большевиков, не были склонны придавать слишком большое значение различным «сентиментальностям» и шли на все ради достижения своих целей. В качестве иллюстрации этого утверждения можно привести пример тех заигрываний, которые большевики вели с союзниками России по Антанте еще во время своих переговоров в Брест-Литовске.

«Заигрывал» с союзниками прежде всего сам Л. Д. Троцкий, который с января 1918 г. имел десятки встреч с представителями США, Англии и Франции Р. Робинсом, Б. Локкартом, Ж. Садулем и другими, обещая им всевозможные уступки (контроль союзников над железными дорогами в России, предоставление им Архангельска и Мурманска для ввоза товаров и вывоза оружия, разрешение допуска союзнических офицеров в армию Советской республики и т. д.) в ответ на поддержку Советской власти в борьбе с Германией. В конце концов Троцкий дошел до дикого предложения — «союзнической интервенции в Россию по приглашению большевиков», которое неоднократно официально обсуждалось на заседаниях ЦК РКП(б) (последний раз 13 мая 1918 г.). Позиция Троцкого была отклонена (он был смещен с поста наркома иностранных дел и заменен Г. В. Чичериным), однако ход событий мог бы быть и иным. Ведь даже В. И. Ленин в беседе с Б. Локкартом 29 февраля 1918 г. заявлял: «Поскольку существует германская опасность, я готов рискнуть на сотрудничество с союзниками, которое дало бы временные преимущества для нас обоих. В случае германской агрессии я буду готов даже принять военную помощь».

Одна пробная попытка «интервенции по приглашению» была все же большевиками предпринята в Мурманске. 2 марта 1918 г. между председателем Мурманского Совета Юрьевым, связанным с Троцким, и англо-французскими представителями было заключено соглашение, согласно которому англичане и французы брали на себя заботу о снабжении края необходимыми запасами, их офицеры были включены в Мурманский военный Совет, руководивший всеми вооруженными силами района, а 6 марта в Мурманск прибыло 150 солдат английской морской пехоты. Однако такое сотрудничество длилось недолго: центральная большевистская власть сделала тогда под давлением обстоятельств окончательную ставку на союз с Германией.

Ноябрьская революция 1918 г. в Германии, протрезвившая стратегов из Берлина (позднее и Вильгельм II, и генералы Людендорф и Гофман признали ошибочность своей ставки на большевиков), освободила последних от их «ненавистного» союзника, после чего в условиях международной изоляции большевики начали набирать очки за очками, не имея в отличие от белых армий никаких связей с интервентами, выступая объективно за сохранение государственной целостности России и вызывая тем самым патриотическую поддержку у части ее населения. Этот переход от политики «развала» государства к его «собиранию» и спас в конце концов новую власть.

Фактов засилья немцев в России в 1918 г. и их помощи большевикам в борьбе с контрреволюцией можно привести довольно много (см., например, выдержки из дневника жены Мельгунова П. Е. Мельгуновой-Степановой «Немцы в Москве», которые будут опубликованы в начинающем выпускаться издательством «Молодая гвардия» историческом вестнике «Былое»). Отметим лишь особую роль, которую сыграли в этом военнопленные Германии и ее союзников.

В ходе мировой войны к 1917 году в России оказалось 2,8 млн. иностранных беженцев и 2,2 млн. военнопленных: немцев — около 190 тыс., австрийцев — 450 тыс., венгров — 500 тыс., чехов и словаков — около 250 тыс., югославов — более 200 тыс., румын — более 120 тыс., турок — 63 тыс. человек и т. д. Вся эта огромная масса людей была втянута в водоворот революционного вихря и сыграла в нем не последнюю роль. Сразу после Октября в стране стали создаваться так называемые Комитеты военнопленных социал-демократов интернационалистов, поддерживавшие Советскую власть. В апреле 1918 г. в Москве прошел Всероссийский съезд таких военнопленных, на котором было представлено около 80 местных организаций с общим количеством членов в 500 тыс. человек. Лишь по официальным данным в 1918 г. в Красной Армии воевало 250—300 тыс. военнопленных интернационалистов.

Зададимся вопросом, не слишком ли много оказалось среди военнопленных социал-демократов — почти каждый четвертый? И не кроется ли здесь какая-либо загадка? По мнению Мельгунова, загадка в этом действительно есть, и частично она может быть объяснена тем, что германские военные круги, опасаясь официально создавать из немецких и австро-венгерских военнопленных формирования, поддерживающие Советскую власть, шли на это «под видом, что большевики организуют только интернационалистов».

Упоминаниями о поддержке большевиков рассыпанными по стране военнопленными Германии и ее союзников пестрят не только многие эмигрантские издания, но и материалы советской печати революционных лет. Наиболее наглядный пример тому дает «Красная книга ВЧК», изданная в 1920 году и ныне выпущенная во второй раз. В ней приведен удивительный документ, который свидетельствует о том, что 21 июля 1918 года «допущенная на основании Брестского договора правительством Советской Федеративной Республики и уполномоченная тем же правительством германская комиссия № 4» пленила в Ярославле участников антисоветского мятежа, организованного савинковцами. «Германская комиссия № 4,— говорилось в документе, подписанном лейтенантом Балком,— располагает сильной боевой частью, образованной из вооруженных военнопленных (около 1500 человек. — С. Д.), и займет для поддержания спокойствия в городе Ярославле до получения решения из Москвы положение вооруженного нейтралитета».

С перипетиями таинственных связей немцев и большевиков связана и еще одна загадка, которая вскользь упоминается Мельгуновым и имеет отношение к екатеринбургской трагедии. Обратимся вновь к воспоминаниям прекрасно осведомленного В. И. Гурко. По его данным, на переговорах членов «Правого центра» с представителями германского правительства определилось, что «немцы были весьма заинтересованы охранением жизни тех членов Царской семьи, которые могли занять русский престол», и постоянно утверждали, «что Царь находится в безопасности, и что они имеют при нем своих людей». По словам генерала, «германцы неоднократно требовали от Московской центральной власти доставле-

гия к ним Государя. В последний раз произошло это как раз после убийства их посла Мирбаха, когда они заявили намерение ввести в Москву часть своих войск. Большевики этому самым решительным образом воспротивились. Тогда немцы отказались от этого намерения под условием передачи им русского Императора. Большевики на это согласились, одновременно тогда же решив, что уничтожат всю Царскую семью, сваливши ответственность на какие-нибудь местные учреждения. Так они и сделали...

...Убийство Государя было для германцев не только совершенно неожиданным, но и весьма нежелательным событием. Именно гибель Царя изменила их отношение к вопросу о свержении большевиков. Немцы тогда еще вполне понимали то, что вожди белого движения понять не сумели, а именно: что всякое антибольшевистское движение, не возглавляемое непререкаемым в представлении народных масс и не их одних авторитетом, не сулит успеха».

Теперь уже достаточно ясно, что гибель представителей дома Романовых в России (не забудем, что кроме екатеринбургской трагедии почти одновременно кровь лиц царской династии пролилась в Перми, Алапаевске и позднее в Петрограде) была санкционирована руководством партии большевиков, которое решило одним жестоким ударом уничтожить разменную карту в руках слишком назойливого германского союзника и убрать со своей дороги опасных конкурентов на российскую власть. Тайное рано или поздно всегда становится явным, и надеемся, что завеса над загадочным альянсом первого года Октябрьской эпохи будет приподниматься и дальше.

С. П. МЕЛЬГУНОВ

ПРИОТКРЫВАЮЩАЯСЯ ЗАВЕСА

В № 6—7 «Знамя борьбы» (выходящий в Берлине орган левых социалистов-революционеров и союза с.-р. максималистов) в октябре (1924 г.) напечатана была заметка, на которую в печати никто не обратил внимания, несмотря на то, что она представляла собою исключительный интерес. Былые соратники большевиков, начавшие как будто в последнее время несколько прозревать, напечатали в своем органе под заголовком «Запрос большевистскому правительству» документ важности чрезвычайной — выдержку из протокола совместного заседания партийного совета и парламентской фракции германских соц. демократов 23 сентября 1918 г., на котором Шейдеман делал доклад о политическом положении. Эта выдержка гласит: «12 сентября состоялась конференция всех парламентских фракций, на которой говорилось о положении вещей и специально дополнительных к Брест-Литовскому договору соглашениях (с Россией)... В дальнейшем выяснилось, что, помимо этих дополнительных соглашений, существует еще протокол, в котором содержатся определенные военные соглашения, относящиеся к участию германских войск в освобождении Мурманского побережья. О подробностях я не могу больше ничего сказать. Наряду с этими планами, которые установлены в полном согласии с большевистским правительством, существовали еще особые планы генерала Гофмана и г. Гельфериха, которые, однако, решительно отклонялись канцлером (графом Гертлингом) и министром иностранных дел Гинце. Речь идет о возможном вступлении (германских войск) в Петербург, которое самими большевиками принималось в расчет ради их собственной защиты».

Помещая этот документ, «Знамя борьбы» сопроводило его таким комментарием: «Ради какой «защиты» большевики сговаривались в 1918 году с ген. Гофманом о занятии Петербурга? Ради защиты того же Мурманского побережья? Или они собирались защищаться штыками германской армии от бурно нараставшего в те месяцы движения рабочих в Петербурге? Было ли это приглашение германских войск в дни заседаний «собраний уполномоченных рабочих Петербурга» или в дни, когда с расстрелом 512 заложников начался свирепый «красный террор»?

Знаменательно, что все эти вопросы задают большевистской власти те самые левые с.-р., которые с достаточной старательностью негодовали в свое время на обвинение большевиков в связях с немецким военным штабом и которые принимали непосредственное участие в Брест-Литовских переговорах и т. д.

К сожалению, «Зн. Б.» не указывает источника, из которого оно заимствовало свое сенсационное сообщение. Между тем давно пора представителям германской демократии приподнять завесу над тайной, которая все еще опутывает взаимоотношения большевиков и старой правившей Германии. Затушеван был, а затем и похоронен, запрос Бернштейна о деньгах, полученных большевиками в дни революции от немецких властей по одной версии, и от немецких социалистов по версии другой, исходящей от самих большевиков (см. мою заметку «Большевистский историк о русской революции» в № 8 «На Чужой Стороне»).

Новый документ говорит уже не об этом первом этапе «предательства» интересов страны во имя фанатического догматизма. Он отвечает на сомнения, которые были у Эд. Бернштейна: не сделались ли большевики в дни Бреста жертвами необдуманного шага, когда они ради своей агитации по деловым соображениям воспользовались деньгами. Мы видим в действительности последовательно проводимую политику. На эту сторону надлежало бы обратить внимание тем политическим деятелям Франции, которые подчас склонны утверждать, что лишь неправильная тактика французского правительства оттолкнула большевиков от сближения с Францией. Ведь не только капитан Садуль склонен утверждать и тем смущать своих прежних друзей из «Роте Фане», что Ленин и Троцкий в конце 1917 года мечтали о продолжении войны с Германией в союзе с Францией. Сам Эррио готов был поверить версиям Каменева и Троцкого, о которых он рассказывал в своей прямо исключительно наивной книжке «La Russie Nouvelle». Троцкий проливал «слезы» перед Нулансом, задумывая одновременно ту «педагогическую демонстрацию», о которой он поведал ныне в своей книге о Ленине, в именно формулой «войну мы прекращаем, но мира не подписываем» — дать «рабочим Европы» доказательство «смертельной враждебности» большевиков к правящей Германии. «Педагогическая демонстрация» совершенно стушевалась, однако, перед опасением «военного разгрома революции». И то, что так смело большевиками говорилось, по мнению Эррио, в Бресте ген. Гофману, на других производило впечатление чрезмерно странной податливости. Не только мир был подписан. Столь ярые враги тайной дипломатии, какими официально проявляли себя большевики, поспешили заключить и дополнительные тайные договоры.

Все это наполовину еще загадка, требующая разъяснения. И только неожиданная публикация «Зн. Б.» побуждает приподнять завесу и коснуться документов, от пользования которыми мы пока воздерживались, так как некоторыми из них можно воспользоваться лишь отрывочно и частично...

Передо мною лежит копия конфиденциальной ноты ф. Гинце к Иоффе, полученная мною еще в 1918 г. из авторитетного источника. Об апокрифичности ее не может быть и речи — содержание ее находится в полном соответствии с изложением Шейдемана.

Несомненно, это именно та нота, о которой упоминает тогдашний лидер немецких с.-д. в своем докладе. Она помечена 27 авг. 1918 г. Вот она. Привожу ее целиком (в «Посл. Нов». были напечатаны лишь выдержки).

Нота Гинце

Министерство иностранных дел.
Берлин, 27 августа 1918 г.

Глубокоуважаемый господин Иоффе. Согласно наших переговоров относительно подписанного сегодня дополнительного договора к мирному договору, я имею честь подтвердить вам от имени императорского германского правительства конфиденциально, к отдельным постановлениям этого договора нижеследующее:

1) К статье 2, гл. 1. Установленная русско-германской комиссией пограничная линия должна проходить по восточному берегу Наровы, на расстоянии около километра от реки, соблюдая при этом границы волостей, и должна захватить и город Нарву с областью, необходимой для него в экономическом отношении. Напротив, восточный выступающий угол Курляндии, расположенный южнее Двины, должно округлить в общих чертах по линии Двинск — Дрисвяты при соблюдении границ волостей. По линии: Юго-западный угол Псковского озера — Лубанское озеро — Ливенгоф, граница должна быть проведена при возможном соблюдении административных единиц, равно как и следующих соображений: с одной стороны, экономические условия для города Пскова и положение русского Печерского монастыря говорят за проведение границы возможно восточнее,— с другой стороны, в области юго-западнее Псковского озера граница должна оставаться удобной для обороны Лифляндии.

2) К ст. 4. В проведении этого постановления Германия будет так же настаивать, чтобы из Украины не находило военной поддержки образование внутри Российского Государства самостоятельных государственных единиц.

3) К ст. 5. Присутствие в северных русских областях военных сил держав Согласия представляет постоянную серьезную угрозу находящимся в Финляндии германским военным силам. Если, поэтому, предусмотренные в ст. 5. отд. 1, русские действия не достигли бы в скором времени цели, то Германия сочла бы себя вынужденной предпринять со своей стороны такое действие, в случае нужды с привлечением финских войск. При этом русская область между Финским заливом и Ладожским озером, равно как

южнее и юго-восточнее этого озера не будет затронута без определенного согласия Российского правительства германскими и финскими войсками. Германское правительство ожидает, что такое выступление не будет рассматриваться Россией, как враждебный акт и не встретит никакого сопротивления. При этом предположении оно заверяет, что по окончании этого выступления, после изгнания военных сил держав Согласия и после заключения всеобщего мира, занятые русские области будут очищены от германских и финских войск, поскольку они не отходят к Финляндии по русско-финскому мирному договору. Также после изгнания военных сил держав Согласия оно восстановит русские гражданские власти в этих областях.

4) К ст. 7. В течение переговоров относительно Эстляндии и Финляндии было с русской стороны выражено желание, чтобы Германия взяла на себя поручительство за длительное разоружение Ревеля. Германское правительство полагает, что оно не может войти в этом отношении в договорное соглашение, так как опыт показал, что подобные соглашения являются источником международных трений. Оно, однако, решительно заявляет, что со стороны Германии существует намерение уничтожить после всеобщего мира крепостные сооружения Ревеля и в будущем не отстаивать Ревель, как крепость.

5) К ст. 12 гл. 2. Германское правительство ожидает, что Россия применит все средства, которыми она располагает, чтобы немедленно подавить восстание генерала Алексеева и чехо-словаков. С другой стороны и Германия выступит всеми имеющимися в ее распоряжении силами против генерала Алексеева. Взамен этого Россия будет требовать очищения указанного в ст. 12, гл. 2, разд. I железнодорожного участка лишь тогда, когда это позволит военное положение и при том соразмерно с особым относительно этого соглашением.

6) К ст. 12 гл. 3. Германия будет настаивать на том, чтобы Россия получила по мирному договору с Украиной часть Донецкого бассейна, соответствующую ее экономическим потребностям. С другой стороны, Россия будет требовать очищения отходящей к ней части Донецкого бассейна не ранее заключения всеобщего мира, не нарушая постановления ст. II гл. 2. Далее Германия будет настаивать на том, чтобы Украина предоставила одну треть своей добычи железной руды для вывоза в Россию, согласно особого по сему соглашения.

7) К ст. 13. Германия будет настаивать на том, чтобы Россия могла получить из Грузии одну четверть вывоза добытой там марганцевой руды, соразмерно особого относительно этого соглашения.

8) К ст. 14, гл. 1. Согласие Германии не оказывать содействия никакой третьей державе при возможных военных операциях на Кавказе, исключая Грузии, или указанные в ст. IV гл. 5 мирного договора, имеет силу и в том случае, если в течение этих операций по несчастному стечению обстоятельств произошло столкновение между русскими войсками и третьей державой. Такие столкновения поэтому подали бы повод Германии для какого-либо вмешательства, пока русские войска не перейдут границы Турции, включая и указанные округа, или границы Грузии.

9) К ст. 14, гл. 2. Германское правительство ждет до 30 сентября 1918 г. предложений Российского правительства относительно цифры наименьшего ежемесячного количества неочищенного масла и продуктов его, которые должны поставляться Россией.

10) К ст. 15. Германия оставляет за собой право употреблять в мирных целях военные суда Черноморского флота, вернувшиеся из Новороссийска в Севастополь, пока они остаются под германским наблюдением, согласно ст. 2 этой главы, в особенности для очищения от мин, равно как и для портовой и полицейской службы. Так же может последовать применение в случае военной необходимости для разных военных целей. За возникшую за время пользования порчу или возможные причиненные убытки Германия полностью вознаградит Россию.

11) Германия направит свои усилия на то, чтобы по ее представлению Финляндское правительство отпустило задержанных в качестве пленных финских красно-гвардейцев, поскольку они не находятся за обыкновенные преступления в заключении, предварительном или по приговору, освободило их от своего подданства и позволило им въезд в Россию. Напротив Россия обязуется принять этих лиц в русское подданство и не употреблять их в военных действиях против Финляндии или граничащих с Финляндией русских губерний, а также селить их в этих губерниях. Прошу Вас сообщить согласие Российского Правительства на постановление 1—2 по указанным вопросам, а также озаботиться о том, чтобы содержание этой ноты сохранилось конфиденциально, и пользуюсь случаем еще раз уверить Вас в моем совершенном и глубоком уважении.

Фон Гинце.

Еще задолго до конфиденциальной ноты Гинце для московских общественных кругов отнюдь не была секретом сущность переговоров, которые велись большевиками с немцами... Орган народных социалистов московское «Народное Слово» был закрыт большевиками за один намек о дополнительных пунктах к Брест-Литовскому договору, в которых говорилось о Польше. За нахождение копии этих пунктов при обыске поляк Лютославский был расстрелян летом 1918 года внесудебным порядком со спешностью, чрезвычайной и для большевиков того времени. Большевики старательно выполняли предписания императорского германского правительства: «озаботиться о том, чтобы содержание этой ноты сохранилось конфиденциально», как заключал фон Гинце свое письмо Иоффе. Но сведения разными путями просачивались, как видно хотя бы из заметки, помещенной в начале августа в № 1 нелегального «Информационного Листка», фактически издававшегося Союзом Возрождения. Излагая требования Германии, переданные Москве через дипломатического представителя, «Инф. Лист.» сообщил и ответ Совета Комиссаров: «Совет Комиссаров ответил в том смысле, что подавление чехо-словацкого мятежа и борьба с английским десантом вполне в силах русского правительства при условии привлечения для этой борьбы всех красноармейских частей, находящихся на оршанском, курском, гомельском и донском фронте. Поэтому Совет Комиссаров гарантирует Германии исполнение ее требований, если Германия с своей стороны гарантирует неприкосновенность демаркационной линии, как с своей стороны, так и со стороны Краснова».

Итак, немцы должны были помочь большевикам в дни гражданской войны, а большевики должны были явиться базой для борьбы с Антантой. И разве не прав в таком случае В. А. Мякотин, писавший про тогдашние настроения народных социалистов и «Союза Возрождения»: «борьба с Германией и борьба с предавшими ей Россию большевиками связывалась для нас в одно неразрывное целое».

Большевики отнюдь не отрицают теперь участия немцев военнопленных в борьбе с чехо-словаками, указывая лишь на количественную незначительность этих образований. Просматривая свой дневник за это время, я нахожу многочисленные отметки, свидетельствующие о военных образованиях среди военнопленных даже в Москве, а не только на театрах военных действий.

Тот же «Информационный Листок» в полном соответствии с действительностью отмечал согласие большевиков образовать из военнопленных особый батальон для охраны-де немецкого посольства после убийства Мирбаха, при условии, что эта «германская воинская часть будет одета в штатское платье, а отчасти и в красноармейскую форму». Дело в действительности пошло гораздо дальше. И не нужно моих личных показаний. При своем обычном цинизме большевики не постыдились напечатать в «Красной книге В. Ч. К.» сообщение о том, как немцы предали в руки большевиков остатки савинковского отряда в Ярославле.

Взаимоотношения устанавливались самые тесные — в сущности в Москве мы жили до известной степени под опекой большевистско-немецкой контрразведки. И снова у меня на руках документ, источник получения которого раскрывать во всей полноте еще преждевременно. Один мой добрый знакомый, к которому я мог относиться лишь с полным доверием,— человек железной воли и исключительной энергии, некогда, в эпоху самодержавия, член с.-р. боевой организации, с некоторой наклонностью к авантюрам — сумел войти в контакт с большевистско-немецкой контрразведкой и в Денежном переулке и на Поварской. Ему удалось там сделать выписки (у меня хранятся собственноручные его записи) из удивительного документа, представленного Мирбаху. Это список лиц, «подлежащих уничтожению при приходе оккупационных войск». Трудно сказать, кем, в сущности, составлялся этот список, насколько в нем сказалось официозное происхождение и насколько он был продуктом группового творчества, быть может, услужливости агентов власти. Не подлежит сомнению лишь его «большевистско-немецкое» происхождение. Масштаб захвачен широкий — не более, не менее, как 583 человека. Список состоит из трех отделов: 1) список групповой, 2) отдельных лиц и 3) военных. В групповой список вошли центральные комитеты, редакции, бюро правых эсеров, меньшевиков, народных социалистов Единства. Имеются специальные оговорки о некоторых лицах, «уничтожению не подлежащих». При списке нар. соц. есть заметка: «Сведения будут даны после проверки, но во всяком случае Алексинского Ив. Пав. щадить не должно»... Здесь же Союз городов — «весь коалиционный состав Правления, избранный служащими после ноября 1917 г.», далее идет городская управа — весь состав и т. д.

Список «отдельных лиц» сопровождается таким добавлением: «в виду тревожного времени не представляется возможным представить Вам точный список. Но в отдельной ведомости вы найдете человек 40, против уничтожения которых Вы, я думаю, ничего не будете иметь». Среди этих лиц фигурируют Струве, Кизеветтер, Белевский-Белоруссов, Савинков, Новгородцев, Федоров и т. д. При фамилии Локкарта сделана пометка: «особенно следить за невыездом». Подобные списки всегда несколько безграмотны — в списке «отдельных лиц» находим мы много несуразного. В списке «военных» помещены многие из тех, которые погибли затем в дни красного террора. В документе имеются указания, от кого именно получены списки о военных.

Я чувствую всю ответственность за сообщаемое мною, но я большего сказать сейчас считаю себя не вправе.

За этой грандиозной утопией скрывалась обыденная проза. Вылавливание и уничтожение реальных врагов — живой силы противников: офицеров союзнической ориентации. Здесь мы сталкиваемся с определенной уже провокацией со стороны немцев вкупе с большевиками.

Ген. Деникин в своих «Очерках» (том. III, стр. 84) про лето 1918 пишет: «В Москве и центральной России свирепствовал жестокий террор, обрушившийся с особенной силой на голову несчастного офицерства. В разгроме некоторых московских организаций ясно было сотрудничество немцев с большевиками. Конспирирующая Москва волновалась, возмущалась, называла имена... Когда гетманское правительство сочло необходимым заявить в Берлине протест против большевистского террора, германский министр иностранных дел Гинце ответил: «имперское правительство воздержится от репрессивных мер против Советской власти», так как то, что делается в России, «не может быть квали-

фицировано как террор, происходят лишь «случаи уничтожения попыток безответственных элементов... провоцирующих беспорядок и анархию». Да и как было вступиться немецкому правительству, когда в Москве его представители — старший советник посольства Рицлер и начальник контрразведки Мюллер находились в тесном сотрудничестве с Караханом и Дзержинским и снабжали их списками адресов, где должны были быть обнаружены преступные воззвания и сами заговорщики... против советской власти». (Обратим внимание, что ген. Деникин здесь делает ссылку на «Красную книгу В. Ч. К.».)

Я целиком готов подтвердить утверждения ген. Деникина. В свое время мы печатно должны были предупредить в нашем нелегальном листке о сомнительности некоторых военных организаций, явно действующих на немецкие деньги и вовлекающих офицерство в «десятки» с провокационными целями. Через то же лицо, которое передало мне документ и которое погибло впоследствии во время попытки к бегству при аресте, удалось выяснить систематические провалы некоторых «десятков» и проследить связь их с немецко-большевистской контрразведкой.

Ген. Деникин свое повествование заканчивает словами: «При свете этих поздних откровений, какая жуткая роль приходится на долю руководителей противо-большевистских организаций, работавших в контакте с немцами». Да, именно потому среди нас и вызвало такое негодование сообщение о тех переговорах с немцами, которые вели представители правых политических группировок, о которых теперь очень суммарно рассказано в воспоминаниях Гурко («Арх. Русск. рев.» XV) и в показаниях Котляревского («На Чужой Стороне», № 8).

Оценка приведенных фактов, мне кажется, вводит существенный корректив к довольно частым теперь утверждениям об ошибочности той тактики, которая в борьбе с большевиками стремилась воссоздать русский фронт против Германии. Вся конъюнктура говорила о том, что война, в сущности, продолжается, хотя и приобрела в России своеобразный характер, сплетая войну с гражданской борьбой. В этой конъюнктуре вопрос о так называемой союзнической интервенции в свою очередь приобретал совершенно особый характер. Оценивая «ошибочные мысли», приходится исходить всегда из конкретной действительности. Московская атмосфера весны и лета 1918 года, когда зачиналось и развивалось так называемое «белое» (добровольческое) движение, показывает воочию, что во многих отношениях был прав Союз Возрождения, считавший вредной тактику частных выступлений против большевиков в Совдепии и говоривший о подготовке «более широкого и планомерного движения, которое было бы направлено одновременно и против Германии и против большевиков» (В. Мякотин. «Из недалекого прошлого», «На Чужой Стороне», № 2). В то время начинать это движение из центра нельзя было без напрасной растраты сил.

Фактическими хозяевами в Москве тогда, в значительной мере, были немцы. В любой момент могли они сбросить большевиков, найдя поддержку в некоторых общественных кругах и в обывательских настроениях. Они предпочли играть двойную игру: одну со Скоропадским, другую в Совдепии. Мы знаем, что в правящих кругах Германии не было единомыслия в этом отношении. В итоге центральные державы предпочли покинуть территорию Советов и прекратить переговоры с «дружественным» Германии, но бессильным» большевистским правительством. Чем ознаменовалась бы перемена курса германской политики в дальнейшем, нам не суждено знать. С революцией в Германии перевернулась навсегда одна из страниц прошлого. В этой странице еще необычайно много таинственного. Многое напоминает собой сказки Шехеразады, в которые поверить может лишь тот, кто в гуще жизни переживал все эти перипетии нашей революции.

Многое неправдоподобное становится в освещении фактов правдоподобным. Когда я перелистываю свой дневник за это время, где записаны сообщения современников, я наталкиваюсь на факты, которые могут вызвать лишь ироническую улыбку у скептиков. И, к сожалению, я должен закрывать свой дневник до времени, ибо опубликование всех этих апокрифических рассказов имеет смысл лишь при упоминании имен. Этого я сделать не могу. Между тем, открытия будут подчас самые неожиданные. Я не знаю, каковы были реальные отношения между Вырубовой и Коллонтай. Все ли следует отнести к легендам, как утверждает Вырубова в своих воспоминаниях, из того, что рассказывали в Совдепии? Но я не сомневаюсь в том, что Вырубова в Смольном не заседала; возможно, что обе упомянутые дамы не творили проектов возведения на престол наследника Алексея под регентством Леопольда Баварского и Генриха Прусского. Но вот что для меня лично несомненно: в конце еще 17 года и в начале 18 г. среди некоторых большевиков, разочарованных в возможности социальной революции, шли разговоры о «сдаче» власти, и для ускорения социальной революции в будущем они предпочитали сдать власть самому крайнему реакционному монархизму. Для такого утверждения у меня, как это ни странно, имеются авторитетные свидетельства. Это сказка? Подождем и увидим. И кто знает, не послужили ли эти мысли некоторых ответственных большевиков, в связи с переговорами, которые вели другие с немцами, истинной причиной екатеринбургской трагедии. Ведь это также одна из таинственных страниц недавнего прошлого.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Русская мысль

СЕРГЕЙ БУЛГАКОВ

КАРЛ МАРКС КАК РЕЛИГИОЗНЫЙ ТИП

Тема этого этюда может вызвать недоумение и потому нуждается в некотором объяснении. По моему убеждению, определяющей силой в духовной жизни человека является его религия — не только в узком, но и в широком смысле слова, т. е. те высшие и последние ценности, которые признает человек над собою и выше себя, и то практическое отношение, в которое он становится к этим ценностям. Определить действительный религиозный центр в человеке, найти его подлинную душевную сердцевину — это значит узнать о нем самое интимное и важное, после чего будет понятно все внешнее и производное. В указанном смысле можно говорить о религии у всякого человека, одинаково и у религиозно-наивного, и у сознательно отрицающего всякую определенную форму религиозности. Для христианского понимания жизни и истории, кроме того, несомненно, что человеческой душой владеют и историей движут реальные мистические начала, и притом борющиеся между собой, полярные, непримиримые. В этом смысле религиозно-нейтральных людей, собственно говоря, даже нет, фактически и в их душе происходит борьба Христа и «князя мира сего». Мы знаем, что могут быть люди, не ведающие Христа, но Ему служащие и творящие волю Его, и, наоборот, называющие себя христианами, но на самом деле Ему чуждые; наконец, и среди отрицателей и религиозных лицемеров есть те, которые по духу своему предвозвещают и грядущего самозванца, имеющего прийти «во имя свое» и найти многих приверженцев. Чей же дух владеет тем или иным историческим деятелем, чья «печать» лежит на том или ином историческом движении? И особенно часто случается вновь и вновь передумывать этот вопрос в применении к столь сложному, противоречивому и в то же время значительному течению духовной жизни нового времени, как социализм, понимаемый именно как проявление духовной жизни. Сама историческая плоть социализма, т. е. социалистическое движение, может воодушевляться разным духом и принадлежать к царству света или сделаться добычей тьмы.

И при размышлениях о религиозной природе современного социализма мысль невольно останавливается на том, чей дух наложил такую глубокую печать на социалистическое движение нового времени, так что должен быть отнесен к числу духовных отцов его, — на **Карле Марксе.** Кто он? Что он представляет собой по своей религиозной природе? Какому богу служил он своей жизнью? Какая любовь и какая ненависть зажигали душу этого человека?

Дать возможно определенный, окончательный ответ на этот основной и решающий вопрос марксизма было и личной потребностью для автора, в течение нескольких лет находившегося под сильным влиянием Маркса, целиком отдававшегося усвоению и развитию его идей и так трудно и мучительно освобождавшегося затем от гипноза этого влияния. Хочется свести концы с концами, последний раз проверить себя и, уходя навсегда из прежнего жилища, оглядеть охлажденным критическим взглядом предмет пылкого молодого увлечения.

На поставленный вопрос читатель и не ожидает, конечно, получить прописной и незамысловатый ответ, способный удовлетворить разве только ретивых марксистов из начинающих, именно — что душа Маркса вся соткана была из социалистических чувств, что он любил и жалел угнетаемых рабочих, а ненавидел угнетателей-капиталистов и, кроме того, беззаветно верил в наступление светлого царства социализма.

Если бы все это было так просто, не о чем было бы, конечно, и говорить. Однако это и так, и в то же время не совсем так, во всяком случае, неизмеримо сложнее и мудренее. И, прежде всего, что касается личной психологии Маркса, то, как я ее воспринимаю, мне кажется довольно сомнительным, чтобы такие чувства, как любовь, непосредственное сострадание, вообще теплая симпатия к человеческим страданиям, играли такую, действительно первенствующую роль в его душевной жизни. Недаром даже отец его в студенческие годы Маркса обронил как-то в письме к нему фразу: «Соответствует ли твое сердце твоей голове, твоим дарованиям?» К сожалению, при характеристике личности Маркса и истории его жизни мы останавливаемся пред полным почти отсутствием всякого документального материала. Потому в характеристике Маркса неизбежно остается простор для субъективизма. Если судить по печатным трудам Маркса, душе его вообще была гораздо доступнее стихия гнева, ненависти, мстительного чувства, нежели противоположных чувств, — правда, иногда святого гнева, но часто совсем не святого. Заслуживает всяческого сочувствия и уважения, когда Маркс мечет громы на жестокость капиталистов и капитализма, на бессердечие теперешнего общественного строя, но как-то уже иначе воспринимается это, когда тут же, вместе с этими громами, встречаешь высокомерные и злобные выходки против несогласномыслящих, кто бы это ни был — Лассаль или Мак-Куллох, Герцен или Мальтус, Прудон или Сениор. «Демократический диктатор» — так определяет Маркса Анненков (в известных своих воспоминаниях). И это определение кажется нам правильно выражающим общее впечатление от Маркса, от этого нетерпеливого и властного самоутверждения, которым проникнуто все, в чем отпечаталась его личность.

Характерной особенностью натур диктаторского типа является их прямолинейное и довольно бесцеремонное отношение к человеческой индивидуальности, люди превращаются для них как бы в алгебраические знаки, предназначенные быть средством для тех или иных, хотя бы весьма возвышенных целей или объектом для более или менее энергичного, хотя бы и самого благожелательного воздействия. В области теории черта эта выразится в недостатке внимания к конкретной, живой человеческой личности, иначе говоря, в игнорировании проблемы индивидуальности. Это теоретическое игнорирование личности, устранение проблемы индивидуального под предлогом социологического истолкования истории необыкновенно характерно и для Маркса. Для него проблема индивидуальности, абсолютно неразложимого ядра человеческой личности, интегрального ее естества не существует. Маркс-мыслитель, невольно подчиняясь здесь Марксу-человеку, растворил индивидуальность в социологии до конца, т. е. не только то, что в ней действительно растворимо, но и то, что совершенно не растворимо, и эта черта его, между прочим, облегчила построение смелых и обобщающих концепций «экономического понимания истории», где личности и личному творчеству вообще поется похоронная песнь. Маркса не смутил, не произвел даже сколько-нибудь заметного впечатления бунт Штирнера, который был его современником и от которого так круто приходилось учителю Маркса Фейербаху, он благополучно миновал, тоже без всяких видимых последствий для себя, могучий этический индивидуализм Канта и Фихте, дыханием которых был напоен самый воздух Германии 30-х годов. И уж тем более Марксу не представлялась возможной разъедающая критика «подпольного человека» Достоевского, который, в числе других прав, отстаивает естественное право на... глупость и прихоть, лишь бы «по своей собственной глупой воле пожить». В нем не было ни малейшего предчувствия бунтующего индивидуализма грядущего Ницше, когда он зашнуровывал жизнь и историю в ломающий ребра социологический корсет. Для взоров Маркса люди складываются в социологические группы, а группы эти чинно и закономерно образуют правильные геометрические фигуры, и это упразднение проблемы и заботы о личности, чрезмерная абстрактность есть основная черта марксизма, и она так идет к волевому, властному душевному складу создателя этой системы. В воспоминаниях о Марксе его дочери (Элеоноры) сообщается, что Маркс любил поэзию Шекспира и часто его перечитывал. Мы не можем, конечно, заподозрить правильность этих показаний, возможны всякие капризы вкуса, однако, ища следов этого увлечения и осязательного влияния Шекспира на Маркса в сочинениях этого последнего, мы должны сказать, что такового вообще не замечается. И это не удивительно, потому что просто нельзя представить себе более чуждой и противоположной для всего марксизма стихии, нежели мир поэзии Шекспира, в котором трагедия индивидуальной души и неисследимые судьбы ее являются центром. Право, кажется, почти единственный след, который мы находим у Маркса от Шекспира, это цитата из «Тимона Афинского» о золоте и затем не менее приличествующее экономическому трактату упоминание о Шейлоке, но именно внешний характер этих упоминаний только подтверждает нашу мысль о том, что у Маркса нет внутреннего соприкосновения с Шекспиром и музыка душ их совершенно не сливается в одно, а производит чудовищный диссонанс. Маркс, несмотря на свою бурную жизнь, принадлежит к числу людей, чуждых всякой трагедии, внутренне спокойных, наименее сродных мятущейся душе Шекспира. Указанная нами основная черта личности и мировоззрения Маркса, его игнорирование проблемы индивидуального и конкретного в значительной степени предопределяет и общий его религиозный облик, предрешает его сравнительную нечувствительность к остроте религиозной проблемы, ибо ведь это прежде всего проблема индивидуального. Это есть вопрос о ценности моей жизни, моей личности, моих страданий, об отношении к Богу индивидуальной человеческой души, о ее личном, а не социологическом только спасении. Та единственная в своем роде, незаменимая, абсолютно неповторяемая личность, которая только однажды на какой-нибудь момент промелькнула в истории, притязает на вечность, на абсолютность, на непреходящее значение, которое может обещать только религия, живой «Бог живых» религии, а не мертвый бог мертвых социологий. И эта-то помимо религии и вне религии неразрешимая, даже просто невместимая проблема и придает религиозному сознанию, религиозному сомнению и вообще религиозным переживаниям такую остроту, жгучесть и мучительность. Здесь, если хотите, индивидуалистический эгоизм, но высшего порядка, эмпирическое себялюбие, та высшая духовная жажда, то высшее утверждение «я», тот святой эгоизм, который повелевает погубить душу свою для того, чтобы спасти ее, погубить эмпирическое, тленное и осязательное, чтобы спасти духовное, невидимое и нетленное. И это — не проблема, а мука индивидуальности, эта загадка о человеке и человечестве, о том, что в них есть единственно реального и непреходящего, о живой душе сопровождает мысль во всех изгибах, не позволяет религиозно уснуть человеку, из нее, как из зерна растение, вырастают религиозные учения и философские системы, и не есть ли эта потребность и способность к «исканию горнего» явное свидетельство нездешнего происхождения человека!

Как мы сказали, Маркс остается мало доступен религиозной проблеме, его не беспокоит судьба индивидуальности, он весь поглощен тем, что является общим для всех индивидуальностей, следовательно, не-индивидуальным в них, и это неиндивидуальное, хотя и не-внеиндивидуальное, обобщает в отвлеченную формулу, сравнительно легко отбрасывая то, что остается в личности за вычетом этого неиндивидуального в ней, или с спокойным сердцем приравнивая этот остаток к нулю. В этом и состоит пресловутый «объективизм» в марксизме: личности погашаются в социальные категории, подобно тому, как личность солдата погашается полком и ротой, в которой он служит. Влад. Соловьев выразился однажды по поводу Чичерина, что это ум по преимуществу «распорядительный», т. е. в подлинном смысле слова доктринерский, и вот таким распорядительным умом обладал и Маркс. Поэтому и настоящий аромат религии остается недоступен его духовному обонянию, а его атеизм остается таким спокойным, бестрагичным, доктринерским. У него не зарождается сомнения, что социологическое спасение человечества, перспектива социалистического «Zukunftstaat'a» может оказаться недостаточным для спасения человека и не может заменить собой надежды на спасение религиозное. Ему непонятны и чужды муки Ивана Карамазова о безысходности исторической трагедии, его опасные для веры в социологическое спасение человечества вопрошания о цене исторического прогресса, о стоимости будущей гармонии, о «слезинке ребенка». Для разрешения всех вопросов Маркс рекомендует одно универсальное средство — «практику» жизни (die Praxis); достаточно оглушить себя гамом и шумом улицы, и там, в этом гаме, в заботах дня, найдешь исход всем сомнениям. Мне это приглашение философские и религиозные сомнения лечить «практикой» жизни, в которой бы некогда дохнуть и подумать, в качестве исхода именно от этих сомнений (а не ради особой самостоятельной ценности этой «практики», которую я не думаю ни отрицать, ни уменьшать) кажется чем-то равносильным приглашению напиться до бесчувствия и таким образом сделаться нечувствительным к своей душевной боли. Приглашение вываляться в «гуще жизни», которое в последнее время стало последним словом уличной философии и рецептом для разрешения всех философских вопросов и сомнений, и у Маркса играет роль ultima ratio философии, хотя и не в такой, конечно, оголенной и вульгарной форме. «Философы достаточно истолковывали мир, пора приняться за его практическое переустройство» — вот девиз Маркса, не только практический, но и философский.

Хотя Маркс был нечувствителен к религиозной проблеме, но это вовсе еще не делает его равнодушным к факту религиозности и существованию религии. Напротив, внутренняя чуждость, как это часто бывает, вызывает не индифферентизм, но прямую враждебность к этому чуждому и непонятному миру, и таково именно было отношение Маркса к религии. Маркс относится к религии, в особенности же к теизму и христианству, с ожесточенной враждебностью, как боевой и воинствующий атеист, стремящийся освободить, излечить людей от религиозного безумия, от духовного рабства. В воинствующем атеизме Маркса мы видим центральный нерв его деятельности, один из главных ее стимулов, борьба с религией — истинный, хотя и сокровенный практический мотив и его важнейших чисто теоретических трудов. Маркс борется с Богом религии и своей наукой, и своим социализмом, который в его руках становится средством для атеизма, оружием для освобождения человечества от религии. Стремление человечества «устроиться без Бога, и притом навсегда и окончательно», о котором так пророчески проникновенно писал Достоевский, в числе других получило одно из самых ярких и законченных выражений в док-

трине Маркса. Эту внутреннюю связь между атеизмом и социализмом у Маркса, эту подлинную душу его деятельности обыкновенно или не понимают, или не замечают, потому что вообще этой стороной его мало интересуются, и для того чтобы показать это с возможной ясностью, нужно обратиться к истории его духовного развития.

Каково, собственно, было общефилософское мировоззрение Маркса, насколько вообще уместно говорить о таковом? На этот счет создалась целая легенда, которая гласит, что Маркс вышел от Гегеля и первоначально находился под его определяющим влиянием, был, стало быть, в некотором смысле тоже гегельянцем и принадлежит к гегельянской «левой». Так склонны были понимать свою философскую генеалогию в более позднее время, по-видимому, и сам Маркс и Энгельс. Известна, по крайней мере, та лестная самохарактеристика, которую дал Энгельс в 1891 году немецкому социализму, т. е. марксизму (в устах Энгельса это, конечно, синонимы), в надписи на своем портрете: «Мы, немецкие социалисты, гордимся тем, что происходим не только от Сен-Симона, Фурье и Овена, но от Канта, Фихте и Гегеля». Здесь устанавливается прямая преемственность между классическим немецким идеализмом и марксизмом, и признание такой связи стало общим местом социально-философской литературы.

И вот, обозревая литературно-научную деятельность Маркса во всем ее целом, от философской диссертации о Демокрите и Эпикуре до последнего тома «Капитала», мы приходим к заключению, довольно резко расходящемуся с общепринятым: **никакой преемственной связи между немецким классическим идеализмом и марксизмом не существует,** последний вырос на почве окончательного разложения идеализма, следовательно, лишь как один из продуктов этого разложения. Если некоторая, хотя и слабая связь между социализмом и идеализмом еще и существовала в Лассале, то разорвана окончательно она была именно в результате влияния Маркса. Вершина немецкого идеализма закончилась отвесным обрывом. Произошла, вскоре после смерти Гегеля, беспримерная философская катастрофа, полный разрыв философских традиций, как будто мы возвращаемся к веку «просвещения» (Auflärung) и французскому материализму XVIII века (к которому Плеханов и приурочивает генезис экономического материализма, и это во всяком случае ближе к действительности, нежели мнение о гегельянстве Маркса).

Маркс — это фейербахианец, впоследствии несколько лишь изменивший и восполнивший доктрину учителя. Нельзя понять Маркса, не поставив в центр внимания этого основного факта. Маркс сам не называл себя учеником Фейербаха, которым в действительности был, предпочитая почему-то называть себя учеником Гегеля, которым не был. После 40-х годов имя Фейербаха уже не встречается у Маркса, а Энгельс упоминает о нем как об увлечении прошлого и резко себя ему противопоставляет. И, однако, употребляя любимое выражение Фейербаха, следует сказать, что Фейербах — это невысказанная тайна Маркса, настоящая его разгадка.

Легко понять, что, усвоив мировоззрение Фейербаха, Маркс должен был окончательно и навсегда потерять вкус к Гегелю, даже если он когда-либо его и имел. Известно, какую роль для Фейербаха играет борьба с Гегелем, причем борьба эта вовсе не есть симптом дальнейшего развития системы в руках ученика, хотя и отходящего от учителя, но продолжающего его же дело, а настоящий бунт, окончательное отрицание спекулятивной философии вообще, которая олицетворялась тогда в Гегеле, отпадение в грубейший материализм в метафизике, сенсуалистический позитивизм в теории познания, гедонизм в этике. Все эти черты усвоил и Маркс, который тем самым покончил и со своим философским прошлым, которое у него было. Между классическим идеализмом и марксизмом стал Фейербах и навсегда разделил их непроницаемой стеной. Поэтому-то и неожиданное причисление себя к ученикам Гегеля в 1873 году со стороны Маркса есть какой-то каприз, может быть, кокетство, историческая реминисценция — не больше.

Нам известно, что центральное место в философии Фейербаха занимает религиозная проблема, основную тему ее составляет отрицание религии богочеловечества во имя религии человекобожия, богоборческий воинствующий атеизм. Именно для этого-то мотива и оказался наибольший резонанс в душе Маркса; из всего обилия и разнообразия философских мотивов, прозвучавших в эту эпоху распадения гегельянства на всевозможные направления, ухо Маркса выделило мотив религиозный, и именно богоборческий.

В 1848 году вышло «Das wesen des Christenthums» Фейербаха, и сочинение это произвело на Маркса и Энгельса (по рассказам этого последнего) такое впечатление, что оба они сразу стали фейербахианцами. Маркс выступает ортодоксальным фейербахианцем. Можно отметить разве только своеобразный оттенок при восприятии учения Фейербаха о религии, которое имеет у него, так сказать, два фронта. Фейербах не только критикует христианство и всякий теизм, но и проповедует в то же время атеистическую религию человечества, хочет быть пророком этой новой религии и обнаруживает даже своеобразное «благочестие» в этой роли, которое так беспощадно и высмеивает в нем Штирнер. Вот это-то «благочестие» Фейербаха, его трогательное стремление преклонения перед святыней, хотя бы это был грубейший логический идол, совершенно не свойственно душе Маркса. Он берет только одну сторону учения Фейербаха — критическую, и острие его критики оборачивает против всякой религии, вероятно не делая в этом отношении исключения и для религии своего учителя. Он стремится к полному и окончательному упразднению религии, к чистому атеизму, при котором не светит уже никакое солнце ни на небе, ни на земле.

Дело философии, т. е. учения Фейербаха, именно теоретическое освобождение человечества от религии, и дело пролетариата объединяются здесь в одно целое — пролетариату поручается миссия исторического осуществления дела атеизма, т. е. практического освобождения человека от религии. Вот где подлинный Маркс, вот где обнаруживается настоящая «тайна» марксизма, истинное его естество!

Это место цитируется обыкновенно для подтверждения мнимой связи марксизма с классической философией, как ее хотел установить и Энгельс. Читатель видит, однако, что в нем нельзя усмотреть ничего подобного. Напротив, здесь скорее отвергается такая связь, поскольку классическая идеалистическая философия неизменно соединялась с теми или иными религиозными идеями и поскольку, кроме того, учение Фейербаха, в действительности здесь разумеющееся, отрицает идеалистическую философию в основе. Сообразно такому мировоззрению на языке Маркса «человеческая эмансипация» значит в это время именно освобождение от религии. Эта точка зрения особенно выясняется в споре с Бауэром по еврейскому вопросу. Он указывает здесь недостаточность чисто политической эмансипации, потому что при ней остается еще религия.

У Маркса «любовь к дальнему» и еще не существующему превращается в презрение к существующему «ближнему», как испорченному и потерянному, и христианству ставится в упрек, что оно исповедует равноценность всех личностей, учит в каждом человеке чтить человека.

Здесь снова всплывает характерное пренебрежение Маркса к личности.

Настоящий человек явится только при следующих условиях, когда упразднит свою индивидуальность, и человеческое общество превратится не то в Спарту, не то в муравейник или пчелиный улей, тогда и совершится человеческая эмансипация. С той легкостью, с которой Маркс вообще перешагивает через проблему индивидуальности, и здесь он во имя человеческой эмансипации, т. е. уничтожения религии, готов растворить эмансипируемую личность в темном и густом тумане, из которого соткано это «родовое существо», растаивающее в воздухе при всякой попытке его осязать.

Но в этом суждении сказывается и характерное бессилие атеистического гуманизма, который не в состоянии удержать одновременно и личность и целое, и поэтому постоянно из одной крайности попадает в другую: то личность своим бунтом разрушает целое и, во имя прав индивида, отрицает вид (Штирнер, Ницше), то личность упраздняется целым, какой-то социалистической Спартой, как у Маркса. Только на религиозной почве, где высшее проявление индивидуальности роднит и объединяет всех в сверхиндивидуальной любви и общей жизни, только соединение людей через Христа в Боге, т. е. Церковь, личный и вместе сверхличный союз способен преодолеть эту трудность и, утверждая индивидуальность, сохранить целое.

Мы не можем пройти молчанием суждения Маркса по еврейскому вопросу, в которых жестокая прямолинейность и своеобразная духовная слепота его проявляются с особенною резкостью. С той же легкостью, с какой он топит личную индивидуальность в «родовом существе» во славу «человеческой эмансипации», он упраздняет и национальное самосознание, коллективную народную личность, притом своего собственного народа, наиболее прочную и не растворимую в волнах и ураганах истории, эту ось всей мировой истории.

Еврейский вопрос для Маркса есть вопрос о процентщике — «жиде», разрешающийся сам собою с упразднением процента. На меня то, что написано Марксом по еврейскому вопросу, производит самое отталкивающее впечатление. Нигде эта ледяная, слепая, однобокая рассудочность не проявилась в таком обнаженном виде, как здесь. Но приведем лучше подлинные суждения Маркса.

«Вопрос о способности еврея к эмансипации превращается для нас в вопрос: какой особый общественный элемент надо преодолеть, чтобы упразднить еврейство? Ибо способность к эмансипации современных евреев есть отношение еврейства к эмансипации современного мира. Это отношение с необходимостью вытекает из особого положения еврейства в современном порабощенном мире.

Постараемся вглядеться в действительного еврея-мирянина, не еврея субботы, как это делает Бауэр, а в еврея будней.

Какова мирская основа еврейства? Практическая потребность, своекорыстие.

Каков мирской культ еврея? Торгашество. Кто его мирской бог? Деньги.

Но в таком случае эмансипация от торгашества и денег — следовательно, от практического, реального еврейства — была бы самоэмансипацией нашего времени.

Организация общества, которая упразднила бы предпосылки торгашества, а следовательно, и возможность торгашества, — такая организация общества сделала бы еврея невозможным. Его религиозное сознание рассеялось бы в действительном, животворном воздухе общества, как унылый туман.

Эмансипация евреев в ее конечном значении есть эмансипация человечества от еврейства.

Что являлось, само по себе, основой еврейской религии? Практическая потребность, эгоизм.

Деньги — это ревнивый бог Израиля, пред лицом которого не должно быть никакого другого бога.

Бог евреев сделался мирским, стал мировым богом. Вексель — это действительный бог еврея. Его бог — только иллюзорный вексель.

То, что в еврейской религии содержится в абстрактном виде — презрение к теории, искусству, истории, презрение к человеку как самоцели, — это является действительной, сознательной точкой зрения денежного человека, его добродетелью.

Химерическая национальность еврея — национальность купца, вообще денежного человека.

Ради чего же сын поднял руку на мать, холодно отвернулся от вековых ее страданий, духовно отрекся от своего народа?»

Ответ совершенно ясен во имя рационализма и вражды к религии, во имя последовательного атеизма. Бр. Бауэр выставил утверждение, с которым и полемизирует в статье своей Маркс, что еврейский вопрос есть в корне своем религиозный, вопрос об отношении еврейства и христианства. Я всецело разделяю это мнение, да с точки зрения христианских верований иное понимание судеб еврейства и невозможно. Исторические и духовные судьбы еврейства связаны с отношением иудаизма к христианству. Мы не имеем в виду здесь углубляться в этот вопрос, но для нас несомненно, что именно религиозные утверждения и отрицания, притяжение и отталкивание определяют в основе исторические судьбы еврейства.

Несмотря на весь атеизм значительной части теперешнего еврейства, на весь его материализм, и практический и теоретический, под всеми этими историческими напластованиями все-таки лежит религиозная подпочва, которую умел почувствовать и так поразительно обнаружить религиозный гений Влад. Соловьева. Но Маркс, конечно, не мог примириться с религиозным пониманием еврейского вопроса, а чтобы провести здесь последовательно антирелигиозную точку зрения, ему пришлось пожертвовать своей национальностью, произнести на нее хулу и впасть в своеобразный, не только практический, но даже и религиозный антисемитизм.

Итак, мы видим, что уже с сороковых годов Марксу было совершенно чуждо то принципиальное безразличие в делах религии, которое нашло свое официальное выражение в программном положении социал-демократической партии Германии и Австрии, что «религия есть частное дело» (Privatsache). Конечно, и со стороны партии это есть условное лицемерие, вызванное тактическими соображениями, главным образом условиями агитации в деревне. Достаточно и поверхностного знакомства с литературой и общим настроением партии последователей Фейербаха и Маркса, чтобы убедиться в неискренности этого заявления, ибо, конечно, это пока есть партия не только социализма, но и воинствующего атеизма. Маркс же вообще никогда не делал из этого тайны. В своем известном критическом комментарии на проект Готской программы Маркс протестует против выставленного там требования «свободы совести», называя его буржуазным и либеральным, ввиду того, что подразумевается свобода религиозной совести, между тем как рабочая партия, напротив, должна освободить совесть от религиозных фантомов.

Нам могут, однако, возразить, что мы познакомились с философско-религиозным мировоззрением Маркса in statu nascendi, в такую эпоху, когда сам Маркс не был марксистом, не выработав еще той своеобразной доктрины, которая обычно связывается с его именем в политической экономии и социологии. Не отрицая этого последнего факта, мы утверждаем, однако, что в 1844 году Маркс выступает перед нами в религиозно-философском отношении окончательно сложившимся и определившимся. Никаких принципиальных перемен и переворотов после этого в своей философской вере он не испытывал. В этом смысле общая духовная тема его жизни была уже дана, основной религиозно-философский мотив ее вполне создан. Речь могла идти не о **что**, а о **как**, и этим **как** и явился марксизм, представляющий собой в наших глазах лишь частный случай фейербахианства, его специальную социологическую формулу.

Итак, всемирно-историческая задача человеческой самоэмансипации встала в сознании Маркса. Нужно было найти соответствующее средство для ее разрешения. Таким средством и явился «научный социализм», систему которого Маркс и начинает разрабатывать в своей научной деятельности. И с этого времени круг его теоретических интересов и занятий, насколько мы можем определить его по его сочинениям и его собственным показаниям о себе, суживается и сосредоточивается преимущественно, чтобы не сказать исключительно, на политической экономии и текущей политике.

Коснемся в заключение того своеобразного отпечатка, который получил у Маркса социализм. И здесь мы должны констатировать, что наиболее глубокое, определяющее влияние Маркса на социалистическое движение в Германии, а позднее и в других странах, проявилось не столько в его экономической программе, сколько в общем религиозно-философском облике.

Правда, своими экономическими трудами Маркс определил мировоззрение социал-демократических теоретиков и через них — официальное credo партии. Однако это теоретическое credo отнюдь не связано столь неразрывно с фактической программой, которой является не теоретический марксизм, а так называемая программа-минимум, более или менее общая у всех демократических партий, независимо от их отношения к Марксу. Ощутительное влияние марксизма сказывается здесь только тем, что его догма вяжет еще ноги партии в аграрном вопросе, да и здесь настоятель-

ная нужда жизни заставляет окончательно пренебречь этой догмой, как это и сделали уже русские социал-демократы, делают и немецкие. Кроме того, для всякого экономиста должно быть очевидно, насколько отстала от развивающейся жизни и социальной науки и чисто экономическая доктрина Маркса уже в силу времени; обнаруживая все новые изъяны и просто устаревшая, она все в большей степени представляет чисто исторический интерес, отходит на божницу истории политической экономии, где имя Маркса, конечно, должно быть сопричислено к сонму почетных имен Кенэ, Смита, Рикардо, Листа, Родбертуса и других творцов политической экономии.

Итак, как ни рискованно подобное утверждение и как ни противоречит оно господствующему мнению, мы все же считаем весьма правдоподобным, что и без Маркса рабочее движение отлилось бы в теперешнюю политическую форму, создалась бы социал-демократическая рабочая партия приблизительно с такой же программой и тактикой, как и существующая. Но Маркс наложил на нее неизгладимую печать своего духа в отношении философско-религиозном, а через посредство Маркса и Фейербах. Общая концепция социализма, выработанная Марксом, конечно, проникнута этим духом, отвечает потребностям воинствующего атеизма; он придал ему тот тон, который, по поговорке, делает музыку, превратив социализм в средство борьбы с религией. Как бы ни представлялись ясны общие исторические задачи социализма, но конкретные формы социалистического движения, мы знаем, могут весьма различаться по своему духовному содержанию и этической ценности. Оно может быть воодушевляемо высоким, чисто религиозным энтузиазмом, поскольку социализм ищет осуществления правды, справедливости и любви в общественных отношениях, но может отличаться преобладанием чувств иного, не столь высокого порядка: классовой ненависти, эгоизма, той же самой буржуазности — только навыворот, одним словом, теми чувствами, которые под фирмой классовой точки зрения и классовых интересов играют столь доминирующую роль в проповеди марксизма. Негодование против зла есть, конечно, высокое и святое чувство, без которого не может обойтись живой человек и общественный деятель, однако есть тонкая, почти неуловимая и тем не менее в высшей степени реальная грань, пройдя которую это святое чувство превращается в совсем не святое; мы понимаем всю легкость, естественность, даже незаметность такого превращения, но преобладание чувств того или иного порядка определяет духовную физиономию и человека, и движения.

Вся доктрина Маркса, как она вытекла из основного его религиозного мотива — из его воинствующего атеизма; и экономический материализм, и проповедь классовой вражды, и отрицание общечеловеческих ценностей и общеобязательных норм за пределами классового интереса, наконец, учение о непроходимой пропасти, разделяющей два мира — облеченный высшей миссией пролетариат и «общую реакционную массу» его угнетателей, — все эти учения могли действовать, конечно, только в том направлении, чтоб огрубить, оземлянить, придать более прозаический и экономический характер социалистическому движению, сделать в нем слышнее ноты классовой ненависти, чем ноты всечеловеческой любви. Мы отнюдь не приписываем внесение этого оттенка в движение влиянию одного только Маркса, напротив, это духовное искушение для социалистического движения и без него слишком велико и, конечно, нашло и находит много путей и раньше и теперь (и у нас в России), но Маркс был могущественным его орудием. Личное влияние Маркса в социалистическом движении отразилось более всего именно усилением той антирелигиозной, богоборческой стихии, которая в нем бушует, как и во всей нашей культуре, и которая не скажет своего последнего слова, не получив адекватного, хотя и последнего своего воплощения.

С великой мудростью и глубоким пониманием истинного характера антирелигиозной стихии, стремящейся овладеть социалистическим движением и обольстить его, Владимир Соловьев в повести об антихристе рисует его, между прочим, и социальным реформатором, социалистом.

И в социализме, как и по всей линии нашей культуры, идет борьба Христа и антихриста.

* * *

«Да приидет Царствие Твое! Да будет воля Твоя на земле как и на небе!»

Такова наша молитва. Такова же и конечная цель мирового и исторического процесса. Таков должен быть высший и единственный критерий для оценки человеческих деяний, определяющий их как плюс или минус в мироздании, дающий им абсолютный и окончательный, т. е. религиозный коэффициент... И, верные этому требованию, хотя отнюдь не дерзая на подведение общего итога, мы должны различить и в Марксе, наряду с работой Господней, энергию совсем иного порядка, зловещую и опасную, — он загадочно и страшно двоится. Социалистическая деятельность Маркса, как одного из вождей движения, направленного к защите обездоленных в капиталистическом обществе и к преобразованию общественного строя на началах справедливости, равенства и свободы, по объективным своим целям, казалось бы, должна быть признана работой для созидания Царствия Божия. Но то обстоятельство, что он хотел сделать это движение средством для разрушения святыни в человеке и поставления на место ее самого себя и этой целью руководился в своей деятельности, с религиозной точки зрения должно получить отрица-

тельную оценку; здесь мы имеем именно тот тонкий и самый опасный соблазн, когда добро и зло различаются не снаружи, а изнутри. Что здесь перевешивает — плюс или минус, мы узнаем это только тогда, когда подведен будет и наш собственный баланс, а сами должны оставить вопрос открытым. Однако высказать здесь то, что после многолетнего и напряженного всматривания в духовное лицо Маркса мы в нем увидели и чего не видят многие другие, мы сочли своим нравственным долгом, делом совести, как бы ни было это принято теми, кому сродни как раз эта темная, теневая сторона Марксова духа.

1906.

Послесловие

Предлагаемая сейчас читателю работа С. Н. Булгакова является подлинно новаторской: она открывает дверь в мир совершенно новых идей, соображений, вопросов. Само ее название кажется парадоксальным: как можно говорить о «религиозном типе» мыслителя и революционера, имя которого теснее всего связано с «материалистическим взглядом на историю»? На самом же деле автор лишь исходит в данной конкретной ситуации из общего принципа, высказывавшегося и им самим и многими другими (Л. Толстым, В. Розановым): человека без «религиозной установки» просто не существует, она может быть им только более или менее ясно осознана, но, как говорит Булгаков, именно она составляет «подлинную душевную сердцевину» человека. Только уяснив ее, можно действительно понять другие стороны человеческой жизни. Формулировкой этого принципа и начинается работа, а потом, с захватывающей дух смелостью, автор берется проверить его на самом парадоксальном, казалось бы, явно его опровергающем примере.

«Кто он? Что он представляет собой по своей религиозной природе? Какому богу служил он своей жизнью? Какая любовь и какая ненависть зажигали душу этого человека?» — спрашивает Булгаков о Марксе. Какой же ответ он предлагает? В чем видит «религиозный центр» Маркса?

Прежде всего в том, что, по мнению Булгакова, в вечном противостоянии человеческого, индивидуального начала действию бездушных космических и социальных сил Маркс полностью «растворяет» первое начало во втором. В частности, на пути «экономического понимания истории, где личности и личному творчеству вообще поется похоронная песня». И дальше, идя вглубь, автор и эту черту выводит из «воинствующего атеизма», борьбы с Богом, опора на которого только и дает возможность осознать вечность и абсолютность неповторимой человеческой индивидуальности. Из этого основного религиозного мотива проистекает, как говорит Булгаков, вся доктрина Маркса: «экономический материализм, и проповедь классовой вражды, и отрицание общечеловеческих ценностей и общеобязательных норм за пределами классового интереса...»

Как же отразилась фундаментальная богоборческая установка Маркса в его учении? Какова логическая цепь, на одном конце которой находится «борьба с Богом и религией», а на другом — разветвленное учение марксизма? В напечатанной здесь работе Булгаков только указывает на такую связь, но этой работой не исчерпывались размышления Булгакова на затронутые в ней темы. Он предпринял и другую не менее интересную попытку связать марксизм и вообще «научный социализм» с категориями религиозной мысли. В статьях «Апокалиптика и социализм», «Первохристианство и новейший социализм», некоторых параграфах книги «Очерки по истории экономических учений» и в брошюре «Христианство и социализм» он сопоставляет новейшие социалистические концепции с древней религиозной литературой так называемой «иудейской апокалиптики» (первые века до и после Р. Х.). Речь идет о сочинениях, приписываемых древним, символическим авторам: Адаму, Еноху, Варуху и т. д. и содержащих изложение общего плана человеческой истории. Они охватывают как историю, к моменту публикации протекшую, но обычно изложенную как якобы пророчество, так и предсказание будущего в буквальном смысле. Эту литературу можно, по словам Булгакова, понимать как очень абстрактную «философию истории». Она основывается на вере в детерминизм истории, доступный человеческому пониманию. Это выражается в ней своеобразным абстрактным языком, при помощи символов: зверей, чисел, эпох. Владение такой «философией истории» дает знание будущего. Оно рисуется прежде всего в виде грядущей грандиозной катастрофы, социального переворота, гибели врагов Израиля и грешников, избиения великих мира, беспорядков и ужасов. Катастрофа завершается воцарением в Иерусалиме Мессии — иногда божественного, иногда смертного, человеческого, иногда просто символа еврейского народа. После этого наступает новая эра счастья, необычайного плодородия, полной власти над природой.

Булгаков сравнивает картину детерминированно сменяющих друг друга эпох и концепций истории как борьбы нескольких сил, символизированных апокалиптическими зверями — с современной идеологией прогресса и «законов истории». Овны, козлы, львы играют ту же роль, что абстрактные социологические понятия вроде «способ производства», «производительные силы», а смена эпох и царств соответствует смене «исторических формаций». Описание эсхатологического катаклизма он сопоставляет с предсказываемой всемирной пролетарской революцией, а царство Мессии — с будущим обществом, когда человечество совершит наконец «скачок из царства необходимости в царство свободы». Булгаков пишет: «В этом смысле современный социализм представляет собой возрождение древнеиудейских мессианских учений, и К. Маркс, вместе с Лассалем, суть новейшего покроя апокалиптики, провозглашающие мессианское царство». И надо признаться, что, читая, например, в написанной много позже книге Троцкого «Литература и революция», как в будущем коммунистическом обществе «средний человеческий уровень подымется до уровня Аристотеля, Гете и Маркса», действительно ощущаешь атмосферу апокалипсиса Варуха, где говорится о царстве Мессии: «И будет земля в 10 000 раз давать плод свой, и на одной виноградной лозе будет 1000 ветвей, и на каждой ветви 1000 кистей, а каждая кисть будет приносить 1000 ягод, а каждая ягода даст кору вина».

Интересно, что близкие взгляды позже Булгакова, но независимо от него, высказывали и другие социологи. Так, К. Ясперс писал, что движущая сила, притягательность марксизма определяется не его критикой социальной несправедливости и не идеологией «научного социализма». Она, по его мнению, основывается на переживании древней мифологической концепции «мирового пожара» — разрушения и возрождения обновленного мира и рождения нового человека. Похожий взгляд высказывает и В. Зомбарт в книге «Пролетарский социализм». Он считает, что в основе психологии Маркса лежал бесконечно притягательный для него образ грандиозного переворота. Стремление к этому перевороту обозначалось в среде тогдашней немецкой радикальной интеллигенции термином «революционирование». Революционированию подлежала семья, религия, государство. Лишь средством на этом пути был для Маркса социализм, теория классовой борьбы и диктатуры пролетариата. Именно это глубинное, основополагающее переживание «революционирования», всемирного переворота, по мнению Зомбарта, имел в виду Энгельс, когда сказал в погребальной речи над могилой Маркса: «Маркс был прежде всего революционером». Наконец, в недавно появившейся в Англии книге Брюса Маклиша «Значение Карла Маркса» автор трактует марксизм как «мирскую религию», цель которой — санкционировать мировоззрение, возникшее в результате индустриальной революции.

В предлагаемой читателю работе Булгаков жалуется на почти полное отсутствие документального материала, характеризующего духовную жизнь Маркса. Теперь, много десятилетий спустя, такого материала опубликовано значительно больше, и надо сказать, что он подтверждает основные тенденции работы Булгакова. Так, он пишет: «Что касается личной психологии Маркса, то, как я ее воспринимаю, мне кажется довольно сомнительным, чтобы такие чувства, как любовь, непосредственное сострадание, вообще теплая симпатия к человеческим страданиям, играли такую действительно первенствующую роль в его душевной жизни...», «душе его вообще была гораздо доступнее стихия гнева, ненависти, мстительного чувства...». Эта догадка находит много подтверждений в подробной публикации переписки Маркса. Булгаков цитирует письмо отца Маркса: «Соответствует ли твое сердце твоей голове, твоим способностям?». Драматической иллюстрацией может служить, например, письмо Маркса Энгельсу от 8 января 1863 года. В ответ на сообщение о смерти гражданской жены Энгельса — Мэри Маркс пишет, что и у него масса неприятностей: нет денег, булочник требует по счету и т. д. Энгельс отвечает: «ты счел этот момент подходящим для того, чтобы проявить превосходство своего холодного образа мышления» (письмо от 13 января 1863 г.). По письмам Маркса видно, какое тяжелое чувство неприязни вызывало у него большинство людей, с которыми он сталкивался. Как лейденская банка, заряженная агрессивностью и обидчивостью, «нетерпеливым и властным самоутверждением», по словам Булгакова, он все время выстреливает какими-то разрядами раздражения. Такие эпитеты, как ослы, животные, собаки, кретины, болваны, сволочь, мелькают в его отзывах о близких родственниках, друзьях, партийных товарищах, пролетариате и даже человечестве.

Позднейшие публикации подтвердили и мысль Булгакова, что духовное развитие Маркса далеко не было лишено точек соприкосновения с областью религиозных переживаний. Так, первая известная его работа называлась: «Единение верующих со Христом по Евангелию от Иоанна гл. 15, стихи 1—14, его сущность, безусловная необходимость и оказанное им влияние» (Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, кн. 3, 1927). Работа выдержана в духе очень рационалистической, риторической религиозности. Потом Маркс пережил тяжелый духовный кризис, отразившийся в ряде его стихов (опубликованы в полном немецком издании Сочинений Маркса и Энгельса, Берлин, 1930, 1 том, II полутом). Типичной является поэма «Ouланэм» (парафраза имени Эмануил, т. е. «с нами Бог» <евр.>). Стиль ее такой:

Все смелее и смелее я играю танец смерти,
И они тоже: Оуланэм, Оуланэм.
Это имя звучит, как смерть,
Звучит, пока не замрет в жалких корчах.
Стой! Теперь я понял! Оно поднимается из моей души.
Ясное, как воздух, прочное, как мои кости.
И все же тебя, олицетворенное человечество,
Я схвачу могучими руками и раздавлю с яростной силой.
В то время, как бездна зияет передо мной и тобой в темноте,
Ты проваливаешься в нее и я следую за тобой,
Смеясь и шепча тебе на ухо: «Идем со мною вниз, друг».

...Подобных стихов множество. Лишь после того, как Маркс пережил этот кризис, началась та линия его духовного развития, которая отразилась в его известных работах.

Конечно, вопрос, которому посвящена статья Булгакова, далеко не сводится к анализу индивидуальной психологии К. Маркса. В личности Маркса скрестились линии действия нескольких духовных течений, определявших судьбы человечества в последние столетия. Поэтому, «вглядываясь в духовное лицо Маркса», мы глубже понимаем многое и в марксизме и социализме вообще, и в материалистическом и экономическом взгляде на историю и в «научном мировоззрении». Попытка Булгакова связать весь этот комплекс идей и эмоций с, казалось бы, бесконечно далекой от него сферой религиозных переживаний представляется исключительно важной. Протекшее после публикации работы Булгакова время сделало такое сопоставление еще более убедительным. Мы столько раз видели, например, что марксизм вел людей на баррикады, давал им силы для борьбы в подполье, для партизанской войны в джунглях Индокитая и трущобах южноамериканских городов, породил своих мучеников. Это никак нельзя объяснить научной убедительностью его построений: научные истины не выясняются на баррикадах! Не объяснить этого и призывами к социальной справедливости, состраданием «униженным и оскорбленным». Такое «сентиментальное» восприятие жизни плохо согласуется с апелляцией к суровым железным законам исторического развития. Формулируя концепцию «перманентной революции», Маркс пишет: «Мы говорим рабочим: вы должны пережить 15, 20, 50 лет гражданской войны и международных битв не только для того, чтобы изменить существующие отношения, но чтобы и самим измениться и стать способными к политическому господству» («Разоблачения о кельнском процессе коммунистов»). Можно представить себе, какие «изменения» могут произойти в результате 50 лет гражданской войны! И чем может быть привлекательна перспектива этого моря страданий ради блага будущих поколений, которых сегодняшние борцы даже не увидят? Да которое к тому же все равно осуществится в силу непреложных исторических законов! Очевидно, привлекает какой-то другой элемент учения. Значит, в нем есть нечто заставляющее людей жертвовать своими повседневными жизненными интересами, да и самой жизнью — а это типичная черта религиозных течений. Подобные черты характерны и для более широкого мировоззрения — материализма и веры в прогресс. Например, Грэм Грин в романе «Сила и слава» говорит об одном герое, участнике жестокого гонения на церковь в Мексике в 20-е годы: «Он также был мистиком. Его переживание было — Пустота, полная вера в умирающий, остывающий мир, в людей, развившихся из животных без какой-либо цели. Он знал». Подобно религии марксизм отрицает взгляд на историю как на хаотическое сцепление случайных событий, он предлагает «объяснение» истории, «разгадку ее тайны» — да и не одной человеческой истории, а всего космоса.

Задав вопрос о «религиозной природе» Маркса, Булгаков пишет: «На поставленный вопрос читатель и не ожидает, конечно, получить простой и незамысловатый ответ». Мне кажется, можно сказать и больше: на такой вопрос вряд ли можно надеяться получить окончательный ответ, который не порождал бы новых вопросов.

Как и всякий значительный прорыв в духовной области, работа Булгакова ставит больше вопросов, чем предлагает ответов. В самом деле, он спрашивает о Марксе: «Какому богу служил он своей жизнью?» — и отвечает, что это была борьба с Богом. Но разве борьба с Богом является служением какому-то другому богу? Булгаков утверждает, что религия, собственно, есть у каждого человека; какая религия была у Маркса и проявилась в марксизме — это он и хочет выяснить. В работе «Первохристианство и новейший социализм» он пишет: «Ибо социализм в наши дни выступает не только как нейтральная область социальной политики, но, обычно, и как религия, основанная на атеизме и человекобожии...». Однако, несмотря на существенные черты, общие у марксизма и религии, у них имеются и не менее фундаментальные отличия. Работа Булгакова слишком глубока и оригинальна, было бы бесконечно жалко, если бы она осталась просто брошенным красивым замечанием, не претендующим на систематическое, логическое продумывание. Поэтому хочется обсудить те вопросы и недоумения, которые она порождает.

Основной чертой каждой религии является вера в то, что кроме нашего «земного» мира существует другой, «высший» мир, в котором, собственно, и содержится «объяснение» нашего мира, последние разгадки его тайн, оправдание наших страданий и с которым в то же время мы, в принципе, способны общаться. Вот простейший пример. В каком-либо охотничьем сибирском народе заболел человек. Приглашают шамана, и он начинает камлание. В абсолютной темноте он рассказывает собравшимся, как подымается все выше и выше, преодолевает ряд опасностей и попадает в «верхний мир». Там он обнаруживает мышь, которая свалилась в яму и не может из нее выбраться. Он помогает ей спастись. Когда шаман возвращается в чум, больному уже стало лучше, в болезни произошел перелом. И такое представление лежит в основе всех религий (всего, что обычно называют религией) — от камлания шамана до заупокойной службы в православной церкви. Но ничего подобного мы не встречаем в марксизме: все категории, которыми он оперирует, исчерпываются пределами «нашего» мира, как бы абстрактны они ни были. Создатели всех религиозных течений всегда основывались на своем непосредственном опыте соприкосновения с этим «высшим миром». Подробно описано возникновение многих сект в прошлом и этом веке: их создатели находили уверенность и силу в видениях, знаках, голосах. Но у Маркса мы не находим (быть может, за исключением юношеских стихов) никаких следов таких переживаний. Он именно подчеркивает чисто научный, рациональный характер своей системы. Быть

может, это лишь маскировка? Но тогда он *этим* кардинально отличается от создателей религиозных течений, которые не только не скрывали свои откровения, но именно в них видели основное подтверждение своего авторитета, своей харизмы. Вывод напрашивается такой: в марксизме имеются очень существенные черты, общие с религией, но религией — в том смысле, как это понятие всегда употреблялось, — назвать его нельзя. В каком же смысле можно тогда говорить о «Карле Марксе как религиозном типе»?

Сформулировав такой вопрос, мы сразу заметим, что и Булгаков высказывается в этой связи с чрезвычайной осторожностью, делает ряд уточняющих оговорок. Так, его внимание привлекает «религия — не только в узком, но и в широком смысле слова, т. е. те высшие и последние ценности, которые признает человек над собой и выше себя...». И далее: «*В указанном смысле* можно говорить о религии у всякого человека, одинаково и религиозно-наивного, и у сознательно отрицающего всякую определенную форму религиозности» (выделено мною. — И. Ш.). Явно автор чувствует, что здесь он привлекает к рассмотрению не только религию, религиозное чувство в общепринятом смысле этого слова, но и какую-то гораздо более широкую область человеческих переживаний. Быть может, именно в этих указаниях состоит наибольшая ценность работы Булгакова. Из внимания историков и социологов, видимо, почти полностью выпала громадная область коллективных духовных переживаний, «социальных инстинктов». Для них характерна способность охватывать колоссальные массы людей, вызывать у них жертвенность, пренебрежение к сиюминутным интересам. Они создают именно такие ценности, которые, по словам Булгакова, «человек признает над собою и выше себя». Причем ценности эти часто перевешивают и логику и длительный горький опыт. Такие черты присущи религиозным течениям, но здесь мы имеем гораздо более широкую область духовной жизни.

Интересно, что и иудейская апокалиптика, с которой Булгаков сопоставляет марксизм, за исключением религиозной терминологии, плохо согласуется с обычным стилем религиозных памятников. Абстрактность, деперсонифицированность этих произведений и сам Булгаков противопоставляет духу израильских пророков, основывавшемуся всегда на вере в непосредственное соприкосновение с божеством: «Было мне слово от Господа». Эту более широкую область можно, следуя словоупотреблению Булгакова, называть религией «в широком смысле слова», но мне кажется, что бо́льшую ясность внесет, если древний термин «религия» сохранит традиционное содержание, а для более широкого понятия будет создан новый термин.

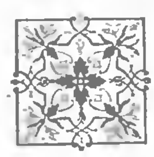
Булгаков несомненно чувствовал, в какую новую область он вступает, сколько возникает новых вопросов, от ответов на которые еще далеко. Он писал, например: «...мы должны видеть и в Марксе, наряду с работой Господней, энергию совсем иного порядка, зловещую и опасную, — он загадочно и страшно двоится». Что это за особая «энергия», он не разъясняет, бросая этим лишь намек будущим исследователям. К сожалению, значительного развития идеи Булгакова не получили. Современное мышление находится под слишком сильным влиянием естественнонаучных и технологических штампов, которые просто неприложимы к смелым и тонким идеям Булгакова.

Мысли, содержащиеся в предложенной читателю статье Булгакова и других примыкающих к ней работах,— это драгоценное наследство, которое он нам оставил. Но наследники мало оценили доставшийся им клад: собственно, они еще даже не потрудились вступить во владение наследством.

Игорь ШАФАРЕВИЧ.

БИБЛИОГРАФИЯ ДРУГИХ РАБОТ о. С. БУЛГАКОВА О МАРКСИЗМЕ И СОЦИАЛИЗМЕ

1. «Апокалиптика и социализм». Сборник «Два града», Москва, 1911.
2. «Первохристианство и новейший социализм». Тот же сборник.
3. «Очерки по истории экономических учений». Выпуск I. 2-е издание. Москва, 1918, Глава 1.
4. «Христианство и социализм». Москва, 1917.



«Интернационалисты» — сами о себе

ПЕРЕЧТЕМ ИМЕНА НА СКРИЖАЛЯХ

С исторической памятью — памятью последних семидесяти лет — происходит примерно то же, что с валютным долгом СССР. Все республики получали свою долю от валютного пирога, разве что России (в пропорциональном отношении) доставалось меньше других. Теперь, обретя суверенитет, в том числе и в финансовой политике, ни одна республика не хочет принять на себя обязательств по внешней задолженности. Видимо, русскому мужику придется платить за всех.

Вот и с памятью — каждая республика имела своих революционных героев, свой «золотой запас», которым оплачивались идеологические амбиции, а отчасти и те же хозяйственные претензии. Латвия настойчиво напоминала о вкладе латышских стрелков в революцию. Эстония воздвигала памятники Иоханнесу Лауристину. Грузия и Армения гордились доблестью Камо и других боевиков, добывавших деньги для революции путем «экспроприации экспроприаторов».

И вдруг начавшаяся переоценка социалистического прошлого радикально изменила ситуацию. Как только речь зашла о всенародном покаянии за миллионы жертв революции, гражданской войны, коллективизации, форсированного социалистического строительства, все отказались платить долг чести и памяти. Более того — во всеуслышание заявили (и повторяют день ото дня громче, переходя уже на крик), что только и именно русский мужик виновен во всех ужасах и беззакониях. Впрочем, что же с него взять? — бессмысленная жестокость у него в крови. Хотя взять все-таки следует, если не наличными, так имуществом, созданным его трудом, на землях союзных республик...

А как же рыцари латышского пролетариата «без страха и упрека». Чьими усилиями — по свидетельству С. Мельгунова, автора книги «Красный террор», и не его одного — создана ВЧК. Но прежде чем создать этот совершенный орган истребления всякого «классово чуждого» и просто подозрительного элемента, бойцы латышских отрядов совершили еще один подвиг — в прямом смысле слова спасли революцию от «несознательной» русской солдатни. В издающемся в США журнале «Кадетская перекличка» опубликовано интересное свидетельство современника тех давних событий: «когда Совнарком выезжал из Петрограда, в ночь с 10 на 11 марта на станции Малая Вишера поезд был окружен отрядом матросов в 400 человек и 200 солдатов, которые намеревались учинить расправу с «жидовским правительством», продавшим Россию немцам и вывозившим с собой золото. Положение спасли латышские стрелки» (1989, № 47).

Как же это удалось грузинским националистам совместить борьбу с московским тоталитаризмом и почитание Джугашвили-Сталина? Где память о бесчисленных большевиках из Закавказья, вершивших судьбы Союза — от Микояна и Мясникяна до Орджоникидзе и Енукидзе? Почему исламские активисты, говоря о борьбе 20-х годов, не вспоминают о красных мусульманских дивизиях из Татарстана, пронзивших как нож пустыни и горы Средней Азии?

А если обернуться в сторону наших восточноевропейских границ, откуда в последнее время в адрес русского народа звучат красочные, но непереводимые эпитеты и сухие, охотно переводимые на деловой язык, претензии, то позволительно спросить — где же память о венгерских интернационалистах, расстрелявших императора России? Почему забыта не безвыгодная сделка чехов, выговоривших право вывезти из Сибири русское золото в обмен на выдачу красным адмирала Колчака. А штурм Ярославля в 1921 году Красной Армией под руководством «товарища Геккера» (мстившего за убийство Нахимсона и Закгейма) и интернациональным отрядом бывших немецких военнопленных под командованием лейтенанта Балка? Руины этого древнего города, одного из исторических центров, вокруг которых формировалась русская нация, еще долго напоминали о силе объединившегося мирового пролетариата. «...От города Ярославля, этой красы и гордости Поволжья, особенно богатого историческими памятниками, почти ничего не осталось», — свидетельствовали очевидцы.

Ах, это все малодостойные искатели приключений, ничего общего с благовоспитанными рижскими бюргерами, пильзенскими пивоварами, исламскими фундаменталистами не имеющие! Так почему же наследники Льва Толстого, Николая Федорова, Федора Достоевского — этих гигантов нравственной философии, этих тончайших инструментов этики Мирового Духа, принуждены отвечать за деяния русских революционеров!

Нет, речь не о новом витке взаимных обвинений и не об обоюдном списывании грехов. Речь о достоверности в очередной раз подновляемых исторических хроник. Отбросим всякую пристрастность. Не обвинители со стороны — сами участники исторического процесса и их наследники расскажут об их деяниях. Журнал предоставляет трибуну участникам этого важного для уяснения исторической истины разговора, открывая новую рубрику: *«Интернационалисты» — сами о себе.*

Сегодня слово еврейским публицистам. Почему им первым? Отчасти это своеобразная дань вкладу еврейских деятелей в революционные события. Современники, в том числе и еврейские публицисты, отмечали широчайшую вовлеченность еврейства в революционный процесс. Известна кичливая декларация некоего Когана, писавшего в 1919 году в харьковской газете «Коммунист»: «можно сказать без преувеличения, что великий русский социальный переворот в действительности является делом рук евреев. Евреи ведут храбрые массы русского пролетариата к победе. Недаром при выборах во все советские учреждения евреи получают подавляющее большинство голосов... Символ еврейства... сделался символом русского пролетариата, что видно из принятия красной пятиконечной звезды, которая, как известно, в старые времена являлась символом сионизма и еврейства».

В последние десятилетия вопрос о степени вовлеченности еврейства в события 1917—1937 годов трактуется по-иному. Всякая попытка указать на исторические реалии, почти единодушно квалифицируется советской прессой как проявление антисемитизма. Например, не так давно в подобном духе оценила высказывания В. Распутина газета «Известия».

Нетерпимость в этом вопросе московской «перестроечной» прессы особенно очевидна на фоне оживленного обсуждения проблемы в печати самого Израиля. Там журналисты не считают нужным замалчивать активную роль евреев в послереволюционной советской истории. Причем во многих публикациях проявляется нескрываемая гордость своими соплеменниками — правда, уже не классовая, а сугубо национальная. Именно к такого рода материалам относятся публикуемые сегодня статьи М. Зарубежного (журнал «Алеф», 1989, № 263) и А. Абрамовича (фрагмент его книги, опубликованной в Тель-Авиве в 1982 году).

Разумеется, далеко не все соплеменники помянутых авторов разделяют их гордость множеством еврейских имен, навечно занесенных на самые кровавые страницы русской истории. Поэтому мы сочли необходимым познакомить читателей с отрывками из статьи И. Бикермана — одного из наиболее ярких и авторитетных критиков участия евреев в русской революции.

Взгляды И. Бикермана не то что отличны от воззрений М. Зарубежного и А. Абрамовича — они полярны по отношению к ним. Различия в подходах и оценках столь велики, что статьи оказалось невозможно напечатать под одной рубрикой. И. Бикерман глубоко оскорбился бы, если бы его назвали «интернационалистом». Сам он с гордостью именовал себя русским евреем. Приверженность религии предков он сочетал с глубокой любовью к земле, которая стала его Отчизной.

Взгляды, талантливо выраженные И. Бикерманом, разделяло немало еврейских публицистов. В начале 20-х годов они выпустили сборник статей «Россия и евреи», переизданный уже в наши дни парижским издательством YMCA-PRESS. Рассмотрению этой книги в контексте современных споров посвящена статья А. Казинцева. Мы надеемся, что публикуемые материалы в своей совокупности позволят читателям получить достаточно объемное представление о вопросе, возбуждающем шумные дискуссии.

М. ЗАРУБЕЖНЫЙ

«...Некоторые евреи в России первые 20—25 лет Советской власти активно ей помогали».

Г. Померанц
(«Литературная газета», 1990, № 28).

ЕВРЕИ В КРЕМЛЕ

«Во всем виноваты евреи! Слишком их много было в Кремле. Не по той дороге вели они нас...»

Но ведь точно так говорили и тогда, когда все выглядело благополучно и далеко за горизонтом видно было одно только солнце. Да и до революции евреев обвиняли в тех же смертных грехах.

Получается такая картина — сначала обвиняли за то, что среди большевиков слишком много евреев. Затем как раз это и ставилось им в заслугу. В наши дни в России снова вернулись к дореволюционному «тезису» и ищут причины российских бед то в Троцком, Каменеве и Зиновьеве, то в Мехлисе, Ярославском и Кагановиче... За последнего совсем недавно даже пришлось заступиться в советской прессе известному историку Рою Медведеву. Невольно спросишь себя: а много ли их было тогда, евреев, там, наверху?

И так же невольно — без анализа причин и без рассуждений, хорошо это или плохо,— ответишь себе:

— Таки да, много! Очень много!

Я наткнулся на такую книжечку, которая

могла бы послужить наглядным пособием для современных советских антисемитов. Нам вовсе нечего опасаться обвинений. Как раз наоборот: активное участие евреев в тогдашней государственной жизни может лишний раз объяснить, почему тогда государственные дела обстояли лучше, чем сейчас, когда еврея днем с огнем не найдешь наверху.

Книжка эта издана в 1925 году, на самой заре сталинско-хрущевско-брежневской эры и озаглавлена очень сухо: «Ежегодник Народного комиссариата по иностранным делам». Это, по сути, справочник для иностранных представителей, и не случайно он продублирован на французский язык. Встречаются же в этом перечне не только славянские имена, как в наше время, но также «инородческие», в том числе и еврейские. Справочник этот представляет собой библиографическую редкость, такую же, как еврей в Кремле.

С тогдашнего еврея факсимиле не сделаешь, а вот с титульного листа книжки я снял копию. Читателя же познакомлю лишь выборочно с некоторыми еврейскими именами.

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР:

Лев Борисович Каменев — заместитель председателя.

Арон Львович Шейнман — нарком внутренней торговли.

Я. М. Дробнис — член административно-финансовой комиссии.

И. Я. Целикман, Я. А. Берман, А. Я. Каплан — члены комиссии законодательных предположений.

Моисей Ильич Фрумкин — заместитель наркома внешней торговли.

М. Я. Кауфман — ответственный работник этого же наркомата.

С. В. Бернштейн-Коган — ответственный работник Народного комиссариата путей сообщения.

Артемий Моисеевич Любович — заместитель наркома почт и телеграфов.

Е. В. Гирштейн — начальник отдела международных отношений этого наркомата.

Я. И. Гиндин, С. М. Вундерлих и Л. Е. Минц — заведующие отделами Народного комиссариата труда.

А. З. Гольман и З. Б. Кацнельсон — ответственные работники Высшего совета народного хозяйства.

Израиль Яковлевич Вейцер — член коллегии Наркомата внутренней торговли.

Лазарь Борисович Залкинд — начальник статистико-экономического управления этого же наркомата.

Арон Исаакович Вайнштейн — член коллегии Народного комитета комиссариата финансов.

И. И. Рейнгольд, А. С. Каганович, А. А. Новицкий, И. О. Шлейфер — начальники отделов этого же наркомата.

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ:

Исаак Израилевич Шварц, Соломон Израилевич Лозовский, Григорий Натанович Мельничанский — члены президиума ВЦСПС.

Яков Кивович Яглом — председатель профсоюза работников народной связи.

Наум Маркович Анцелович — председатель профсоюза земли и леса.

Захар Давыдович Гимельфарб, Лазарь Моисеевич Рабинович, Лев Борисович Смоленский — ответственные работники ВЦСПС.

В ГОСБАНКЕ СССР:

В. В. Шер, А. Д. Шлезингер, Д. Д. Михельман, З. С. Каценеленбаум, Г. М. Аркус, И. Д. Левин, Б. М. Берлацкий, А. А. Блюм — члены правления Госбанка (всего было 12 человек).

И смотрите: не стеснялись таких типичных еврейских имен: Израиль, Кива, Моисей, Арон, Исаак, Соломон, Лазарь, Наум, Давид...

Листаю справочник и удивляюсь, что все эти имена представлены в их неискаженном, первозданном, что называется библейском виде. Точно так же живут в этой книжечке и невидоизмененные еврейские фамилии, за исключением только таких, например, как Каменев (Розенфельд),— но это уже партийная кличка, революционный псевдоним.

И как только не опасались тогда, что обанкротится Госбанк от такого обилия евреев?

Меня это, честно говоря, тоже немало удивляет. Ведь вот я учился в Киевском университете вместе с Нюмкой Штилерманом, но его украинских стихов не печатали до тех пор, пока он не стал Наумом Тихим. И посоветовал ему это известный украинский поэт Леонид Первомайский, который тоже от рождения не носил эту фамилию!

Правда, потом, как мы помним, и это не помогало — настал час, когда принялись за «беспачпортных бродяг» и стали публично, в печати раскрывать псевдонимы «безродных космополитов».

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ:

М. М. Литвинов — заместитель наркома.

Р. Ф. Ротштейн — член коллегии.

Борис Ильич Канторович — секретарь секретариата коллегии.

Эдуард Евгеньевич Гершельман — секретарь протокольной части.

Лазарь Григорьевич Захарин — заведующий текущим политическим архивом.

Илья Исаакович Левин — заведующий политотделом Прибалтики и Польши.

Самуил Бенционович Коган — заведующий политотделом англо-романских стран.

Самуил Маркович Певзнер — референт по Италии.

Герман Борисович Сандомирский — заведующий политотделом балканских стран.

Альтер Абрамович Залик — референт по Румынии.

Владимир Моисеевич Цукерман — заведующий политотделом Среднего Востока.

Моисей Адольфович Немченко — референт по Туркменистану и Узбекистану.

Лев Ефимович Берлин — референт по Японии и Тибету.

Марк Абрамович Плоткин — заведующий отделением международного частного права.

Григорий Моисеевич Меламед — заведующий консульским отделением.

Абрам Ильич Вайнман — заведующий административно-организаторской частью.

Иосиф Рафаилович Тумаков — заведующий частью виз и дипломатических курьеров.

В литературно-издательской части наркомата не нахожу ни одного нееврея:

Сергей Яковлевич Гинзбург — заведующий.

Моисей Ильич Спектор — помощник заведующего.

Клара Израилевна Певзнер — уполномоченная литиздата в Берлине.

Все эти имена можно обнаружить на 51 странице, а далее, со страницы 53-й, начинается перечень состава Полномочных представительств и консульств СССР за границей, и тут выясняется, что не было тогда в мире страны, в которую Кремль не направил бы своего верного еврея! Смело пишу: «верного» — ибо нигде они не строили козней против России.

В Афганистане это был Израиль Самарович Великовский, в Великобритании — Марья Яковлевна Гринбаум, в Германии — Яков Моисеевич Фишман и Езекииль Давыдович Кактор, в Дании — Беньямин Михайлович Кобецкий, в Италии—Антон Вацлавович Шустер, Иван Абрамович Залкинд и Александр Львович Гольдберг, в Китае — Марсель Израилевич Розенберг, Зиновий Исаевич Печатников, Илья Моисеевич Гейцман, Нисон Давыдович Хавик и еще несколько еврейских дипломатов, в Латвии — Григорий Маркович Хейфец, в Мексике — Леон Яковлевич Хайкис и Виктор Яковлевич Волынский, в Иране — Михаил Михайлович Славуцкий, Аркадий Борисович Дубсон, Исай Борисович Левицкий, Давид Аскарович Львович, Александр Наумович Голуб, Арон Ефимович Заславский, Юрий Германович Минский, в Польше — Григорий Зиновьевич Беседовский и Абрам Юрьевич Каплан, в Турции — Яков Захарьевич Суриц, Роман Денисович Рошаль, Владислав Иосифович Плятт и Арон Самойлович Трабун, в Финляндии — Гораций Абрамович Залкинд, во Франции — Борис Михайлович Волин, Юрий Петрович Фигайнер и Григорий Ефимович Эланский, в Чехословакии — Максим Натанович Белецкий и Роман Осипович Якобсон, в Эстонии — Филипп Иосифович Нотович.

Не правда ли, похоже на телефонную книгу? Но люди того поколения знают, что здесь нет ни одного случайного имени. А переписываю я их так подробно потому, что могут ведь найтись у нас не только однофамильцы, но и родственники.

Имелись еще уполномоченные Народного комиссариата по иностранным делам на территории самого Советского Союза, и среди них находились и Файнштейн, и Вайнштейн, и много других подобных фамилий.

Переписывая эти фамилии, я все время удивляюсь тому, что сейчас в органах власти они совсем не встречаются. Их нет ни в самом аппарате Министерства иностранных дел СССР, ни в зарубежных посольствах, ни в учебных учреждениях, готовящих советских дипломатов. Последним евреем в Институте международных отношений был, кажется, Григорий Иосифович Мороз, муж Светланы Аллилуевой, сосланный Сталиным.

Но, может быть, это и правильно? Может, все эти люди были пронырами и пролазами, и не зря Сталин вывел евреев из Кремля, как Моисей вывел их из Египта,— по меткому выражению Карла Радека?

Думаю сейчас о Михаиле Горбачеве. Изменит ли он что-нибудь в этом отношении? А может, и впредь будет так, как все эти годы.

Если же верить словам М. Горбачева о том, что он вернулся на ленинский путь, то ему надо и евреев вернуть в Кремль...

АРОН АБРАМОВИЧ

УЧАСТИЕ ЕВРЕЕВ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР ДО ВОЙНЫ С ГЕРМАНИЕЙ

Предлагаемый обзор охватывает период от февраля 1917 г. до 22 июня 1941 года. Его цель — показать, что и тогда евреи занимали в офицерском корпусе Вооруженных Сил СССР видное место. К началу войны против нацистской Германии были среди них опытные генералы, адмиралы, полковники, другие командиры всех категорий и родов войск.

Краткий этот обзор, впрочем, не может заменить всестороннего исследования темы, коей он посвящен.

ДО ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

После Февральской революции 1917 года и отмены прежних ограничений в продвижении по службе евреев в царской армии солдаты еврейского происхождения активизировались. Многие из них были избраны в возникшие тогда полковые и других воинских частей комитеты, а также делегатами на съезды и конференции военнослужащих. Вот факты.

В марте того же года солдат Яков Лаза-

ревич АСКОЛЬДОВ стал членом сразу двух таких комитетов — 2-й армии и Западного фронта. Военный врач (ранее — солдат) Эфраим Маркович СКЛЯНСКИЙ был избран членом Совета солдатских депутатов 38-й дивизии, а затем — председателем 2-го армейского съезда и, наконец, армейского комитета 5-й армии Северного фронта. Солдат Семен Михайлович НАХИМСОН в июле того же года назначается комиссаром латышских полков 12-й армии. Вскоре армейский съезд солдатских депутатов армии избирает его своим председателем и затем — главой Исполнительного комитета.

Таких примеров много.

О заметной роли евреев в армии в тот период свидетельствует, в частности, следующее. Среди 194 военных, избранных делегатами на 2-й Всероссийский съезд Советов, который, как известно, провозгласил Советскую власть в стране, было 20 евреев, или 10,3 процента всех делегатов. Кроме того, семь военнослужащих-евреев были делегатами съезда от невоенных организаций. Вот их имена: Михаил Маркович СЛУЦКИЙ (1-я армия); Израиль Соломонович ГАНОПОЛЬСКИЙ, Семен Григорьевич ЗБАРСКИЙ и Иосиф Вульфович КРАЙНЕС (2-я армия); Илья Львович КОГАН и Давид Моисеевич КРИЖЕВСКИЙ (3-я армия); Михаил Дмитриевич СЕГАЛОВИЧ, Эфраим Маркович СКЛЯНСКИЙ, Анатолий Яковлевич КАНТОРОВИЧ, Давид Исаевич КАПУСТЯНСКИЙ и Иосиф Маркович КРИГЕР (5-я армия); Владимир Иосифович АКЕРМАН (8-я армия); Абрам Лейбович ХАСЛАВСКИЙ, Яков Александрович ХОРОШ, Лев Моисеевич ЛУТИНСКИЙ; Герц Борисович МЕРКИН и Борис Николаевич РАБИНОВИЧ (12-я армия); Лев Наумович ВОЙТОЛОВСКИЙ и Арон ПЕРЕЛЬМАН (Отдельная армия); Соломон Робертович ДУНАЕВСКИЙ (Рязань); Арон Моисеевич САМОЙЛОВСКИЙ (Киев); Лев Лазаревич ШИФМАНОВИЧ (Москва); Яков Залманович ЕРМАК и Рувим Яковлевич ЛЕВИН (Царицын); Михаил Михайлович ЛАШЕВИЧ (Петроград); Юрий Николаевич ФЛАКСЕРМАН (Ямберг); Самуил Моисеевич ЦВИЛИНГ (Челябинск)[1].

Заметную роль сыграли военнослужащие-евреи в подготовке и проведении вооруженного восстания в Петрограде и других городах страны в октябре 1917 года, а также в последующем подавлении мятежей, вооруженных выступлений против новой Советской власти.

Высшим военным органом революционных вооруженных сил в период подготовки восстания в Петрограде был созданный 12 октября 1917 года Военно-революционный комитет (ВРК) Петроградского Совета, в составе 82 человек. В числе его членов были евреи: Наум Маркович АНЦЕЛОВИЧ, И. С. БЛАЙХМАН, Э. И. БУРШТЕЙН, Гавриил Давыдович ВЕЙНБЕРГ, Исай Исаакович ГОЛОЩЕКИН, Сергей Иванович ГУСЕВ (Яков Давидович Драбкин), ДАВИДОВИЧ, Г. Д. ЗАКС, Адольф Абрамович ИОФФЕ, Лев Михайлович КАРАХАН, Эфраим Маркович СКЛЯНСКИЙ, Лев Давидович ТРОЦКИЙ, Иосиф Станиславович УНШЛИХТ, Яков Моисеевич ФИШМАН, Григорий Исаакович ЧУДНОВСКИЙ и Я. С. ШЕЙНКМАН.

16 октября 1917 года на заседании ЦК РСДРП(б) был избран Военно-революционный центр в составе пяти человек, из них два еврея: Яков Михайлович СВЕРДЛОВ и Моисей Соломонович УРИЦКИЙ. Остальные трое были: А. С. Бубнов — русский, Ф. Э. Дзержинский — поляк, И. В. Сталин — грузин. Все они были включены в состав руководства Военно-революционного комитета Петроградского Совета.

Комитет этот назначил 20 октября комиссаров в воинские части и важнейшие учреждения столицы и других городов. В числе комиссаров были евреи (в скобках указаны пункты назначения): Н. М. АНЦЕЛОВИЧ (интендантство), А. Ф. БОЯРСКИЙ (3-я армия), Ф. Н. ДИНГЕЛЬШТЕЙН (гвардейский Волынский полк), Г. П. РУБИН (гвардейский Петроградский полк), Э. М. СКЛЯНСКИЙ (Генеральный штаб), С. Г. РОШАЛЬ (походный штаб в Гатчине, затем — штаб Румынского фронта), М. С. УРИЦКИЙ (министерство иностранных дел), Г. И. ЧУДНОВСКИЙ (Преображенский полк), С. М. ЦВИЛИНГ (Николаевская железная дорога), П. Г. КАЦ (Балтийский вокзал), В. И. ХАСКИН (город Царицын), Е. С. ШТЕРН (город Гельсингфорс), В. Г. РОММ (Новгородская губерния), З. З. СЛОНИМ (Могилевская губерния), К. К. ФОЛЬКМАН (Тамбовская губерния), А. И. БЕЗЫМЕНСКИЙ (Старый Петроград), Б. Д. МЕНДЕЛЬБАУМ (по охране музеев и художественных коллекций) и ряд других.

25 октября Петроградский ВРК создал для непосредственного руководства боевыми действиями полевой штаб из пяти человек, куда вошел Г. И. ЧУДНОВСКИЙ. Командование штурмом Зимнего дворца Военно-революционный комитет поручил трем своим членам: Н. И. Подвойскому, В. А. Антонову-Овсеенко и Г. И. ЧУДНОВСКОМУ. В частности, Григорий Исаакович ЧУДНОВСКИЙ участвовал в аресте Временного правительства. Вскоре затем он был назначен комендантом Зимнего дворца.

В военно-революционных комитетах (ВРК) других городов также были евреи. Например, в Московском ВРК — Иосиф Аронович ПЯТНИЦКИЙ (Таршис), Емельян Михайлович ЯРОСЛАВСКИЙ (настоящее имя — Миней Израилевич Губельман), И. С. КИЗЕЛЬШТЕЙН, В. Н. ПОДБЕЛЬСКИЙ, М. И. ТЕЙТЕЛЬБАУМ, Л. Н. ГАЛЬПЕРИН, Аркадий Павлович РОЗЕНГОЛЬЦ и другие. Членами ВРК районов Москвы были: Борис Михайлович ВОЛИН (Фрадкин), М. И. ЧЕРНЯК, С. И. ФИЛЛЕР, И. М. АЛЬТЕР и др.

Среди членов ВРК — евреев в других городах были: Николай Самуилович АБЕЛЬМАН (председатель Ковровского ВРК, убит 7.7.1918 г.), Михаил Моисеевич МАЙОРОВ (председатель Всеукраинского ВРК), Ян Борисович ГАМАРНИК (член ВРК Киева), Самуил Моисеевич ЦВИЛИНГ (председатель ВРК Оренбурга), Илья Яковлевич ЗЛАТИН (председатель ВРК г. Луга), Яков Лазаревич АСКОЛЬДОВ (председатель ВРК г. Слуцк), Лев Романович МИЛЯХ (один из организаторов вооруженного восстания в Казани) и другие.

[1] «Второй Всероссийский съезд Советов». Из-во Центрального архива СССР. 1928 г., на стр. 145 список делегатов.

Отряды Красной гвардии, солдат Петербургского гарнизона и матросов Балтийского флота составляли вооруженные силы революции накануне и в период вооруженного восстания в октябре 1917 года. Они участвовали в подавлении корниловского мятежа, штурмовали Зимний дворец.

В руководстве Красной гвардии было много евреев. Назовем некоторых.

Яков Исаакович КРАМЕР был организатором и комендантом отрядов Красной гвардии Петроградского района, которые активно действовали в период Октябрьского восстания. Организатором и командиром отряда Красной гвардии Обуховского завода был Антон Иосифович (Нафтали Григорьевич) СЛУЦКИЙ, Оскар Львович РЫВКИН командовал молодежным отрядом Красной гвардии, который участвовал во взятии гостиницы «Астория», а после штурма Зимнего дворца — в охране Эрмитажа. С декабря 1917 года РЫВКИН со своим отрядом сражался на юге против войск атамана Каледина и других. Евгения Марковна СОЛОВЕЙ во главе отряда Красной гвардии участвовала в вооруженном восстании и в подавлении мятежа белого генерала Краснова, Моисей Яковлевич ЗЕЛИКМАН командовал красногвардейским отрядом, захватившим в ночь на 25 октября телеграф и почтамт Петрограда, 30 октября М. Я. ЗЕЛИКМАН был назначен комиссаром Главного управления почт и телеграфа республики. Вера Клементьевна СЛУЦКАЯ в ночь на 25 октября направляла красногвардейские отряды для захвата важнейших стратегических пунктов столицы. 30 октября она во главе одного из отрядов сражалась в районе Пулковских высот против войск Керенского — Краснова. В этом бою она была убита.

Семен Григорьевич РОШАЛЬ командовал отрядом Красной гвардии при подавлении мятежа Керенского — Краснова под Гатчиной. Затем его назначили комендантом Гатчины. Дон Маркович СОЛОВЕЙ участвовал в штурме Зимнего дворца, а в период подавления мятежа Керенского — Краснова руководил доставкой боеприпасов и продовольствия отрядам Красной гвардии. Потом он был назначен комиссаром Петропавловской крепости. Семен Петрович УРИЦКИЙ организовал и возглавил отряды Красной гвардии в Одессе. Александр Григорьевич ГИНЦБУРГ был организатором и командиром Казанского красногвардейского отряда, который участвовал в боях за Бузулук. Впоследствии в бою за Каахка (Туркестан) раненый А. Г. ГИНЦБУРГ 23 октября 1918 года был захвачен в плен и расстрелян.

В молодых вооруженных силах революции в 1917 году большую роль сыграли формирования из солдат и матросов, где также было немало евреев.

Так, Семен Михайлович НАХИМСОН, будучи председателем Исполнительного комитета 12-й армии, формирует из добровольцев этой армии два полка, которые участвовали во многих боевых операциях.

Лазарь Абрамович БЕРГМАН, судовой врач корабля «Заря свободы», руководил формированием и военными действиями Кронштадтского матросского отряда. Борис Абрамович БРЕСЛАВ был командиром созданного Северной флотилией матросского отряда для оказания помощи революционному восстанию в Москве. Илья Яковлевич ЗЛАТКИН, будучи комиссаром гарнизона города Луг (части 1-й и 3-й гвардейских и 15-й кавалерийской дивизий) и председателем Военно-революционного комитета этого города, руководил здесь восстанием против Временного правительства. Комиссар 176-го запасного пехотного полка Иосиф Зунделевич ЛЕВИНСОН командовал этим полком в период революционного восстания и разгрома войск Керенского — Краснова. После того он сформировал Гатчинский полк, во главе которого сражался на Южном и Северном фронтах. В одном из боев И. З. ЛЕВИНСОН был убит[2,3].

[2,3] Приведенные выше примеры далеко не полностью отображают участие евреев в военных формированиях до создания Красной Армии. Оно было гораздо большим, но, к сожалению, ограниченность места, отведенного для этой главы, лишает нас возможности осветить вопрос этот с исчерпывающей полнотой.

КРАСНАЯ АРМИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

15 января 1918 года Советское правительство (Совет Народных Комиссаров) издало Декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), а 29 января — о создании Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ). После того началось формирование руководящих органов и частей новых Вооруженных Сил страны.

. . . .

Для руководства военными действиями против немцев, двигавшихся в направлении Петрограда, Наркомвоен 21 февраля издал приказ об учреждении Чрезвычайного штаба Петроградского военного округа, который возглавил Моисей Соломонович УРИЦКИЙ. В тот же день Петроградский Совет образовал Комитет революционной обороны, куда вошли: Яков Михайлович СВЕРДЛОВ (председатель), Моисей Маркович ВОЛОДАРСКИЙ (Гольдштейн), С. И. ГУСЕВ (ДРАБКИН Я. Д.), Яков Моисеевич ФИШМАН (от левых эсеров), Григорий Исаакович ЧУДНОВСКИЙ и другие[1]. К 23 февраля части Красной Армии приостановили продвижение немецких войск под Псковом и Нарвой.

После подписания 3 марта 1918 года мирного договора с Германией развернулась работа по формированию Красной Армии и ее руководящих органов.

4 марта Совнаркомом был утвержден Высший Военный Совет в составе: военного руководителя Бонч-Бруевича (бывший генерал царской армии) и двух политических комиссаров — П. П. Прошьяна (левый эсер) и К. И. Шитко (большевик)[2].

Постановлением Совнаркома от 19 марта 1918 года были определены задачи и

[1] 50 лет Вооруженных Сил СССР стр. 29 и др.

[2] 50 лет Вооруженных Сил СССР, стр. 33, 35 и др.

права, а также расширен состав этого органа. Новым председателем Высшего Военного Совета и Народным Комиссаром военных дел назначался Лев Давидович ТРОЦКИЙ (Бронштейн)[3]. Его заместителем — Эфраим Маркович СКЛЯНСКИЙ[4]. Кроме них, было еще пять членов Совета[5].

В мае 1918 года на территории Советской республики было создано одиннадцать военных округов, военными комиссарами которых назначены: Емельян Михайлович ЯРОСЛАВСКИЙ (ГУБЕЛЬМАН Миней Израилевич) — в Московский округ, Семен Михайлович НАХИМСОН — в Ярославский, и т. д.[6].

. . . .

2 сентября 1918 года постановлением ВЦИК был образован Революционный Военный Совет Республики (РВСР), который осуществлял управление вооруженными силами. Ему подчинялись все органы и должностные лица военного ведомства: Главнокомандующий Вооруженными Силами, Главный штаб республики и другие. Этим же постановлением был упразднен прежний Высший Военный Совет.

Председателем Реввоенсовета был назначен народный комиссар по военным и морским делам ТРОЦКИЙ Лев Давидович (занимал эту должность с 6.9.1918 г. до 26.1.1925 г.). Его заместителем — зам. народного комиссара по военным и морским делам СКЛЯНСКИЙ Эфраим Маркович (занимал эту должность с 22.10.18 г. до 11.3.1924 г.). Членами РВСР являлись РОЗЕНГОЛЬЦ Аркадий Павлович (с 30.9. 1918 г. до 8.7.1919 г.) и в других. В дальнейшем некоторое время (с 21.6.1919 г. до 4.12.1919 г.) членом РВСР был Сергей Иванович ГУСЕВ (Я. Д. ДРАБКИН)[7, 8, 9].

Приказом председателя Реввоенсовета Л. Д. ТРОЦКОГО от 11 сентября 1918 г. были образованы фронты с их штабами, а также новые армии. Возглавляли каждый фронт и каждую армию Реввоенсоветы в составе: командующего — военного специалиста и двух политических комиссаров. Следует сказать, что почти во все Реввоенсоветы фронтов и армий входили евреи. Не имея возможности в рамках этой главы дать имена всех и подробный обзор деятельности их на многочисленных фронтах длительной гражданской войны, ограничимся перечнем наиболее известных.

Членами Реввоенсовета (РВС) фронтов (в скобках указан период) были евреи:

1. Восточного — Аркадий Павлович РОЗЕНГОЛЬЦ (28.8—6.12.1918). Сергей Иванович ГУСЕВ (10.12.18—15.6.19), Михаил Михайлович ЛАШЕВИЧ (23.3—16.8.19).

2. Западного — Роберт Александрович РИММ (19.2—19.5.19), Евгений Михайлович ПЯТНИЦКИЙ (19.2—15.5.19), Иосиф Станиславович УНШЛИХТ (11.12.1919—12.4.1921), Аркадий Павлович РОЗЕНГОЛЬЦ (8.5—2.6 1920), Д. И. ВАЙМАН и другие.

3. Кавказского — Сергей Иванович ГУСЕВ (16.1—29.8.20), Аркадий Павлович РОЗЕНГОЛЬЦ (23.8 — 5.9.20).

4. Северного — Лев Маркович ГЛЕЗАРОВ (30.9—8.12.18), Евгений Михайлович ПЯТНИЦКИЙ (30.9.18—19.2.19).

5. Туркестанского — Лев Филиппович ПЕЧЕРСКИЙ, Иосиф Еремеевич СЛАВИН, Моисей Янович ЛИСОВСКИЙ, Исаак Абрамович ЗЕЛЕНСКИЙ, Герман Самойлович БИТКЕР.

6. Юго-Восточного — Сергей Иванович ГУСЕВ (18.12.19—16.1.20).

7. Юго-Западного — Сергей Иванович ГУСЕВ (3.9—15.10.20), Моисей Львович РУХИМОВИЧ.

8. Южного (против Врангеля) — Бела КУН (4.10—16.11.20), Сергей Иванович ГУСЕВ (27.9—14.12.20).

9. Южного (против Деникина) — Григорий Яковлевич СОКОЛЬНИКОВ-БРИЛЛИАНТ (1.12.18—6.10.19), Иосиф Исаевич ХОДОРОВСКИЙ (17.1—6.7.19), Михаил Михайлович ЛАШЕВИЧ (11.8—19.10.19).

Командующими армиями были евреи:

1. 3-й армии Восточного фронта — Михаил Михайлович ЛАШЕВИЧ (30.11.18—5.3.19).

2. 3-й армии Западного фронта — Владимир Соломонович ЛАЗАРЕВИЧ (12.6—18.10.20).

3. 7-й армии — Михаил Михайлович ЛАШЕВИЧ (30.7—25.8.20).

4. 8-й армии Южного фронта — Григорий Яковлевич СОКОЛЬНИКОВ (12.10.19—20.3.20).

5. 9-й армии — Наум Семенович СОРКИН.

6. 14-й армии Южного и др. фронтов — Иона Эммануилович ЯКИР (15.12.20—6.1.21).

Начальниками штабов армий были:

1. 4-й армии Восточного фронта — Владимир Соломонович ЛАЗАРЕВИЧ (25.2—22.4.19).

2. 14-й армии Южного и др. фронтов — Вадим Михайлович БУХМАН (27.8—6.10.19).

3. 16-й армии Западного фронта — Евгений Александрович ШИЛОВСКИЙ (10.10.20—24.4.21).

4. Туркестанской армии Восточного фронта — Александр Исаевич МИТИН (28.3—11.4.19), Владимир Соломонович ЛАЗАРЕВИЧ (24.5—1.7.19).

5. Народно-революционная армия ДВР — Борис Миронович ФЕЛЬДМАН (4.5—4.7.22).

В Реввоенсоветах армий один или два из трех его членов были евреями. Таковы члены Реввоенсоветов:

1. 1-й армии Восточного и Туркестанского фронтов — Арий Константинович МИРСКИЙ (7.4—19.7.19), Григорий Исакович БРЕЙДО, Илья Савельевич ШЕЛЕХЕС.

2. 2-й армии Восточного фронта — Сергей Иванович ГУСЕВ (12.11—4.12.18), Григорий Яковлевич СОКОЛЬНИКОВ (19.9—22.11.18), Григорий Наумович КАМИНСКИЙ.

3. 3-й армии Восточного фронта — Михаил Михайлович ЛАШЕВИЧ (7.8—29.11.18), Филипп Исаевич ГОЛОЩЕКИН, Яков Лазаревич АСКОЛЬДОВ.

4. 4-й армии Восточного и Туркестанского фронтов — Борис Григорьевич МОЛДАВСКИЙ (26.5—19.7.18), Гавриил Давидович ЛИНДОВ-ЛЕЙТЕЙЗЕН (10.9.18—13.1.19), Борис Григорьевич ЗУЛЬ.

5. 4-й армии Западного фронта — Евгений Ильич ВЕГЕР (18.6—19.10.20).

6. 5-й Отдельной армии — Аркадий Павлович РОЗЕНГОЛЬЦ (18.8—15.9.18), Исаак Самойлович КИЗЕЛЬШТЕЙН (15.11.18—25.1.19), Борис Захарович ШУМЯЦКИЙ (31.1.21—27.2.22), М. А. ВОЛЬФОВИЧ (заместитель начальника политуправления армии).

7. 6-й Отдельной армии — Герман Самойлович БИТКЕР (4.8—15.12.19), Р. В. ПИКЕЛЬ, Лев Захарович МЕХЛИС.

8. 7-й армии Северного, Западного и др. фронтов — Михаил Иосифович РОЗЕН (1.10.18—21.1.19), Самуил Петрович ВОСКОВ (19.11.18—23.3.19), Моисей Маркович ХАРИТОНОВ (24.5—22.10.19), Аркадий Павлович РОЗЕНГОЛЬЦ (28.6—30.9.19), Григорий Евсеевич ЗИНОВЬЕВ (Радомысльский) (14.7—26.11.19), Михаил Михайлович ЛАШЕВИЧ (23.10.19—31.8.20).

9. 8-й армии Южного и др. фронтов — Иона Эммануилович ЯКИР (8.10.18—1.7.19), Яков Ильич ВЕСНИК (7.11.18—28.8.19), Аркадий Павлович РОЗЕНГОЛЬЦ (7.12.18—18.3.19), Григорий Яковлевич СОКОЛЬНИКОВ.

10. 9-й армии — Григорий Яковлевич СОКОЛЬНИКОВ (2.12.18—7.11.19), Иосиф Исаевич ХОДОРОВСКИЙ (23.3—27.8.19), Адольф Михайлович ЛИДЕ (10.3—8.7.20).

11. 10-й армии П. И. КУШНЕР (20—29.4.21), Лев Филиппович ПЕЧЕРСКИЙ (22.4—11.5.21), Михаил Ефимович ШТЕЙМАН.

12. 11-й армии — Оскар Моисеевич ЛЕЩИНСКИЙ (22.1—13.2.19), Яков Ильич ВЕСНИК (27.5—31.8.20 и 26.1—29.5.21), Исаак Соломонович КИЗЕЛЬШТЕЙН, М. И. ШНЕЙДЕРМАН, П. И. КУШНЕР.

13. 12-й армии — Михаил Михайлович ЛАНДА (комиссар армии), Борис Маркович ЗУЛЬ (4.6 — 31.8.20), Адольф Михайлович ЛИДЕ, Иона Эммануилович ЯКИР (командующий Южной группой войск 12-й армии), Ян (Яков) Борисович ГАМАРНИК (комиссар группы).

14. 13-й армии — Аркадий Павлович РОЗЕНГОЛЬЦ (7.10—19.12.19), Борис Григорьевич ЗУЛЬ (4.6—31.8.20), Адольф Михайлович ЛИДЕ (22.10—12.11.20), Иосиф Моисеевич БИК, Исаак Самойлович КИЗЕЛЬШТЕЙН, Григорий Яковлевич СОКОЛЬНИКОВ, Розалия Самойловна ЗЕМЛЯЧКА-САМОЙЛОВА (начальник политотдела).

15. 14-й армии — Исаак Самойлович КИЗЕЛЬШТЕЙН (17.6—15.9.19), Моисей Львович РУХИМОВИЧ (8.12.19 — 21.11.20).

16. 15-й армии — Ян (Яков) Давидович ЛЕНЦМАН (9.4.19—20.2.20), Аркадий Павлович РОЗЕНГОЛЬЦ (14.6—26.9.20), Михаил Михайлович ЛАШЕВИЧ (29.8—30.11.20), Яков Ильич ВЕСНИК (10.11—26.12.20).

17. 16-й армии — Иосиф Станиславович УНШЛИХТ (21.6—11.12.19), Александр Яковлевич ЭСТРИН (14.4—7.5.21).

18. Туркестанской армии — Арий Константинович МИРСКИЙ (9.5—7.6.19).

19. Резервной армии — Б. И. ГОЛЬДБЕРГ, Г. М. ЗУСМАНОВИЧ.

20. Народно-Революционной армии ДВР (Дальне-Восточной республики) Моисей Израилевич ГУБЕЛЬМАН (30.6.21—16.11.22).

21. Отдельной Кавказской армии — Моисей Янович ЛИСОВСКИЙ.

В период гражданской войны многие евреи занимали должности командиров (начальников), военкомов (военных комиссаров), начальников штабов и политотделов дивизий, бригад, полков и других соединений и частей.

. . . .

МЕЖДУ ВОЙНАМИ (1921—1941 гг.)

. . . .

Несмотря на крупные персональные изменения в высшем командовании Вооруженными Силами, в Красной Армии оставалось значительное число офицеров—евреев. Их было много, в частности, в Реввоенсовете, Главных управлениях Наркомата обороны, Генеральном штабе и т. д. То же относится к военным округам, армиям, корпусам, дивизиям, бригадам и всем воинским частям. По-прежнему евреи видное место занимали в политических органах. Так, Л. З. МЕХЛИС начиная с 1937 года являлся заместителем Наркома обороны и начальником Главного политического управления Красной Армии. В тот период были среди евреев также крупные военные теоретики, профессора и начальники военных академий.

После окончания гражданской войны высшим военным органом страны оставался Реввоенсовет (РВС) СССР до момента упразднения его в июне 1934 года. В его состав входили следующие евреи: председатель ТРОЦКИЙ Лев Давидович — до 26 января 1925 года, когда он был освобожден от обязанностей Народного комиссара по военным и морским делам и председателя РВС СССР; заместитель председателя — СКЛЯНСКИЙ Эфраим Маркович — до 3 марта 1924 года; УНШЛИХТ Иосиф Станиславович — с 28.8.1923-го до 2.6. 1930 года; ГАМАРНИК Ян (Яков) Борисович с 11.10.29 г. до 20.6.1934 года; члены РВС: С. И. ГУСЕВ (Я. Д. ДРАБКИН) — с 18.5.1921 до 28.8.1923 года.

В главных управлениях Наркомата обороны и в Генштабе Красной Армии высокие посты занимали (в скобках указывается период): С. И. ГУСЕВ (Я. Д. Драбкин)— начальник Политуправления Красной Армии (1922); ШИФРЕС Александр Львович и ЛАНДА Михаил Михайлович — заместитель начальника Главного политического управления (1924—1926); АСКОЛЬДОВ Яков Лазаревич — начальник Главного Военно-инженерного управления (1922—1924); КОТЛЯР Леонтий Захарович — начальник того же управления (1940—1941); РОЗЕНГОЛЬЦ Аркадий Павлович — начальник Управления Военно-Воздушных сил (1924—1926), СМУШКЕВИЧ Яков Владимирович — заместитель начальника, а затем начальник Военно-Воздушных сил (1937—1940); БАР-

[3] Биографическую справку Л. Д. Троцкого см. том 2.
[4] Биографическую справку Э. М. Склянского см. том 2.
[5] 50 лет Вооруженных Сил СССР, стр. 33 и др.
[6] Там же, стр. 35, и другие источники.
[7, 8, 9] Советская Историческая Энциклопедия т. 11, стр. 912—913.

СКИЙ Борис Евгеньевич — начальник Управления войск особого назначения (1924—1928); ШТЕРН Григорий Михайлович — начальник Главного управления противовоздушной обороны (1941); ЛЮБОВИЧ Артемий Моисеевич — начальник связи Красной Армии; УРИЦКИЙ Семен Петрович — начальник Военно-разведывательного управления (1935—1937); ВОЛЬПЕ Абрам Миронович — начальник Главного управления (1936—1937); ФЕЛЬДМАН Борис Миронович — начальник Главного управления кадров (1936—1937); ФИШМАН Яков Моисеевич — начальник Военно-химического управления; ЯКИР Иона Эммануилович — начальник Главного управления Военно-учебных заведений (1924—1925); СЛАВИН Иосиф Иеремеевич — начальник того же Главного управления; АСКОЛЬДОВ Яков Лазаревич — главный инспектор управления Военно-учебных заведений; БЕЛИЦКИЙ Семен Маркович — начальник оперативного управления Генштаба; ТЕПЛИЦКИЙ Борис Львович — заместитель начальника Главного штаба Военно-Воздушных сил; ИССЕРСОН Георгий Самойлович — заместитель начальника 1-го отдела Генштаба.

Командующими войсками и их заместителями, членами Военных советов и начальниками политуправлений военных округов в тот период были: Иона Эммануилович ЯКИР — Крымского, затем — Украинского военных округов; Михаил Михайлович ЛАШЕВИЧ — Сибирского; Лев Михайлович ГОРДОН — Туркестанского; Григорий Михайлович ШТЕРН — командир 39-го стрелкового корпуса, командующий 1-й Отдельной Краснознаменной армией, 8-й армии, затем Дальневосточного фронта (1938 — 1940); Семен Абрамович ТУРОВСКИЙ и Яков Лазаревич АСКОЛЬДОВ — Харьковского; Яков Львович ДАВИДОВСКИЙ — Забайкальского; Самуил Пинхусович МЕДВЕДОВСКИЙ — Приволжского; Борис Абрамович БРЕСЛАВ — Московского (1922—1924); Лазарь Наумович АРОНШТАМ — Белорусского, затем — Московского; Александр Львович ШИФРЕС — Северо-Кавказского; Михаил Михайлович ЛАНДА — Киевского, затем — Белорусского и Сибирского; Анатолий Иосифович ДЕМБА — Киевского; Соломон Григорьевич МОГИЛЕВСКИЙ — был командующим внутренними и пограничными войсками Закавказской федерации; Наум Натанович РАБИЧЕВ — заместителем начальника политуправления войск Украины и Крыма; его заместитель — Лев Вениаминович ЖМУДСКИЙ.

Начальниками штабов округов и заместителями их были: Абрам Миронович ВОЛЬПЕ — Московского; Борис Миронович ФЕЛЬДМАН — Ленинградского; Григорий Михайлович ШТЕРН — Дальневосточного фронта; Борис Иосифович БОБРОВ — Белорусского; Лазарь Наумович АРОНШТАМ — член Военного совета и начальник политуправления Отдельной Дальневосточной армии; Александр Львович ШИФРЕС — член Военного совета и начальник политуправления Отдельной Кавказской армии.

Командующими армиями, командирами корпусов, дивизий, бригад и полков после гражданской войны были: Самуил Пинхусович МЕДВЕДОВСКИЙ — командир 16-й стрелковой дивизии; Леонид Яковлевич ВАЙНЕР — командир 41-й стрелковой бригады и 9-й Крымской дивизии, далее — командир 6-й Чонгарской кавалерийской дивизии 6-го Казачьего корпуса; Семен Петрович УРИЦКИЙ — командир стрелкового корпуса и дивизии; Абрам Миронович ВОЛЬПЕ — командир 48-й стрелковой дивизии; Илья Владимирович ДУБИНСКИЙ — командир кавалерийской бригады 8-й дивизии Красного казачества; Георгий Самойлович ИССЕРСОН — командир стрелковой дивизии; Лев Михайлович ГОРДОН — начальник гарнизона города Ташкента, комендант Кронштадтской крепости, помощник командира 20-й стрелковой дивизии; Борис Львович ТЕПЛИЦКИЙ — начальник штаба авиационной бригады, затем военно-воздушных сил военного округа; Давид Аронович ГУТМАН (Дмитрий Аркадьевич ШМИДТ) — командир 8-й отдельной танковой бригады. (...)

КРИТИКА



История Отечества: документы и судьбы

АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

«Я БОРЮСЬ С ПУСТОТОЙ...»

«РОССИЯ И ЕВРЕИ» — СТАРАЯ КНИГА И НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

„Это у вас была напечатана статья Шафаревича «Антисемитизм»?» — не раз приходилось слышать от иностранцев, посещающих журнал «Наш современник». И, право, досадно в десятый раз объяснять, что вызвавшая мировой резонанс статья называется «Русофобия», что защита русского народа от клеветников не тождественна антисемитизму. Бесполезные разъяснения! На Западе прочно утвердился стереотип: русский патриот — шовинист и погромщик. В несокрушимости этого штампа все мы могли убедиться, читая опубликованное теперь в Союзе интервью Ж. Нива с философом и литератором Александром Зиновьевым. Любое теплое слово писателя о русском народе немедленно рождало подозрительный вопрос интервьюера об антисемитизме.

К сожалению, подобная «логика» активно насаждается ныне в «русскоязычной» прессе и по нашу сторону границы. Так что же (надо додумывать до конца!): роковое «или — или»? национальное противоборство?

Похоже, именно к такой конфронтации подталкивают наше общество еврейские экстремисты. Характерна декларация Германа Брановера — его книга «Возвращение» вышла в Израиле несколько лет назад: «...Славные сыны Израиля Троцкий, Свердлов, Роза Люксембург, Мартов, Володарский, Литвинов вошли в историю Израиля. Может быть, кто-нибудь из моих братьев спросит, что они сделали для Израиля? Я отвечу прямо: они непосредственно или посредственно старались уничтожить наших наибольших врагов — православных гоев. Вот в чем заключалась их работа. Этим они заслужили вечную славу!».

Поначалу отказываешься верить, что этот текст был напечатан, да и в то, что он принадлежит психически здоровому человеку, тоже не верится. Но, видимо, в Израиле по-иному смотрят на проблему межнациональных отношений. Брановер слывет там солидным ученым, занимает профессорскую кафедру, играет видную роль в общественной жизни.

Не только словом, но и делом утверждаются в Иерусалиме взгляды, аналогичные тем, что высказывает Г. Брановер. Показательно сообщение, появившееся в весеннем номере «Церковных новостей» за этот год (этот журнал «православной мысли» издается в США). В нем говорится о расправе израильской армии над демонстрацией христиан, протестовавших против угрозы, нависшей над величайшей святыней христианского мира — Храмом Воскресения Господня. «Воинская часть попробовала силой разогнать протестующих и, не добившись успеха, применила слезоточивые газы. Одна из таких бомб разорвалась в ногах епископа Тимофея, и он упал, потеряв сознание. Патриарх (Диодор, Патриарх Иерусалимский. — **А. К.**) кинулся ему на помощь, но при этом был сбит с ног и у него сорвана с груди панагия». Добавлю, что это злодеяние было совершено в дни особо значимые для христиан — шла Страстная неделя.

Еще более бесчеловечно расправились израильские власти с мусульманами, вышедшими на демонстрацию, чтобы защитить свою религиозную святыню — мечеть Аль-Акса. 21 человек убит, 900 (!) ранено — таков итог побоища, устроенного израильской армией. Впрочем, это ведь так пишется безлично — «убито», а кто-то же убивал этих людей. Кому-то, видимо, нажать на курок, целясь в толпу гоев, все равно что водицы испить...

В последнее время у нас стало модным спорить, что же такое сионизм? Израильское государство н а д е л е показало, что это такое.

О, я был бы рад объяснить преступление у мечети Аль-Акса армейской жестокостью. Было бы слишком горько предположить, что здесь проявились не инстинкты грубой солдатни, а куда более глубокое начало, получившее идеологическое обоснование и освященное догматом. Мне — и, я думаю, каждому человеку на земле, каждому «гою» — было бы спокойнее, если бы во всеуслышание раздалось покаяние за эту акцию со стороны иудаистских фундаменталистов. Но они не осудили ее, снова, как и две тысячи лет

назад, с жестоким упрямством не отмежевались от пролитой крови! Не только в Израиле — в США сионистские общины призвали Америку н е о с у ж д а т ь массовое уличное побоище, имеющее мало аналогий даже в кровавом XX веке...*

Иерусалим далеко. Но разве принципы сионизма не являются неизменными по всему свету? Разумеется, расправиться с таким гигантом, как русский народ, труднее, чем с палестинским. Тогда изощренное сознание ищет третью силу, чтобы с ее помощью, не затрачивая собственных усилий, «уничтожить... наибольших врагов».

Вот любопытный литературный документ — мечтания некоего В. Гиндина, напечатанные в 1980 году (в период опасного обострения советско-китайских отношений): «не промолчи, Господи, вступись за избранных Твоих. Напусти на них Китайца, Господи, чтобы славили они Мао и работали на него, как мы на них. Господи, да резрушит Китаец все русские школы и разграбит их, и да будут русские насильно китаизированы. Да забудут они свой язык и письменность. Да организует он им в Гималаях Русский национальный округ».

«Русская жизнь», патриотическая газета, издающаяся в Сан-Франциско, напечатала целую подборку подобных проклятий, произносимых по иронии судьбы на русском языке. В кратком комментарии редакция отмечает: «Это только маленькая частица того, что позволяют себе клеветники и ненавистники России в своих постоянных выступлениях против России и русского народа. Понадобились бы целые тома, чтобы воспроизвести их наглую и провокационную ложь и гнусную клевету» (15.07.83).

И этих-то клеветников, ненавистников, расистов объявляют жертвами, а тех, кто стал объектом их ненависти — какой изощренный пропагандистский ход! — нарекают шовинистами, черносотенцами... Впрочем, как только не именуют русских!

Но, разжигая национальную ненависть, следовало бы задаться простым вопросом: а к чему это приведет? Обличители «черной сотни», прозревающие, подобно герою А. Лосева («Огонек», 1990, № 12), в каждом из 260 миллионов жителей нашей страны антисемита, задумайтесь: стоит ли обрекать ваших «подзащитных» на пожизненное «военное положение», ежеминутную боевую готовность? Вынесут ли они такое напряжение? Да и зачем навьючивать этот тяжкий груз — ради торжества жестокой пропагандистской схемы, рожденной бесчестным журналистским пером?

Разумеется, и русскому народу межнациональное противоборство в тягость. Значит?.. Беда в том, что никто (или почти никто) не пытается сделать вывод из очевидной бесплодности навязываемого противостояния. Схема торжествует над здравым смыслом.

А между тем возможна иная позиция. Иная модель поведения. Не буду ссылаться здесь на пример Исаака Левитана, Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама — эти выдающиеся творцы отождествляли себя с Россией. Они с гордостью называли себя русскими, независимо от того, как складывалась политическая конъюнктура. Я имею в виду тех, кого знакомая Мандельштама петербургская поэтесса Е. Тагер именовала «русскими евреями». Тех, кто сознавал себя именно евреем, но ощущал глубокую связь с землей, ставшей отчизной, с русской жизнью и культурой.

Несомненно, число этих людей велико. Да и всегда они, надо думать, составляли большинство в еврейском населении России. Однако, к сожалению, их позиция куда меньше знакома публике, чем позиция сионистов и радикально настроенных националистов. Поэтому она не способна оказывать активное воздействие на формирование модели национального поведения.

Пожалуй, наиболее публицистически ярко взгляды русских евреев выражены в книге «Россия и евреи», изданной в Берлине в 1923 году. Авторы — видные деятели дореволюционного еврейства — И. Бикерман, Г. Ландау, И. Левин, Д. Линский, В. Мандель, Д. Пасманик ставили перед собой конкретную практическую цель: определить отношение к большевизму. Но проблематика сборника оказалась куда шире, что нашло отражение в его заглавии. Именно поэтому книга и сегодня не утратила значения, а многие ее страницы удивительно злободневны.

Я верю, что в самом ближайшем времени эта почти семь десятилетий таившаяся под спудом работа увидит свет в России. Но уже сегодня считаю необходимым познакомить читателя с ее важнейшими идеями. Читателя как русского, так и еврейского. И тому и другому книга чрезвычайно полезна.

Было бы печально, если бы итогом так трудно возрождающегося русского самосознания стала угрюмая подозрительность по отношению к евреям. Кто подозревает, тот связан страхом. И хотя он вполне обоснован, страх — это удел слабых. Мы, слава Богу, не обделены ни силой, ни умом. Нам как нации недостает всестороннего знания проблемы, отсюда и роковая опрометчивость и, с другой стороны, скованность, исторически хорошо понятная боязнь широкого и свободного маневра.

Маневра для поиска взаимопонимания? С кем? С теми, кто стреляет из автоматов «Узи» или с газетных страниц разжигает пожар национальной ненависти? Нет, не с ними. С теми, кто вместе с нами стоит в очередях, живет в тесных клетушках «хрущоб», получает мизерную итээровскую зарплату (оглядитесь, ведь и таких немало). С теми, на чьи головы (а не только на наши) обрушатся все беды раздуваемой сейчас — якобы и от их имени! — смуты.

Вот этим людям, таким еврейским читателям, хочу надеяться, сборник поможет

* Недавно пришло сообщение, что шеф иерусалимской полиции — один из тех высокопоставленных чиновников, кто несет прямую ответственность за расстрел палестинцев,— п о в ы ш е н в чине («Известия», от 13.11.90) Такое демонстративное одобрение действий убийцы — явление поистине беспрецедентное в «цивилизованном» мире.

найти новый путь, ведущий к совместному созиданию дома, общего и для русских и для русских евреев.

Схемы и стереотипы, активно насаждавшиеся еврейской прессой уже в те годы,— вот с чем пришлось столкнуться авторам сборника. «...Вместо логического анализа люди пользуются готовыми штампами, место продуманных понятий заступают выдуманные схемы», — свидетельствует Д. Линский. «Я борюсь с пустотой, с призраками в чужих умах», — с горечью ветхозаветного пророка восклицает Бикерман.

Не случайно инвективы И. Бикермана и его единомышленников вызывают в памяти гневные речи Иеремии и Даниила. Напряженная патетика стиля («...Вращается (русское еврейство. — **А. К.**) в заклятом кругу ,внутри которого мрак и печаль»— И. Бикерман), органично вплетающиеся в текст цитаты самих пророков Израиля («Вот ты полагался на опору, на эту трость надломленную, на Египет, а она, как обопрется на нее человек, вонзится ему в руку и прободает ее», — вновь гремит обличительный глагол Исайи, воскрешенный тем же Бикерманом), сарказм и боль — пожалуй, это главное: боль за древний народ, оказавшийся неспособным вырваться из «заклятого круга» схем и штампов, заслоняющих реальную жизнь, подменяющих ее призраками зловещей пустоты.

«Когда ж это мы превратились в рабов? — гневно вопрошает Бикерман, обрушиваясь на оппонентов-соплеменников. — Ведь это голос рабьей души, рабьи помыслы, рабья радость, рабий страх». И снова возвращается к тем же мучительным раздумьям: «Когда ж это мы дошли до оголтелости, где и когда еврейский народ растерял драгоценнейшее свое достояние: накоплявшийся в течение веков и под всеми земными широтами жизненный опыт, в котором залог устойчивости?»

Не только стиль — самый дух, взыскующий истины, столь характерный для пророков Ветхого Завета, оживает на страницах книги. Дух беспощадной национальной самокритики, с которой — не следует этого забывать! — связаны высшие достижения еврейского народа.

Как и тысячи лет назад, тем, кто стремится собрать «драгоценнейшее достояние» народной мудрости, противостоит тупая толпа, живущая не мыслью — голой лозунговой фразой. «Нам приходится вести борьбу с нашей обывательской массой и ее идеологическими вождями»,—констатирует Д. Пасманик. Ему же принадлежат исполненные достоинства слова: «Нас объявили чуть ли не «врагами народа» (вот откуда пришел к нам и обрел страшную власть этот термин! — **А. К.**), подсобниками реакции и союзниками погромщиков. Мы спокойно можем выжидать, пока сама жизнь не выявит, на чьей стороне правда. Но дело не в нас: мы всё перенесем, ибо мы крепки своей правдой. Но на нас лежит тяжкая ответственность за судьбы России и русского еврейства. Поэтому мы считаем необходимым своевременно указать на содеянные ошибки и на правильные пути к спасению».

В чем же видят авторы роковую ошибку еврейской обывательской массы и ее идеологов? Г. Ландау пишет по этому поводу: «Во всех народах, переживших подобные испытания (революция и гражданская война. — **А. К.**), идет процесс самокритики, самопознания, самопретворения, — где он в русском еврействе. Я слушал наших критиков, противников. Ни о чем подобном не было у них слышно; точно не о чем тревожиться и не с чем бороться. Виноваты все посторонние — правительство, генералы, крестьяне. Мы же ни при чем...»

Со времени, когда написаны эти строки, прошли десятилетия, но и до сегодня продержался все тот же стереотип: виноваты посторонние. Удобная позиция! Но, как показывает Д. Пасманик, на деле она не только безответственна, — продиктована безразличием и к собственному народу. «...Им нечего о своем народе сказать»,— замечает он.

Такая позиция безотчетности смыкается с прямой поддержкой смуты. И то и другое, по мнению авторов, губительно для евреев. Об этом веско сказал И. Бикерман: «...Всякий, содействующий продлению смуты, питающий ее широковещаниями, разгильдяйством, словесной трухой, тот, именно с точки зрения погромной опасности, на деле злейший враг евреев и еврейства, хотя бы он ежедневно клялся в любви и преданности еврейскому народу».

Время доказало правоту участников сборника, апеллировавших к суду потомков. Питавшие смуту в начале 20-х, жизнью расплатились в 37-м. Но колесо возмездия не остановилось на этом — всею тяжестью обрушилось на неповинных в конце 40-х — начале 50-х. И пусть те, кто с патетикой повествует об этой трагедии еврейства, те, кто с недостойной изворотливостью использует ее для обвинений в адрес русского народа, не лукавят хотя бы наедине с собственной совестью. Русский народ и в те страшные годы, и в предшествовавшие десятилетия страдал никак не меньше любого другого, в том числе и еврейского. Преступные приказы отдавали — вожди смуты. А разве не их (пусть и не всегда поименно — в общем списке вождей) поддержала в свое время еврейская обывательская масса, уведенная своими идеологами резко влево?

Роли евреев в революции, их доле ответственности за происшедшее в 1917 году посвящено много страниц сборника (показательны названия статей: «Евреи в революции» И. Левина, «Консервативные и разрушительные элементы в еврействе» В. Манделя, «Революционные идеи в еврейской общественности» Г. Ландау). Мы еще вернемся к этим проблемам. Здесь же подчеркну поразительную актуальность мысли авторов о том, что всякий питающий смуту есть «на деле злейший враг евреев и еврейства, хотя бы он ежедневно клялся в любви и преданности еврейскому народу».

Я уже писал («Наш современник», 1989, № 7) о московских застрельщиках, поспешавших с митингов в Прибалтике на шумные сборища в Молдове и Закавказье все с теми же обличениями «московского по-

рядка», «русского порядка». И вот год спустя газета еврейской общины Молдовы начала высказывать тревогу за судьбы евреев в разбуженном море националистической стихии. А разве не таят угрозу еврейству декларации прибалтийских теоретиков «приоритета коренной нации»? Да и тем, кто собирается извлечь сиюминутные выгоды из нынешней позиции «Руха» (афишированные восторги по поводу израильского флага и т. п.), не мешало бы вспомнить о последствиях союза еврейских автономистов с украинскими самостийниками во главе с Симоном Петлюрой. Как важно было бы современным идеологам, раздувающим смуту, прочесть предостережения авторов книги «Россия и евреи». Не ломайте порядок, какой бы он ни был, не раздувайте тлеющие угли — пламя опалит всех стоящих рядом!

Публицисты, чьи статьи объединены в сборнике, исходят из того, что «судьбы русского еврейства неразрывно связаны с судьбой России; надо спасать Россию, если мы хотим спасти еврейство; ...евреи должны бороться с растлителями великой страны (...); ...только спасая Россию, можно будет предотвратить еврейскую катастрофу...» (разрядка Д. Пасманика. — А. К.). Обращаясь к евреям, участники сборника прозорливо предостерегают: «...Те... которые возбуждают вопрос о том, является ли Россия родиной для всех живущих в ней евреев, страдают недомыслием или же увлекаются демагогией. Если даже верить в интегральный сионизм (сам Д. Пасманик присутствовал на I съезде сионистов, занимая, правда, особую позицию. — А. К.), то ведь надо не забывать, что в Палестину переселяются ежегодно лишь 10—15 тысяч человек, и мы во всяком случае еще очень далеки от того времени, когда хотя бы годичный прирост населения мог бы эмигрировать туда. Следовательно, — итожит Пасманик, — миллионы евреев прикреплены к России. Но в таком случае нельзя шутить со словом «родина». Если Россия нам не родина, тогда мы иностранцы и уже наверное не имеем права вмешиваться в жизнь страны... Одно из двух: либо иностранцы без политических прав, либо русское гражданство, основанное на любви к родине. Третьей возможности нет».

Пасманик и его друзья всеми силами стремились направить русское еврейство по второму пути, внушая любовь к родине, призывая деятельно отстаивать ее интересы. Это, утверждали они, «диктуется интересами и России, и еврейства. Узконациональное совпадает здесь с общерусским».

Уже во вступлении к сборнику — «К евреям всех стран!» — авторы декларировали: «Связанные многообразными и тесными узами с нашей родиной — с государственным порядком, хозяйством, культурой страны — мы не можем благоденствовать, когда всё вокруг нас гибнет». В этой сжатой констатации неразрывно слились моральный принцип и экономический интерес.

Экономический, демографический, культурный аспекты подчеркнуты в книге особо. В широкой ретроспекции судьба еврейства осмысляется на фоне российской истории последних полутора веков. «...Жизненная сила еврейства, — замечает И. Бикерман, — была в России. И эта сила росла и крепла вместе с расцветом русской Империи». Поскольку многие нынешние крикливые публицисты-русофобы плохо знают историю вообще и историю русского еврейства в частности, позволю себе привести обширную выписку из статьи Бикермана: «Во время продолжительной, двухвековой агонии Польши, с распадом которой евреи оказались под скипетром русского царя, еврейство обнищало, морально опустилось и, застыв в средневековом обличье, далеко отстало от Европы. Только с присоединением областей, населенных евреями, к России началась тут новая жизнь, началось возрождение. Еврейское население быстро увеличивалось в числе, так что могло даже выселить многолюднейшую колонию за океан (помнят ли об этом американские евреи, устраивающие антирусские демонстрации? — А. К.); в руках евреев накоплялись капиталы, вырос значительный средний слой, поднимался все больше материальный уровень и широких низов... Все это — вопреки черте оседлости, процентной норме и всяким другим ограничениям. Только евнух видит в полицейском страже демиурга истории, и параграф закона заменяет ему судьбу. Живая жизнь не такова. Вопреки многочисленным недостаткам строя... Империя крепла, русский народ рос и богател... Увеличивалось в своем значении и в своей мощи и русское еврейство. В этом параллельном росте и процветании сказалась тесная связь между судьбой русского еврейства и судьбами России».

Картина, набросанная Бикерманом, быть может, излишне идиллична. Он не вспоминает, например, о фактах, приводимых Ф. Достоевским в «Дневнике писателя», о том, что в Московской и других центральных губерниях России все крестьянское имущество было заложено еврейским кабатчикам. Писатель рассказывает о диком случае, когда сгорела целая деревня, ибо бочки, ушаты, ведра, равно как и остальное имущество крестьян, было снесено в кабак, и во всей деревне попросту не во что было набрать воды, чтобы затушить огонь.

Но если Бикерман и преуменьшает трудности совместного общежития, то эти трудности выпадали, как правило, не на долю еврейского народа. Разве что историческим невежеством или сознательным нежеланием выяснить истину можно объяснить напористо насаждаемый и в наши дни миф о прирожденном антисемитизме русского народа, об особых преследованиях, которым евреи будто бы подвергались в России. В. Мандель напоминает таким мифотворцам историю собственного народа. Он сравнивает меры, принятые Екатериной II для расселения евреев из присоединенных польских областей, с отношением рижско-немецкого бюргерства, которое и до сороковых годов XIX века вело борьбу за недопущение расселения

евреев в Риге. «...Если бы русские евреи знали свою историю, — пишет В. Мандель, — и жили правильною общественною жизнью, то им надлежало бы 9 мая 1914 года, в день 150-летия их поселения в коренной России, возложить венок к подножию бронзовой Екатерины, украшающей сквер перед Александринским театром... Но они не знали своей истории... Русские евреи оказались менее благодарными, чем еврейский народ вообще, который до сих пор с признательностью вспоминает и Кира Персидского, и Александра Македонского» *.

В заключение В. Мандель напоминал, что евреи в Германии, Америке, Англии, даже если они придерживаются сионистских воззрений, не перестают чувствовать себя «сынами» этих стран. И русские евреи, считает публицист, «не должны были утратить сознания, что они русские граждане и что им надлежит быть русскими патриотами в том смысле, как это понимает сам русский народ...»

Переходя к рассмотрению культурных влияний, авторы отмечают прежде всего значение русского языка, позволившего еврейскому народу приобщиться к сокровищам духовной жизни России и Европы. В. Мандель справедливо замечает, что вся еврейская интеллигенция воспитывалась на русском языке и на русской культуре. Нельзя без волнения читать исполненные признательности строки: «...Великий, правдивый, свободный и могучий русский язык также язык многих из нас, русских евреев...».

Более того, наш язык, по свидетельству Бикермана, сыграл огромную роль в объединении еврейства, рассеявшегося по огромным просторам России. «В Минске и в Одессе, в Полтаве и в Иркутске еврейский ребенок заучивал в школе те же стихи Пушкина, еврейская девушка брала в библиотеке тех же русских классиков, еврей слышал ту же русскую речь на рынке, на улице, в театре, в казарме... Объединяющая сила русской стихии была настолько значительна, что она покрывала даже слабые, правда, этнографические различия, существующие внутри самого еврейства: когда говорили друг с другом на русском языке литовский еврей с южным, то различие между литваком и нелитваком исчезало».

Крушение Российской империи, многократно предвосхищенное в воспаленных мечтах еврейских радикалов, на деле явилось величайшей трагедией еврейства. «...Распад России, — восклицал Бикерман, — означает также распад русского еврейства, т. е. распад самого крупного (в мире. — А. К.) еврейского коллектива... В каждом из многочисленных государств свои, особые евреи, во многом не похожие на евреев соседнего государства, прежде — соседней губернии. Единое, компактное русское еврейство дробится, распадается. Собравшись после многовековых странствий под один кров, в одну великую общину, мы теперь... переживаем новое рассеяние... Разбрызгивается то еврейское единство, которое... питало национальными соками все разбросанные по миру еврейские общины».

Почти во всех статьях сборника — свидетельства притеснения евреев в отколовшихся от России после революции государствах. «...Положение евреев в Латвии, Эстонии, Литве буквально трагическое. Вчерашние угнетенные быстро вошли в роль угнетателей, притом крайне плебейских угнетателей, не стыдящихся своей грубой антикультурности». Это из статьи Манделя. «Молодые, малые и слабые, эти политические новообразования относятся с особой нетерпимостью ко всему чужеродному, и уже теперь, в медовый месяц их самостоятельности, евреям угрожают гонения и ограничения, каких не знала и русская практика: причем... здесь само общество берет на себя почин в гонениях, тогда как в России это было делом ведомств» — выдержка из коллективного обращения «К евреям всех стран!»

Отказ глядеть на мир сквозь призму стереотипов дает поразительные результаты. Одного этого стремления к установлению беспримесной истины оказывается достаточным, чтобы начали рушиться привычные представления, те, что декларируются в начале громких фраз, после слов: «общеизвестно, что...».

Общеизвестно, заявляют на Западе, а теперь и на родимом Востоке, что русские виноваты в бесчисленных еврейских погромах, совершавшихся до, после и особенно в период гражданской войны. Любой иностранный журналист, пришедший обсудить проблему русского национального самосознания, после третьего, много четвертого вопроса непременно сворачивает на погромы и вспоминает о гражданской. А если обойтись без штампов, если, отказавшись от предубеждений, беспристрастно исследовать факты?

«...Погромы—порождение безвластья» — к такому выводу приходит Бикерман. Очевидец событий гражданской войны, он воссоздает ужасающую картину охоты за «человеческой разновидностью». Всякой — охотились за «буржуями», дворянами, «золотопогонниками», интеллигенцией, чиновниками, просто за теми, кто занимал квартиру окнами на улицу, — и в этом усматривали признак привилегированного положения.

«При этих условиях, — пишет Бикерман, — когда на смерть обрекались целые человеческие группы, было бы подлинным чудом, если бы не добрались до группы «евреи», — группы, которая всегда и везде на виду, всюду выделяется, с которой и по поводу которой идет тяжба уже тысячелетия». Но это не означает, что преследовались только и именно евреи. «Если тут был погром, то всеобщий; од-

* Суждения еврейского публициста о деятельности Екатерины II можно подкрепить ссылками на ее Указы. Знакомство с юридическими документами убеждает, что не может быть и речи о какой-либо дискриминации евреев в России. Евреям-ремесленникам, то есть тем, кто изъявлял желание работать, дозволялось «поступать в цеха на общих основаниях вне черты оседлости» (Полный свод законов Российской империи, т. 23, ст. 795): дети евреев обучались «без всякого различия от других детей в общих казенных учебных заведениях, частных училищах и пансионах» (там же, ст. 787).

них истребляли под одним видом, других под другим», — свидетельствует Бикерман. Он продолжает: «И когда в ответ говорят, вернее, истерически кричат: нет, неверно, евреев истребляли особо, белые, захватив город, искали не коммунистов, а евреев, то я не знаю, детская ли это наивность или заскорузлая тупость чернорабочих политики, не способных ни видеть, ни слышать ничего другого, кроме того, что им нужно для их несложного дела».

Несколько ранее автор статьи «Россия и русское еврейство» сказал и о самом этом «несложном деле». Поясняя, что еврейские комитеты в западных странах охотнее всего предоставляют финансовую помощь жертвам погромов, Бикерман саркастически замечает: «...Доброе и злое чувство входят в кооперацию. Ищущие денег находятся, таким образом, по отношению к реакционеру, контрреволюционеру, погромщику в том положении, когда принято говорить: если бы его не было, его нужно было бы придумать».

Не правда ли, знакомо? Не в подобном ли заурядном меркантилизме — источник будораживших не так давно всю страну слухов о готовящихся еврейских погромах, слухов, заботливо раздуваемых Центральным телевидением и столичной прессой? Если бы популярные телекомментаторы, потратившие по этому поводу немало патетических слов, обладали бы честностью и достоинством старого еврейского публициста, разве не пришлось бы им признать, что слухи о погромах — продукт к о о п е р а ц и и злого чувства к «русским шовинистам» и доброго чувства к заокеанским денежным фондам...

Я, русский, благодарен Бикерману не только за то, что он снимает с моего народа несправедливые обвинения. Я признателен ему, ибо, говоря о еврейских жертвах гражданской войны, он не забывает почтить память и наших жертв. Одно из лучших мест его статьи — о нашей крови и наших слезах. «Кто считал русские слезы, кто русскую кровь собирал и мерил. Да и как считать и мерить в этом безбрежном и бездонном море!»

Несложно вроде бы догадаться, что настойчивое подчеркивание трагедии одного народа там, где смерть собирала гигантскую жатву, не спрашивая о национальности, — знак пренебрежения к страданиям других народов. Проявление расистского правила, разделяющего человечество на избранных и рабов. Бикерман со стыдом и гневом отмечает претензии на исключительность в еврейских националистических изданиях. С иронией цитирует он пассаж: «Необходимо было... по крайней мере смотреть на евреев, как на равноправных граждан». Тут же следует язвительное замечание публициста: «...Признать нас равными с остальным населением оно (командование. — А. К.) должно было «по крайней мере». Не обязано же оно было признавать нас высшими существами».

Публицист бесстрашно прикасается и к совершенно запретным страницам истории смуты. Он вспоминает об инициативе одного еврейского общественного деятеля, «белого ворона», как именует его Бикерман, призвавшего выступить против казней русских православных священников. Призыв был адресован «высокому еврейскому сановнику духовного звания». Сановник отверг столь естественное предложение, сославшись на то, что «это значило бы бороться против большевиков, чего он не считает возможным делать, так как падение большевистской власти приведет к еврейским погромам и его, сановника, руки окажутся замаранными еврейской кровью». О русской крови — не той, что м о ж е т пролиться, — реками проливаемой, о крови служителей Бога этот раввин не подумал. Не счел нужным.

Не думают и до сих пор! Который год, которое десятилетие твердят, кричат, в уши трубят исключительно о еврейских погромах, ни о чем другом не желая ни слушать, ни знать. До того презирают немеренную русскую кровь, что отсчет беззакониям готовы установить (и государство н а ш е (?) вслед за ними готово!) с рубежа тридцатых, ну, в качестве уступки — с середины двадцатых (это не с отстранения ли от власти Троцкого-Бронштейна?), а до того, мол, миллионы людей, в том числе и детей (сколько их, босоногих, русоголовых, погибло в годы гражданской!), умерщвлялись вполне законно. И лишь одно нарушало порядок на этой исправной бойне — еврейские погромы. Только одно!

Так не пора ли прислушаться к голосу совести, звучащему со страниц книги «Россия и евреи»: «Уже тот факт, что наши жертвы составляют только часть жертв, поглощенных губительной смутой, требует от нас с повелительной необходимостью, чтобы мы меньше выпячивали свою боль, меньше кричали о с в о и х потерях. Пора нам понять, что плач и рыдания не всегда свидетельствуют о глубокой потрясенности рыдающего, чаще — о душевной распущенности, о недостатке культуры души». Бикерман заключает: «...Выставление напоказ своего только горя, своей только боли свидетельствует... также о неуважении к чужому горю, к чужим страданиям... К тому же, — проницательно замечает публицист, — к таким страданиям, которые не должны бы быть чужими».

Один за другим ставит Бикерман трудные вопросы и дает ответы, требующие от пишущего мужества. Таков вопрос об ответственности, точнее, о пропорциональной доле ответственности евреев за трагедию семнадцатого года и гражданской войны. Приведу длинную цитату — не только для того, чтобы вернее передать ход рассуждений автора, но и затем, чтобы дать читателям возможность ощутить живую пульсацию фразы, обаяние стиля этого замечательного публициста. «Итак, верно ли, что евреи несут ответственность за крушение русской державы и, следовательно, за бедствия, испытываемые русским народом?» — спрашивает Бикерман.— По самому существу спора приходится раньше, чем отвечать, отстоять еще свое право спрашивать, — право так ставить вопрос. Уклоняющиеся именно это ведь отрицают; добывая безответственность для себя, они готовы принести ее в дар всему миру. Революцию, мол, делает народ, история, стихия, — и спрашивать не с кого». Великолепный сарказм этой фразы подкреплен спокойной рассудительностью следующих строк: «Было бы очень нетрудно доказать, если бы могли здесь заняться этим, что «народ» не непогрешим, что «история» не самолично учиняет разгром государств, а пользуется для этого услугами отдельных лиц и человеческих групп, которые подлежат суду и современности и той самой истории, за которой они хотят спрятаться, но которая вовсе не занимается укрывательством... далее, стихия, в человеческом обществе обычно скованная, чтобы разбушеваться, должна быть раньше разнуздана. И всегда можно указать тех, которые в этом разнуздании повинны: на примере русской смуты это особенно ясно». Вновь смена интонации; автор уже не считает нужным сдерживать презрение к «рыцарям безответственности» и в финале расправляется с ними тремя безупречно заостренными, точно нацеленными фразами: «Но есть и довод попроще, более по плечу рыцарям безответственности: они ведь забывают и о народе, и об истории, и о стихии, когда заходит речь не об ответственности, е о дележе добычи, об участии в завоеванной власти, о лаврах, которые должны украсить чело героя. Наперерыв друг перед другом доказывали российские партии в лето 1917-ое свои заслуги перед революцией; трехаршинными афишами, помню, возвещали о своих подвигах. Совсем как цыган в русской сказке: кто по дрова пойдет — не я; кто сало будет есть — я».

Брутальная мудрость последней фразы не только довершает обличение — обнажает безнравственность попыток снять с одного из участников процесса ответственность за его результат. Бикерман апеллирует к житейскому опыту, к достоинству своего народа, доказывая, что величие нации проявляется в признании ответственности за свои деяния, а не в отказе от нее. Отрекается от содеянного раб, свободный человек не боится держать ответ по законам морали. Единомышленник Бикермана Д. Пасманик прямо указывает: «Это признание (вины. — А. К.) важно для нас самих, это — наш моральный долг...».

К тому же, напоминают Пасманик и Бикерман (это напоминание особенно ценно, скажу больше — трогательно), мудрость нации, ее зрелость проявляется в способности взглянуть на происходящее глазами людей другого народа. «...Мы должны прежде всего считаться с психологией неевреев, всех тех русских людей, которые непосредственно пострадали от злодейств и разрушительной деятельности...»

Об этой деятельности повествует Бикерман: «Русский человек никогда прежде не видел еврея у власти; он не видел его ни губернатором, ни городовым, ни даже почтовым чиновником. Бывали и тогда, конечно, и лучшие и худшие времена, но русские люди жили, работали и распоряжались плодами своих трудов, русский народ рос и богател, имя русское было велико и грозно. Теперь еврей — во всех углах и на всех степенях власти. Русский человек видит его и во главе первопрестольной Москвы, и во главе невской столицы, и во главе Красной армии, совершеннейшего механизме самоистребления. Он видит, что проспект св. Владимира носит теперь славное имя Нахимсона, исторический Литейный проспект переименован в проспект Володарского, а Павловск — в Слуцк. Русский человек видит теперь еврея и судьей, и палачом...».

Бикерман размышляет: «Кто сеет ветер, пожинает бурю. Это сказал не французский остроумец, не буддийский мудрец, а еврейский пророк, самый душевный, самый скорбный, самый незлобивый из наших пророков. Но и это пророчество, как и многие другие, нами забыто». Публицист требует признания ответственности и народного покаяния евреев за участие в русской смуте. За саму тягу определенной части еврейства к нестабильности, хаосу. «Кто с телячьей резвостью берется перетасовывать материки и океаны, точно карты в колоде, тот, естественно, чувствует себя в своей стихии, когда мир вышел из своей колеи и история, опьянев, кружится в бурном плясе... Для этих людей разрушение есть уже половина дела, а вторую половину восполняет шумиха деклараций, конференций и резолюций».

Авторы сборника настаивают на признании ответственности еврейства за жестокость новых властителей России. И опять— как современно звучат слова Д. Пасманика, отвергающего право по произволу отказываться от тех, чьи деяния не хочется признавать. «Ответственно ли еврейство за Троцкого? Несомненно. Как раз национальные евреи не отказываются не только от Эйнштейнов и Эрлихов, но и от крещеных Берне и Гейне. Но в таком случае они не имеют права отрекаться от Троцкого и Зиновьева». Бикерман, как всегда жестко, добавляет к этому: «...Отречься от вытаптывающих чужие поля — это уж не от нас зависит, нужно еще, чтобы потерпевшие освободили нас от связи с вредителями».

Сколько чернил пролито сегодня по этому поводу, сколько громких фраз произнесено — все для того, чтобы убедить мир: Троцкий, Зиновьев, Каменев, Урицкий, Ягода, Каганович никакого отношения к еврейскому народу не имеют, а следовательно, никто кроме них не отвечает за их прегрешения. О том, что рядом с вождями были тысячи и тысячи искателей счастья из местечек, устремившихся на революционный пир перекройки мира, и вовсе предпочитают не вспоминать. Да и с железных плеч главных вождей смуты ловкие манипуляторы умудряются снять тяжесть вины, перекладывая ее на русского мужика. Ему предписывается держать ответ даже за Джугашвили-Сталина, за Берию, за Генриха Ягоду и множество всяких Петерсов, Лацисов, Менжинских. Насколько же мудрее и достойнее простое признание Бикермана: нужно, «чтобы потерпевшие освободили нас от связи с вредителями»...

Те, кто хочет спокойного сотрудничества и сосуществования народов, должны наконец уяснить: принцип непогрешимости, раз и навсегда установленный для с в о и х, лукавые отговорки вместо признания очевидных фактов — источник законного недоверия к партнеру. Трудно ожидать до-

верия, постоянно именуя белое черным, бывшее выдавая за небылицу, палачей записывая в жертвы (вспомним хотя бы проект «Мемориала» воздвигнуть памятник жертвам репрессий напротив знаменитого дома на набережной, где до 37-го года с почетом и комфортом проживали инициаторы массовых боен двух предшествующих десятилетий!).

Или же ни о доверии, ни о сотрудничестве и не помышляют адвокаты тех, кто, по меткому слову Бикермана, «вытаптывал чужие поля»? И цель в данном случае иная — во что бы то ни стало доказать непогрешимость «избранного» народа, в зародыше подавить любую попытку хотя бы поставить вопрос о виновности его самых безнравственных представителей.

Интересно замечание Бикермана о психологической близости большевиков (в частности, евреев-большевиков) и сионистов: «...Оба с одинаковой решительностью отрекаются от старого мира, хотя мир одного — не мир другого; один и другой имеют каждый свою обетованную землю, которая течет млеком и медом. Это единство схем накладывает удивительную печать сходства на мышление, обороты речи и повадки сионистов и большевиков». Продолжая параллельный анализ, публицист отмечает, что в сионизме, как и в большевизме, наиболее ярко выражены «фантастика, притязательность и порождаемое ими тяготение к смуте как к родственной стихии». Бикерман свидетельствует: «Смута заметила сионизм и усыновила его».

Авторы считают задачу сионизма столь же утопичной, как и та, что декларирована профессиональными революционерами. Даже и теперь, после создания еврейского государства, сохраняет убедительность основной довод участников сборника — на всеобщий исход евреев из России потребовались бы десятилетия. Его невозможно осуществить в рамках жизни одного поколения. Между тем евреев усиленно подталкивают к границе. И в этом, как ни парадоксально, сходятся сионисты и противники еврейства. «Только самый ослепленный ненавистью жидоед может говорить: пусть они себе уходят в свой Иерусалим. На деле «они» не уходят и не могут уйти», — восклицает Бикерман.

Публицист изобличает двуличие тех, кто призывает евреев к эмиграции, а сам «остается в Берлине, на Kurfürstendamm'е». Эти живущие в комфорте пропагандисты обрекают миллионы людей на напряженную раздвоенную жизнь — между двумя землями, странами. Сионизм, утверждает автор статьи «Россия и русское еврейство», «неминуемо отводит их (евреев. — А. К.) от страны, где жили их предки, где сами они родились и живут, гражданами которой они состоят, с жизнью которой и их жизнь многообразно связана».

Участники сборника, повторяю, указывают соотечественникам на возможность иного пути. Не отречение от могил предков, не двойственность положения вечных «перемещенных лиц» (на бывшей родине и в заатлантическом рассеянии), — работа по возрождению России. Кропотливая, тяжкая, вдохновенная. «Прилагать все усилия, чтобы Россия возможно скоро стала снова государством, державой, плохой или хорошей, с демократизмом или без оного, но с устойчивой властью, предупреждающей и карающей, и с населением, не бросающимся от дикого разгула к животной покорности и обратно, а ставящим в порядке дня впереди всего труд и созидание, как во всем мире и как было прежде, вообще говоря, и в России» (И. Бикерман).

На фоне нынешнего кризиса Союза, оттененного к тому же сравнительно благополучным положением Израиля (весьма призрачным, впрочем, если учитывать все финансовые, военные, психологические проблемы, связанные с его геополитическим положением), может показаться, что авторы книги ошиблись. История пошла против них.

Не история, — соплеменники, к чьему здравому смыслу, естественному человеческому стремлению жить устойчивой и обеспеченной жизнью обращались авторы, — вот кто отверг призыв к созиданию, вот кто уклонился от предложенного пути. А теперь и сами себя спросим: оказались ли мы, русские, достойными великого национального наследия, доставшегося нам от прадедов? Вот в чем причина тяжких нестроений. Развалить, разорить, обратить в пустошь можно и самую богатую землю в мире. А Россия и сегодня, потеряв в губительных экспериментах века значительную часть своих сокровищ — материальных, а главное, духовных, — по-прежнему сказочно богата. И она возродится, озаряя народы светом своего нового торжества, если «в порядке дня» наконец поставлены будут труд, созидание страны.

Но не только материальные, практические выгоды обещает путь, намеченный в 1923 году. Есть нечто высшее, чем материальные выгоды. О духовных перспективах, открывающихся перед еврейским народом на пути созидания России, вдохновенно говорит Д. Линский, автор статьи «О национальном самосознании русского еврея». Рассказом о ней я хочу закончить обзор сборника.

Д. Линский прошел путь бойца добровольческой армии — мучительный для каждого, а для еврея вдвойне. Ему приходилось не только переносить все тяготы, выпавшие на долю этих мучеников за дело России, в правоту которого они верили, но и сталкиваться с недоверием русских сослуживцев. Ему довелось увидеть насилие над еврейским населением, находившимся под властью добровольческой армии. И вот какие мысли вынес он из этих испытаний: «Еврейству открывался, может быть, неповторяемый случай биться так за русскую землю, чтобы раз и навсегда исчезло из уст клеветников утверждение, что Россия для евреев — география, а не отчизна». И далее, переходя к спору с воображаемым собеседником, автор произносит примечательные слова: «...Ты мог спасти родной народ, ты предпочел обидеться, что тебя не уважали и оскорбляли те, рядом с которыми ты должен был в смертном бою завоевывать счастье своего народа».

Автор не закрывает глаза на погромы, но требует от соотечественников подняться на высшую ступень самосознания. Он призывает к национальному очищению и взаимному раскаянию. «Еврейство должно пойти правым путем, соответствующим великой мудрости его религиозных заветов, ведущим к братскому примирению с русским народом, вне счастья и благополучия которого нет жизни еврейскому множеству, русскому еврейству».

Линский призывает своих соотечественников к активному созиданию общего русского дома, ибо, по его прекрасному выражению, «нет и не может быть у русских евреев иного крова, кроме синевы русских небес». Он требует от своего народа «пропитать каждого еврея насыщенным раствором сознания, что он русский еврей...».

Эмоциональная вершина этой взволнованной исповеди, вылившейся из чистого, несмотря на все страдания, сердца, — замечательное пророчество, в котором судьба русского еврейства соединена с судьбой обновленной, свободной России: «Нет другой дороги (дороги созидания общего отечества. — А. К.) для русского еврея, т. е. для еврея, кто верит и высшим знанием просвещен о том, что Россия будет, Россия — Петра I и Достоевского, не безликая социалистической серостью безбрежная плоскость, не обезличенное атеистической пошлостью величайшее людское стадо, а Россия, несущая во всех порах своего бытия, проявляющая во всяком своем жизненном обнаружении свое национально-культурно-религиозное существо».

Да будет так! — отзовется на эти слова каждое верящее русское сердце.

Впрочем, не надо обольщаться. Авторы намеревались издавать сборники «Россия и евреи» регулярно. Однако вышел только первый выпуск. Экстремисты-соплеменники не дали публицистам возможности заниматься гуманной и нужной деятельностью...

Но эта показательная неудача не означает, что нам дано право безнадежно махнуть рукой: все равно ничего не получится! Спустя почти семьдесят лет после выхода книги на нас ложится нелегкая обязанность возобновить усилия. Ибо идеологический вакуум неминуемо заполняется агрессивными стереотипами вроде тех, которые насаждают сегодня профессор Брановер и его крикливые единомышленники.

И. М. БИКЕРМАН

РОССИЯ И РУССКОЕ ЕВРЕЙСТВО

. . . .

Большевицкое государство, заполнившее собой безгосударственную пустоту, образовавшуюся после революции, совместило в себе начала столь противоположные, что уже одно представление об их совместности подавляет наше сознание: жгучую остроту мучений с мучительной длительностью, безмерность разрушения с нестерпимой узостью домашнего обихода: жизнь на протяжении двух материков мнется, гнется, ломается с невозмутимым спокойствием и будничной простотой, точно порошок в ступе готовят. И вот около этой дьявольской лаборатории, тут — наш грех, великий грех русского еврейства.

Нечего и оговаривать, что не все евреи — большевики и не все большевики — евреи, но не приходится теперь также долго доказывать непомерное и непомерно рьяное участие евреев в истязании полуживой России большевиками. Обстоятельно, наоборот, нужно выяснить, как это участие евреев в губительном деле должно отразиться в сознании русского народа. Русский человек никогда прежде не видал еврея у власти; он не видел его ни губернатором, ни городовым, ни даже почтовым чиновником. Бывали и тогда, конечно, и лучшие и худшие времена, но русские люди жили, работали и распоряжались плодами своих трудов, русский народ рос и богател, имя русское было велико и грозно. Теперь еврей — во всех углах и на всех ступенях власти. Русский человек видит его и во главе первопрестольной Москвы, и во главе невской столицы, и во главе красной армии, совершеннейшего механизма самоистребления. Он видит, что проспект св. Владимира носит теперь славное имя Нахимсона, исторический Литейный проспект переименован в проспект Володарского, а Павловск — в Слуцк. Русский человек видит теперь еврея и судьей, и палачом; он встречает на каждом шагу евреев, не коммунистов, а таких же обездоленных, как он сам, но все же распоряжающихся, делающих дело советской власти: она ведь всюду, от нее и уйти некуда. (...)

. . . .

При всем различии и содержания, и путей существуют глубокие формальные сходства между сионизмом и большевизмом. Как там за все зло в мире отвечает буржуазный строй, и нет такого явления в жизни, значительного или незначительного, которое не подтверждало бы этой всеопределяющей истины, так здесь «голус» ответствен — в более ограниченной области еврейства,— за все невзгоды, трудности и неудобства, нами испытываемые, и вся жизнь еврейского народа — только иллюстрация проклятия «чужбины». Как большевик знает верное средство против зла: социализацию, так есть оно и у сиониста: Сион. И сионист и большевик берутся собственными руками смастерить вожделенное: как для одного, так и для другого идеальные состояния non nascuntur, sed fiunt. Большевик ждать эволюции не хочет, и это именно для него характерно; сионист ждать не может, ибо ему приходится начинать сначала. Тому и другому чуждо представление о трагическом в жизни как таковой; оба с одинаковой решительностью отрекаются от старого мира, хотя мир одного — не мир другого; один и другой имеют каждый свою обетованную землю, которая течет млеком и медом. Это единство схем накладывает удивительную печать сходства на мышление, обороты речи и повадки сионистов и большевиков. Сионист, как большевик, не знает пропорций, степеней и мер; любая частность получает у него универсальное значение, горчичное зерно вырастает в баобаб, воображаемый полтинник в наличный миллиард. Ведется, например, агитация за привлечение капиталов в сионистский банк. Так это не просто попытка достать денег. Нет, задача эта, оказывается, «несет в себе для проводников неиссякаемый источник напряженной энергии, дает необходимый широкий горизонт и превращает агента по продаже акций Колониального банка в революционера голусной экономики». Это не личное, а родовое, не особенность данного автора, а присущее миропреобразователям всех толков и всякого вида. Сионисты таковыми и чувствуют себя. К слову «Революция», производным от него и заменяющим его, они питают особое пристрастие, связь их дела с великой смутой века они ясно сознают. «Рассвет», например, обещает быть «органом незазисимой революционной, национально-еврейской мысли»,— это не в 1917 году, а в 1922-м, и «революционно» имеет здесь значение общее; покойный основатель издания обладал, оказывается, «революционным» скепсисом, а в Генуе... Казалось бы, что сионистам Генуя. Оказывается, что «еврейство кровно заинтересовано в демократизации мировой политики», а для сионизма очень важно, чтобы европейская политика усвоила методы Ллойд-Джорджа, «революционные по своей новизне». Достигнутые сионизмом успехи отмечаются в следующих словах: «Поднятие еврейского вопроса на головокружительную высоту международных проблем, неожиданное, чуть ли не запанибратское соседство с державами — повелителями мира за зеленым столом межгосударственного ареопага, объединение еврейства и Палестины в едином политическом узле, все эти революционные уступки еврейской мечте, еврейской амбиции, еврейскому национальному интересу,— сколько огромных исторических авансов!» И тут же, рядом, печаль по поводу не сделанного еще. «Нам не удалось внедрить убеждение, что движение наше органически связано неразрывными узами с прогрессивной мыслью, с движением к созданию лучшего мира, что оно составляет интегральную часть этого движения». Я мог бы привести много доказательств тому, что сионистский Иеремия видит вещи слишком черными, что Смута заметила сионизм и усыновила его; но тут нам до этого дела нет. Прибавлю только, что все это из одного-единственного номера тощего еженедельника, а приведенного достаточно, я думаю, для всякого умеющего за словом видеть человека, чтобы уловить отмеченную мною черту в облике сионизма и сиониста.

Нам остается проследить, как это тяготение к Смуте сказывается, в частности, в отношении сионистов и идущих за ними к России и русской беде. Уже тридцать лет с лишком я борюсь против сионизма, считая его задачу неосуществимой, а стремление к ней во многих отношениях вредным. Вредным, между прочим, и для тех государств, в которых протекает деятельность сионистов, и тем более вредной, чем больше они преуспевают. Только ослепленный ненавистью жидоед может говорить: пусть они себе уходят в свой Иерусалим. На деле «они» не уходят и не могут уйти. Великая катастрофа, как российская, может в немногие годы распылить по миру сотни тысяч и даже миллионы людей, но и в этом случае оторвавшиеся и рассеявшиеся составляют лишь ничтожную долю оставшихся. В обычных же условиях инерция человеческой массы еще более велика. А если и уходили многие, то не «в свой Иерусалим», а кому куда удобнее, так что если сердце ненавистника нашего племени чуточку облегчалось в одном месте, то оно ровно на столько отягчалось в другом. Не могут миллионы людей жить будущим государством; у каждого из них тысячи нужд, которые должны быть удовлетворены сегодня, иначе ни у них, ни у всего народа и будущего не будет. Словом, сионизм не уводит евреев, но он несомненно духовно отводит их от страны, где жили их предки, где сами они родились и живут, гражданами которой они состоят, с жизнью которой и их жизнь многообразно связана. И раньше всего от государства. Сионизм ведь не религиозное учение, с земным миром не связанное, не новое слово в искусстве или, общее, в культуре, а раньше всего и больше всего политика: движение, задача которого — создание национального государства. Это долженствующее быть созданным государство не может не стопкнуться, прямо или косвенно, посредственно или непосредственно, с государством, где сионисты живут и где деятельность их проявляется.

Но в великом государстве, живом и мощном, эта опасность, в представлении значительная, на деле, может быть, и невелика. И сионисты дают солдат, платят налоги, исполняют законы и, хотя или нехотя, остаются больше гражданами нашего, существующего государства, чем их воображаемого. Иначе, когда государство разрушено, когда осталась от него только земля, ибо она неразрушима, и та поругана, да население, ибо до конца неистребимо, но и оно порабощено, когда гражданин только тем и может выполнить свой долг перед государством, что отдаст ему добровольно свои помыслы, свои труды, свои усилия, что он будет думать о его возрождении и делать, что может, для его возрождения. В этом случае сионист стоит между уже несуществующим государством и еще несуществующим. И так как его идеал — последнее, а сам факт разрушения великих государств окрыляет его,— ибо если первые стали последними, то и последние могут стать первыми,— то ему и выбирать не приходится. Мы теперь и видим, что русский сионист исходит во всех своих суждениях просто от факта небытия России. Вы и в разговоре услышите, и в письме прочитаете, что не в России же теперь жить еврею, а потому как раз время ехать «домой». Ни говорящий это, ни пишущий не едет (за прошлый год в Палестину прибыло всего немногим больше 6 тысяч евреев), а остается в Берлине, на Kurfürstendamm'e или в соответствующих местах Вены, Варшавы, Риги, но о России вспоминает только для того, чтобы доказательством от противного укреплять свою веру в Сион. Даже вера в акции сионистского банка таким же образом укрепляется: доказывается, что приобретатель таких акций обеспечивает «себя от повторения российских абсолютных стопроцентных крушений». Что он, вскормленный и взращенный Россией, должен, может быть, что-нибудь делать, чтобы она из небытия вернулась снова к бытию, сионисту и в голову не приходит: он не может выполнить и сотой доли тех задач, которые ставит перед ним его будущее государство.

Все это для сиониста — «естественно». Ничего сверхъестественного нет и в том, что сионисты, отдавая свои силы государству, с нашей и их родиной ничего общего не имеющему, не оставляют все же без внимания и без своих забот и России. Раньше всего она существует для них как объект претензий: в «бывшей России» были еврейские погромы, существовала черта оседлости и т. д., и т. д., нетрудно найти основания, чтобы помянуть ее лихом. Затем в России, т. е. на русских равнинах, живут и теперь миллионы евреев и в главной своей массе — это сионист очень хорошо понимает — тут и останутся; следовательно, для него как сверхеврея, не может быть безразлично, как сложится судьба этих равнин; наступит тут, скажем, реакция, евреям может быть плохо, при большевиках же — равенство; тут сионист встречается с многими другими евреями-несионистами. Главное же, что русский сионист, по горло погруженный в мировую политику, делающий внушения Лиге Наций и выговаривающий Палате Лордов, сочетающий Декларацию с Мандатом и Мандат с Декларацией, следящий за сионистскими сборами по всему миру от Южной Африки до Канады, не может не интересоваться политически обширнейшей в мире страной, физически ему все же близкой: Минск и Одесса, Москва и Харьков для него ведь не только географические названия. В какую сторону может направиться его участие, это предопределено самой природой сионизма, существом его. Если для евреев особое государство, и именно на той земле, где такое государство некогда существовало, хотя уже две тысячи лет, как еврея с ней связывают только исторические воспоминания, то особое государство также для каждого племени, каждого языка, независимо от всяких условий и отношений: пространства, численности, культуры, истории, фактической мощи. Для России это значит — раздробление, как идеальное состояние. Поэтому организация русских сионистов именует себя не русской, не российской, а русско-украинской. Поэтому сионисты и родственные им еврейские группы так усердно братались с украинскими самостийниками, поэтому крайним представителям сионизма даже русская революционная демократия кажется недостаточно благонадежной, и она изобличается в «хозяйской властности в отношении всех народностей, когда-то живших под эгидой государства Российского»; представитель этого течения отказывается понимать, почему «целость российской территории, создавшейся путем кровавых и произвольных захватов чужестранных земель, это такой высокий неприкосновенный принцип». Он ничего не имеет против того, чтобы тысячелетнюю историю России проделать в обратном порядке — только в течение двадцати четырех часов.

Но так как отсеять совершенно однородный состав населения для определенной территории, как там ее ни выкраивай, еще никому не удалось, и даже возникшие во время европейской смуты будто бы «национальные государства» имеют каждое свою дюжину национальных вопросов, то у сионистов есть еще другая забота: обеспечить права национальных меньшинств. В печатном органе русских сионистов в Берлине имеется потому постоянная рубрика «Среди национальностей», в которой тщательно отмечаются споры и раздоры между самоопределившимися нациями, ставшими уже державными, и живущими в их среде чужаками, тоже желающими самоопределиться. Как сионисты соединяют свою горячую заботу о самоопределении даже незначительных меньшинств в составе чужих государств со своим стремлением создать еврейское национальное государство в стране, где евреев и 12% нет, спрашивать не приходится: сионисты не первые и не последние совмещают такие противоречия. И само собой разумеется, что самоопределение в пределах России и, раньше всего, самоопределение евреев представляют для русского сиониста особый интерес. И тут пути сионизма и большевизма совсем близко сходятся. Советская Россия ведь не империалистическая держава какая-нибудь, а союз свободных республик: тут и татарская, и башкирская, и всякая другая республики; и школу на своем языке может каждая

народность иметь, даже учителей и учебники любезно для них готовят. Конечно, никакого самоопределения не может быть там, где не признается человеческая личность, где и язык народа, как все его достояние, есть только орудие в руках властвующих для укрепления их господства, где язык дан человеку для того, чтобы славословить не Бога в небесах, а советских властителей в Кремле. Но и равенство ведь тут не лучше самоопределения, однако его ценят. Так же ценят и автономию. Союз республик все же не то, что Единая Неделимая Россия, сионисту представляющаяся чем-то допотопно-варварским. Правда, по отношению к еврейскому самоопределению между сионистами и большевиками — существенное расхождение, именно в вопросе о древнееврейском языке, к которому евреи-большевики относятся враждебно. Но тут можно против своих, «ненастоящих» коммунистов искать поддержки у настоящих и разумных коммунистов неевреев. Сионист и большевик стоят тут, во всяком случае, на общей основе, друг друга понимают; они могут спорить, но могут и соглашение найти.

Затем большевики не больше сионистов, разумеется, дорожат неприкосновенностью российской территории, хотя есть уже праздные идеологи, усматривающие в них новых собирателей земли русской. С чисто босяцкой щедростью они отказались от им и не принадлежавшего, и на западе России возник целый ряд новых государств. И так как обрели свою государственность эти маленькие народы посреди хаоса, над которым реял не дух Божий, а дух Вильсона, то отсюда заключили, что они должны будут и жить по его скрижалям: они самоопределились,— дадут и другим. Для сионистов — новый предмет забот и новая точка приложения для разлагающих Россию сил. Но тут мы уже выходим за пределы сионизма; тут с сионистами соревнуются еврейские автономисты всяких толков, которых мы, впрочем, можем и не различать.

Для последних персональная автономия, самоопределение не областей, а народностей, хотя бы и рассеянных, вкрапленных в другие этнические массы, образование в частности из рассеянного еврейства самоуправляющихся, своезаконных коллективов внутри других государств,— это для автономистов такой же высокий идеал и такое же средство против всех зол, как для сионистов еврейское государство, «национальный дом»; для них автономия — основная черта в картине того «лучшего мира», который должен быть создан и над созданием которого, как мы видели, трудятся и сионисты, представляя его себе несколько иначе. Фантазеры они такие же, только с густой печатью захолустного, местечкового, в противоположность сионистам, если не великосветским, то всесветным. Смуту они воспринимают, может быть, еще наивнее сионистов. Так, главный теоретик автономизма и официальный, так сказать, историограф русского еврейства, едва успев вырваться из большевицкого плена, поспешил напечатать свои размышления, в которых он узости человеческих помыслов противоставит творческий размах истории: мы-то спорили, еврейское государство или самоопределение в чужих государствах, а История вот, до расточительности щедрая, дает нам и то и другое. Иному со стороны покажется, что человек несколько поторопился внести в актив Смуты столько великих благ, но ему это не кажется, и он в автономии нашел утешение среди бедствий нашего времени. И сколько евреев тешилось и тешится этим призраком!

Вопрос о том, будет ли в Литве еврейский министр, каков он будет, или же его вовсе не будет, — этим заполняются в течение недель и месяцев столбцы газет и наполняют головы тысяч и сотен тысяч евреев. И не только евреев-сионистов или евреев-автономистов, но большинства русских евреев, особенно за пределами нынешней России. Ибо физически, материально и духовно обессиленное русское еврейство, разъединенное, лишенное бытовых центров, не объединяемое и той великой мыслью, которая в настоящий час могла и должна была бы нас всех объединить: мыслью о России, о ее возрождении, — это еврейство идет легче, чем когда-либо за всяким блуждающим огоньком, за всяким призраком. Хлопочут добрые евреи о министре для нас, спасибо им; хлопочут другие евреи о государстве для нас, дай им Бог здоровья. О России же никто из говорящих к евреям и от имени евреев не хлопочет и не предлагает хлопотать. О России сионисты говорят нам, немногим, непомнившим о ней, что с ней евреи «связаны лишь с 1772 года», что «в новых национальных государствах евреи все же в борьбе и муках завоевывают себе подлинные гражданские и национальные права, и у них нет ни принципиальных, ни гражданственных оснований быть меньшими патриотами своих новых «отечеств», чем были они когда-то в отношении России», что тут, в новых государствах, «они добились больших и значительных завоеваний и умеют ценить и беречь их».

Сионизмом и автономизмом, собственно, исчерпывается политически окрашенная еврейская общественность в наши дни. Так называемый Бунд, разыгрывавший роль представителя «еврейских рабочих масс», присоединился большей и более активной своей частью к большевикам и приставлен теперь советской властью в качестве жандарма к «еврейской буржуазии», т. е. попросту к наличному еврейству. Те три еврея — теперь, кажется, только два уже, — которые воплощают в Средней и Западной Европе Российскую Социал-демократическую Рабочую партию, к еврейской общественности во всяком случае не относятся. За ее пределами стоят также те, единицами встречающиеся еще в еврейской среде, кадеты-зубры, которые отрекутся и от Моисея и от пророков, но не от Павла: П. Н. Милюков погрешить не мог, революция была доброй феей, но спугнул ее и занял ее место злой колдун-большевик, и теперь вся задача в том, чтобы чарами того же Милюкова злого волшебника обратить в доброго. Эти евреи кадетского исповедания занимают промежуточное положение, служа соединительным звеном между революционным суеверием внутри еврейства и суеверием об обязательной для прогрессивно мыслящего человека юдофильской повинности в русском обществе. Тут, впрочем, к суеверию часто примешивается и расчет. Я готов был бы дорого заплатить за то, чтобы юдофильство перестало считаться надежным прибежищем для всякого рода дезертиров с отечественного фронта.

Но существует еще довольно развитая, хорошо организованная и весьма влиятельная в еврействе, и не только русском еврействе, общественность неполитическая, т. е. по прямым заданиям своим с политикой не связанная, непосредственно к ней и не причастная. Тем не менее и эта общественность наша служит также обильным источником политического влияния, и все того же рода: разложения. Это — всякого рода общества и комитеты помощи. Они существовали и раньше, но умножились в числе и выросли в значении во время великой войны, вместе с умножением бедствий и ростом нужды. Теперь, когда бедствий не сосчитать и нужды не исчерпать, работы тем более у организаций помощи достаточно. Где же от этой работы путь к разлагающей политике? Уяснив себе это, мы вместе с тем узнаем, в чем само зло, в чем собственно выражается политическое действие этих общественно-благотворительных учреждений.

Раньше всего клонит этих людей к примиренчеству, к приятию великого зла и возможному скрашиванию его сам факт тесного общения с советской властью. В свободной республике большевиков ведь не накормишь голодного и не перевяжешь раны истекающему кровью без назойливой, примитивно-грубой опеки благодетельной власти. И это еще в лучшем случае. В худшем же случае она станет между вами и жертвой, ее же жертвой, и кусок хлеба дойдет до рта голодного, только пройдя через нечистые руки все умеющих и на все готовых слуг коммунистической власти. Приходится помогающим приспособляться, и не только внешне, но и внутренне, душевно. «Поцелуй да плюнь» — это можно сделать раз, будучи застигнут воровским атаманом на перекрестке дорог. Но когда «целовать» приходится ежедневно, начинаешь убеждать себя, что рука, которой касаешься губами, не так уж грязна. Не поддаться этому самообману нелегко и во всяком случае не по силам людям, которые, пребывая на последней ступени униженности, обращаются трижды в день к Господу Богу с молитвой: избави нас от реакции. И вот, для примера, плоды близости и приспособления.

Приехал сюда, в Берлин, прошлым летом из России еврейский общественный деятель, он же русский народник, с целью образовать комитет помощи голодающим евреям, в чем и успел. Выступив с докладом о положении еврейского населения в голодающей России, он счел нужным, между прочим, сказать: «Было бы неосновательным винить политику в разразившемся голоде, ибо в прошлом последний являлся закономерным спутником российской жизни, повторяясь через каждые 5—7 лет. Советскую власть можно упрекнуть лишь в том, что она при построении революционных перспектив России не учла этого голода, почему в момент, когда последний разразился, власть не оказалась в силах справиться с ним. Голодная смерть тогда не являлась таким стихийным бедствием». Какая осторожность, сколько заботы о том, чтобы не обременить чуткую совесть советских властителей излишней тяжестью! Предо мною как раз лежит сейчас статья С. Н. Прокоповича, отнюдь не «черносотенца», как известно, и тут я читаю: «В черноземных губерниях, напротив, засуха и неурожай, осложненные голодом — этим неизбежным последствием предыдущей продовольственной политики советской власти, — привели к резкому сокращению посевной площади». Все это и гораздо больше этого знали мы все и до открытия г. Прокоповича, знал это, разумеется, и докладывавший д-р Гран. Совсем нетрудно было ему додуматься и до того, что для еврейского именно населения, как городского, советский голод никаким образом сравнить нельзя с прежде бывшими. Во-первых, потому, что прежде городской человек не зависел в такой мере непосредственно от урожая; он жил от городских промыслов, на которых состояние урожая отражалось лишь посредственно; теперь же эти промыслы разрушены, не голодающими, разумеется, а их мучителями. Во-вторых, теперь голод именно в городах обрушился на население, истощенное и заморенное четырехлетним полуголодным существованием на советском пайке, чего раньше, конечно, не было. Как врач, докладчик был достаточно подготовлен, чтобы оценить это обстоятельство, и как еврейский патриот, он имел тут чем возмущаться. Вместо возмущения мы услышали апологию, жалкую, лживую, непристойную.

Тут нет, впрочем, ничего специфически-еврейского. Когда г-же Кусковой казалось, что она вместе с советской властью будет спасать Россию, она поторопилась напечатать в «Красной газете» произведение, в котором царскому правительству, не дававшему обществу помогать голодным, противопоставлялась пролетарская власть, прибегающая к содействию общественных сил. Дьявол всегда взамен услуг требовал человеческой души. То была его программа-минимум. Теперь дьявол стал большевиком и развернул программу-максимум: за честь ему служить — и помогать голодающим в России, ведь услуга советской власти — человек должен заплатить своей душой. И ее отдают с одинаковой готовностью и Кускова и Гран. Различие между «нами» и «ими» тем не менее остается, и не в нашу пользу. Что там, в русском обществе, Кускова, то у нас — общественность; другой общественности у нас нет.

Если в конце пути, при раздаче помощи, задача наших организаций как-то сама собой расширяется и они, кормя голодных, одевают еще кроме того нагих, т. е. стыдливо прикрывают звериную наготу большевиков и их власти, то в начале пути, при сборе средств для помощи, они таким же образом, т. е. также без нарочитости, в порядке быта, разоблачают, принижают, охаивают все и всех, что было в

России до большевиков и до революции силой, оберегавшей и строившей, как и всех тех, что боролись и готовы впредь бороться за освобождение России от тяжкого и постыдного ига большевиков. Чтобы многочисленные учреждения помощи могли хоть кое-как осуществлять в наше бедственное время свои задачи, чтобы можно было содержать довольно многочисленные и недурно оплачиваемые штаты, для этого требуются очень большие средства. Их дает почти целиком Америка. У меня нет сведений о том, сколько дают туземные, обамериканизшиеся уже евреи и сколько выпадает на долю русских евреев, осевших за последние 25 лет в большом числе в Соединенных Штатах. Несомненно во всяком случае, что шума вокруг дела помощи всего больше именно в среде русских выходцев. А среда эта такова, что в ней очень легко распространяются пробольшевицкие идеи и лишь с большим трудом могли бы проложить себе путь противобольшевицкие взгляды.

Большинство перекочевавших в Америку русских евреев уходило из России с представлением, что еврею там жить невозможно, что тут он на каждом шагу натыкается на ограничения, что его достояние и сама жизнь его здесь не охраняются. Попав в среду действительно свободной и мощной американской жизни, люди эти очень скоро проникались высокомерным презрением не к России — компетентные наблюдатели утверждают, что русские евреи в Америке еще после десятилетий испытывают тоску по родине, — но к ее строю, к ее политическому укладу. Самое свободу американскую эти пришельцы воспринимают через свои, выходящие на разговорно-еврейском языке газеты, среди которых далеко преобладают улично-крикливые, неразборчивые и, разумеется, социалистические листы и листки. Для людей с такими воспоминаниями и такими представлениями большевицкая Россия легко превратилась в обетованную землю: тут и равенство, и социализм, и еврейская власть. Я и в Москве и в Петрограде видел евреев, под влиянием таких представлений вернувшихся из Америки в Россию, слышал рассказы об истинно-советских мытарствах, испытывавшихся ими со дня перехода русской границы, наблюдал, как по истечении очень короткого времени эти жертвы большевицкой пропаганды и собственной темноты готовы были бежать куда глаза глядят, если бы только была возможность вырваться из советского плена. Но оттуда, как с того света, никто не возвращается, и русско-еврейская Америка и сейчас весьма смутно представляет себе, как живут в России под властью советов, как живется, в частности, евреям в нынешней России.

Из этой среды черпаются деньги для дел наших общественных комитетов. Просите у человека помощи для разоренной семьи, для беззащитных сирот, он откликнется в меру своей чуткости к чужим страданиям. Но скажите ему, что в бедственное состояние привел нуждающихся его и ваш враг, наш общий враг, черносотенец, белый, монархист, он воспламенится, любовь и ненависть, доброе и злое чувство вступят в кооперацию, и результаты будут более значительные. Ищущие денег находятся, таким образом, по отношению к реакционеру, контрреволюционеру, погромщику в том положении, когда принято говорить: если бы его не было, его нужно было бы выдумать. Но выдумывать нашим общественным деятелям не приходится. За редкими исключениями, они и сами живут представлениями, весьма немногим отличающимися от представлений наших собратьев в Америке. Они достаточно просвещенны, чтобы знать, что революция за евреев, контрреволюция против евреев, что красные погромов не устраивают, а белые — жестокие погромщики; они в то же время не настолько пытливы и не настолько встревожены совершающимся вокруг нас, чтобы почувствовать потребность этот скудный запас своих знаний пополнить или, по крайней мере, проверить. «Поп» и «приход», таким образом, вполне друг для друга подходят. Если бы в еврейских кварталах Нью-Йорка и могло возникнуть сомнение, так ли тесно связано существование русского еврейства с властью большевиков над Россией, то сведения, которыми в изобилии снабжают их комитеты помощи, легко такое сомнение устранили бы; наоборот, если бы в ком-либо из заседающих в комитетах пробудилось чувство ответственности и он захотел бы отдать себе отчет в том, что он делает и так ли он делает, то он скоро почувствовал бы неудобство этого в виде сопротивления американской среды, с которой он связан, и тревога в нем улеглась бы*.

Это печальное согласие между нашими комитетами и заокеанским еврейством дополняется третьим элементом — тем именно, которому присвоено было то же наименование в русском земстве. Как земские учреждения, как представительные учреждения российской промышленности и торговли облеплены были, точно шелудивыми струпьями, наемными работниками самого радикального пошиба, расторопными в своем прямом деле, но раньше всего и больше всего интересовавшимися вверенным им делом, как материалом для политической пропаганды, так это случилось и с еврейскими учреждениями. Здесь третий элемент почти сплошь — национал-социалисты. Но не баварского покроя. Там национал-социалист значит: хотя я социалист, но раньше всего я немец, а потому я буду бороться против всего, что подтачивает и расточает силы нации. Наш национал-социалист хочет еврейский народ преобразить в политическую нацию, а социалист он — на общем основании. Он хочет, таким образом, переделать мир в двух направлениях сразу, и в горизонтальном и в вертикальном направлении. Люди это самые легковесные, самые ненужные, как ни на есть никчемные. И вес их, как таковых, в еврейской общественности ничтожен. Но в комитетах влияние их весьма значительно, а через комитеты влияют они и на еврейское общественное мнение. В каком направлении влияют, догадаться нетрудно. Так как они находятся около дела помощи, а помогать приходится, конечно, только обездоленным, зло же в мире всегда причиняет некто злой: бюрократия, реакция, буржуазия, империалист, антисемит, то каждая новая жертва говорит им о несовершенствах мира сего, и их профессиональная деятельность смыкается с их миропреобразовательными потугами.

* По последним известиям, в Америке намечается поворот: там начинают разбираться в том, кто такие большевики и что значит их власть для евреев. Это лучше всего заметно на резко изменившемся отношении еврейской печати к большевикам.

Что для них большевики лучше «реакции», это само собой понятно. Орудием же в борьбе против реакции служат «погромы», т. е. те ужасающие истребления и ограбления евреев, которые в течение первых четырех лет смуты длились на всем юге России и теперь еще не вполне прекратились. Преимущественно руками наших национал-социалистов собирается, при благосклонном содействии большевиков, разумеется (ибо в царстве социалистической свободы без власти вообще ничего не делается), материал об этих бедствиях, через них попадает он в еврейские газеты, ими обрабатывается он и пускается в широкий оборот в публичных выступлениях, в брошюрах и многотомных изданиях. Я встречал в Москве расторопных молодых людей этой разновидности, умудрявшихся делать сразу три дела. Как товарищи-социалисты, они перевозили через польскую границу большевицкую литературу. Находясь в таком качестве в положении привилегированном, они брали, во-вторых, за хорошие деньги подряды по тайному переводу евреев-буржуев через границу; в-третьих, они перевозили материалы о погромах и при случае выступали в Европе с докладами на эту тему. На мое неодобрение такого совместительства я услышал ответ, в котором было и изумление, и возмущение: это — антисемитизм!

Сказанным отнюдь не желаю опорочить достоверность самого материала о «погромах»; это вопрос особый, который должен в каждом отдельном случае отдельно и решаться. Но применение, которое дается этому материалу, и свет, которым он освещается, это вполне зависит, очевидно, от понимания и вкусов распоряжающихся им. Для того же, чтобы дать представление об этих вкусах, достаточно привести здесь одну только фразу из книжки, напечатанной в Берлине в 1922 году и озаглавленной «Погромы на Украине», с подзаголовком: период Добровольческой армии. Автор разоблачает командование белой армии, что у него не было искренности в борьбе против еврейских погромов. «Для того же, чтобы у высшего командования могла быть такая искренность, необходимо было, чтобы оно, по крайней мере, смотрело на евреев как на равноправных граждан, как на органическую часть всего населения, которое так же, как это последнее, вправе иметь в своей среде и большевиков (если большевизм составляет «преступление» на взгляд Добровольческой армии), нисколько не отвечая за них по средневековому способу круговой поруки». О претензиях, заключающихся в этой достопримечательной фразе, речь еще будет. Здесь она нас интересует постольку, поскольку в ней отразилась личность писавшего. Сразу не поймешь даже, что собственно командование могло бы еще сделать по отношению к евреям, если признать нас равными с остальным населением оно должно было «по крайней мере». Не обязано же оно было признавать нас высшими существами. Это «по крайней мере» становится понятным, когда обращаешь внимание на заключенную в скобки оговорку: если большевизм составляет «преступление» на взгляд Добровольческой ермии. Для самого автора, хотя он отнюдь не большевик, а только еврейский национал-социалист, и безобиднейший, может быть, среди них, большевизм настолько не преступление, что он само это слово бережно заключает в кавычки, чтобы неосторожным выражением как-нибудь, ненароком, не задеть незапятненной и маркой чести большевиков. Будь командование на надлежащей высоте, оно бы относилось к большевизму с той же широкой терпимостью, что он, автор книжки, г. Штиф. Но если высшее командование до такой высоты подняться неспособно было, то оно, по крайней мере, должно было признать за нами право иметь своих большевиков и т. д.

Вот такими глазами рассматривается материал о «погромах», такими руками он собирается и разрабатывается. Неудивительно, что большевики с такой охотой содействуют и собиранию этого материала и экспорту его; неудивительно, что они только что упомянутую книжку закупили сейчас же по ее появлении в количестве двадцати тысяч экземпляров для широкого распространения. Усилия их окупаются в полной мере и даже выше всякой меры. Раньше всего в среде самого еврейства, представляющего собой достаточно подготовленную почву для восприятия таких семян.

Для еврея белая армия — банда разбойников, слово белый равно слову жидорез. Это не доказывается даже, об этом не спорят, это говорится походя. В еженедельнике, выходящем на русском языке, сообщается, например, из Праги, что «там имеются такие еврейские элементы, которые не могут быть приняты в счет. Это отбросы еврейской общественности, сроднившиеся с Врангелем и проделавшие с его армией весь длинный путь до Праги». Ген. Врангель немало, вероятно, удивился бы, узнав, что у него имеется еврейская родня; но еврейский корреспондент еврейского издания отказывается без малейшего раздумья от своей действительной родни, заподозрив ее в симпатии к Врангелю. Мое выступление на собрании, устроенном в пятую годовщину основания белой армии, было поэтому вполне последовательно воспринято еврейским обществом как дерзкий вызов. И я спрашиваю себя: что же случилось? Я ли оторвался от еврейства, или еврейство, заблудившись в чаще словесности, само себя потеряло? Нет, оставим условности. Я такого вопроса не ставлю и не могу ставить. Ибо я знаю, с достоверностью непосредственно данного знаю, что недостойное отношение евреев к людям, поднявшим на свои знамена безмерно тяжкое бремя борьбы за Россию, за миллионы безответных и безвольных, свидетельствует о глубоком моральном распа-

де, об извращении сознания, для болеющего этим недугом еще более опасном, чем для окружающих. Пусть убийства, грабежи и несилия, наполнившие еврейские города и местечки юга России стоном и воплем, нужно представлять себе именно так, именно в той связи и последовательности событий, как рисуют это наши погромные летописцы. Но было ведь не только это. Белая армия не только избивала евреев. Она, малочисленная, неустроенная и безоружная, вела еще, кроме того, сказочно-героическую борьбу против огромного, чудовищно-наглого и лютого врага, борьбу Давида с Голиафом. Против врага, не только превзошедшего жестокостью своей все, что до сих пор известно было о звере в человеке, но по примитивности своей идеологии, примитивностью всего своего существа обезличивавшего 150 миллионов людей в такой мере, как этого никогда еще не сделал ни один рабовладелец со своими рабами-колодниками. Из бесчисленных преступлений, содеянных поработителями России, это преступление самое тяжкое. И разрушение государства, и разорение народного хозяйства, и попрание всякого права — все это только части и частности одного Каинова дела: угашение духа человеческого; без этого все остальное было бы и невозможно, и не столь страшно. Обезличение же человека не было случайным явлением, сопутствующим социалистической власти, а прямым ее заданием; именно для того, чтобы получить возможность распоряжаться и всем трудом человека и всеми его помыслами, советская власть убивала в точном смысле слова без счета, морила голодом, разрушала последние основы человеческой культуры. И среди многих миллионов, изводимых, изнуряемых и ограбленных до последнего, до образа человеческого вкпючительно, были и находятся миллионы и наших братьев, миллионы евреев. Пусть каждый Гран обременяет себя пудами лжи, пусть этой лжи накопились горы, не скроют они от взоров человечества ни горы трупов, наших трупов, наших жертв большевицкого владычества, ни страшного опустошения, материального и морального, произведенного этой властью и в нашей, еврейской среде. И тогда, как все мы, и евреи, и неевреи, покорно подставляли выю под ярмо и спину под палку, отдельные русские люди, мужественные и гордые, просочившись сквозь все заставы, собравшнсь с обрывком фронта, разорванного в клочья, сплотились и подняпи знамя борьбы. Они имели удачи и неудачи, были близки к торжеству и сорвались в пропасть. Но уже то, что они посмели в этих условиях бороться, поднимает этих людей и их дело на ту высоту, на которой история записывает только подвиги нетленные. И эти люди стали предметом поношения, их клеймит каждый праздноболтающий язык, и степенью проявленного в этом деле усердия измеряется любовь еврея к родному народу!

(...) Ни в чем, может быть, не сказывается с такой наглядностью это легкомыслие, как в той ходячей фразе, которая должна его прикрыть: красные угнетапи нас как людей, белые — как евреев. Не бывает двух человеческих достоинств, как нет у человека двух жизней. Человеческое достоинство неделимо, как неделима личность человека. И только тот, кто заранее склонен однобоко воспринимать вещи, мирится с бедствиями, причиняемыми революцией — ибо это революция, — и щетинится против тягостей, проистекающнх из борьбы против нее, только тот может кормить себя и своих такой жидкой словесностью и воображать себя при этом сытым. (...)

Мы присмотрелись к самым разнообразным проявлениям еврейской общественности, и, если не считать некоторых крайних и совершенно невлиятельных групп, мы нигде не заметили принципиальной вражды к России, желания ее гибели или распада. Тем не менее могли мы открыть комплоты, заговоры против нее. Русское еврейство просто живет — поскольку живет — своей жизнью: хлопочет о Сионе, об евтономии, боится лишиться равноправия, боится подвергнуться насилиям. И эта ежедневная жизнь наша, наш быт, оказывается на деле вредным для России и большой подмогой для злейших ее врагов и врагов всего человечества. Как далеко это от того, что говорят про нас глупые и бездарные враги наши. Как далеко и насколько хуже!

Для нас хуже. Нас изображают расой господ, народом, силящимся захватить господство над миром и уже наполовину успевшим в этом. На деле же мы только скользим блудной мыслью по поверхности мира, господствовать и над собой не умеем, и если опасны кому теперь, то только потому, что плывем по течению, разрушающему устои европейского общества, вепикими потрясениями последних лет уже глубоко расшатанного.

Ограничиться сказанным выше о погромах было бы непозволительно. Там речь велась предположительно: допустим, что дело происходило так. Но важно знать, что было в действительности(...).

Были ли на юге России еврейские погромы? Если истребление людей и людского добра, убийства, грабежи, насилия и всякого рода разрушения составляют погром, то нет счета еврейским погромам в годы смуты, ибо лилась в эти годы еврейская кровь без меры, дотла разорены и пущены были по миру сотни тысяч еврейских семей. Но в этом общем смысле погромлена вся Россия, погромлено также пол-Европы. Слова же «еврейский погром» давно обрели значение технического термина, и означали они не вообще истребление людей и имущества, а истребление всего этого среди необычных для такого дела условий, т. е. в условиях полного покоя, государственного порядка и всеобщей, за исключением громимых, безопасности(...).

Измена государства самому себе и предание им своих граждан — вот то особо возмущающее, ни с чем не сравнимое, что было в еврейском погроме. И так как власть, допускавшая такое извращение начал государственности, делала это, по всеобщему мнению, в целях самообороны, в целях борьбы с угрожавшей ей революцией, то весь одиум еврейских погромов падал на «реакцию», на «самодержавие», на «бюрократию». Эту схему переносят наши агитаторы целиком в другое время и в совершенно другую обстановку, повторяя на каждом шагу: «реакция», «контрреволюция», «белые» устраивали погромы. Но этим утверждением грубо извращается вся историческая перспектива, обволакивается словесным туманом то ужасное, что действительно было, и затрудняется тем самым возможность видеть, что будет с нами завтра. Слишком дорогая цена за облегчение поденщикам революции возможности заниматься своим ремеслом!

Раньше всего не было в те годы государства, которое могло бы изменить себе и предать своих граждан, не было признанной власти, которая могла бы заставить подвластных слушать себя. Был хаос, была смута в точном значении этого слова, было полное безначалие. И именно потому, что это было так, не могло быть и другого существенного признака «еврейского погрома» — всеобщей безопасности, среди которой насилия над евреями составляли бы вопиющее исключение. Убивал и грабил всякий, кто мог и хотел и кого хотел, ибо безоружный был в то же время и беззащитный. Истреблялись человек и плоды его труда под всякими видами и предлогами(...).

При этих условиях, когда на смерть обрекались целые человеческие группы, было бы подлинным чудом, если бы не добрались до группы «евреев» — группы, которая всегда и везде на виду, всюду выделяется, с которой и по поводу которой идет тяжба уже тысячелетия. И добрелись, и истребляпи так же бессмысленно, так же жестоко, кек истребляли землевладельцев, царских слуг, капиталистов, так бессмысленно и так жестоко, как это способна делать только разнузданная чернь, все равно именует ли она себя властью или бунтует против власти. Если тут был погром, то всеобщий; одних истребляли под одним видом, других под другим. И когда в ответ мне говорят, вернее, истерически кричат: нет, неверно, евреев истребпяли особо, белые, захватив город, искали не коммунистов, а евреев, то я не знаю, детская ли это наивность или заскорузлая тупость чернорабочих политики, не способных ни видеть, ни слышать ничего другого, кроме того, что им нужно для их несложного депа. Как будто в самом деле нас интересует, пюбили ли белые (и не белые) евреев или не любили. Убивают не из любви, это — ясно. Проклятьем времени было то, что каждый мог давать волю своей ненависти, что можно было объявить вредным класс, сословие, племя и, признавая их таковыми, истреблять безвозбранно. Или обречь на истребление целый класс общественный, выгнать из города поголовно всех «буржуев» в чем стоят, как это было, например, в Екатеринодаре, предоставить их во впасть холода и голода и после многих недель вернуть уцелевших в их жилища, где оставлены были им буквально только голые стены, это — революция, а убивать и гребить евреев — это погром? Почему такая честь Марксу и его последователям, почему все грабители и разбойники должны быть непременно под священным стягом экономического материализма? Почему не мог петлюровский вольный казак или деникинский доброволец быть последователем учения, по которому вся история сводится к борьбе не классов, а рас, и, исправляя грехи истории, уничтожать расу, признанную им источником всех зол? Грабить, убивать, насиловать, бесчинствовать одинаково удобно и под тем и под этим флагом.

Словом, никакая предвзятость не может ничего изменить в том историческом факте, что погром евреев на юге России входит составной частью в общероссийский погром, который в свою очередь составляет даже не следствие смуты, революции, контрреволюции, а основное содержание ее.(...)

Свобода была понята как освобождение от ограничений, налагаемых на людей самым фактом их совместной жизни и взаимозависимости между ними. Поэтому уничтожались раньше всего те, в ком воплощена была в каждом данном месте идея государства, общества, строя, порядка В городах — полицейские, администраторы, судьи; на фабриках — владелец или управитель, само присутствие которых напоминало о том, что нужно работать, чтобы получать плату, тогда как при свободе полагается беспрепятственно митинговать и без границ плату повышать; в деревнях — соседняя, ближайшая усадьба, симвоп барства, т. е. власти и богатства одновременно, усадьба, которой подвластна была и лакомая земля и заманчивый племенной скот и которой именно поэтому при свободе невместно было больше существовать. Но всего яснее это на фронте, где сосредоточена была в то время вся тяга русской земли. Фронт жил одной мыслью, одним стремлением: перестать существовать, разбрестись. Поэтому избивапи солдаты офицеров, сам вид, само звание которых напоминало о подчинении; пробивались черепа станционных начальников, ломались в щепы вагоны, совершались насилия над пассажирами: со всем этим распустившаяся солдатчина, которую тянуло домой, точно рыбу к месту метания, встречалась на своем пути. Еврей мог тут только случайно подвернуться под руку. А по мере того, как двигающаяся масса удалялась от фронта, она рассеивалась, каждый направлялся восвояси, и действие скопом становилось тем самым невозможно. Разбредаясь, солдаты уносили в свои деревни светлые идеалы свободы, равенства и братства людей и народов, обретенные на революционных солдатских собраниях, но также винтовки, которыми через немного недель, когда свобода была уже завоевана и упрочена, они расстреливали женщин и детей, и ручные гранаты, которыми взрывались погреба, где в дни смертельного страха укрывались в обреченных местечках евреи.

За временем безначалия пришла власть, которой не было еще равной по притязательности. Она присвоила себе все народное богатство, все плоды и все орудия труда и этим поставила в полную зависимость от себя и человека: и делать и не делать человек должен только по приказу. Национализировав все промыспы — до зубоврачевания, эта власть не могла, разу-

меется, оставить разбойный промысел в частных руках. Разбой, бывший основой ее могущества, должен был стать важнейшей монополией власти, священной регалией; богатство, хотя бы и награбленное, дает силу, а сила могла быть только в руках захватчиков власти. Большевикам не удалось осуществить этот идеал полностью. Ежедневно, ежечасно разворовывается народное добро, но это делается в потемках, тайком; идет в стране и прямой грабеж, но грабят от имени власти по легальным титулам, хотя награбленное и не попадает в общий котел, а прилипает к рукам грабителей. Гребежа скопом и, следовательно, открытого эта власть не могла допускать больше всякой другой; для нее это было вопросом жизни и смерти, немедленной смерти. И всего меньше может она допускать нападения скопом на евреев; она хорошо ведь знает, что от разгрома евреев один только шаг до разгроме власти, глубоко ненавидимой и считаемой еврейской. Еврейский погром объявлеи поэтому делом контрреволюционным, т. е. направленным против советской власти. И до сих пор большевикам в общем, хотя погромные вспышки очень часты, удавалось справляться со злом, грозящим почти в текой же мере им, как евреям.(...)

Кроме большевиков, о которых была уже речь, боролись тогда на юге России две политические силы: добровольческая армия, шедшая под знаменем единой неделимой России, и украинцы, или петлюровцы, боровшиеся зе самостийность Украины. (...)Власть украинская, которая по части револпюционности могла удовлетворить самым высоким требованиям, в особенности же требованиям наших национал-социалистов. Власть эта была самозваная, как всякея революционная власть, прошлого у нее не было, России она хотела не единой, а раздробленной, Украйну свою провозгласила республикой, землю отдавала крестьянам. Правящие круги были тут почти сплошь социалистические и, разумеется, национелистические,— совсем товарищи нашим «товарищам»; тут были социалисты-федералисты, украинские эсеры, украинские эсдэки; сем Петлюра, глава движения, давший ему имя,—эсдэк и, разумеется, семостийник. В частности, по отношению к так называемым меньшинствам, в том числе к евреям, украинская власть проявила самое широкое революционное творчество. И сейчас помню длиннейшую и до краев наполненную восторгом телеграмму из Киева к Петроградскому еврейскому обществу, подписанную не то Зильберфарбом, не то другом Эздрой и извещавшую, что вавилонское пленение кончилось, ибо в благословенной Украине еврейская автономия решена. Она действительно была решена и осуществлена даже. Был издан закон о национально-персональной автономии, существовал еврейский национальный совет, еврейский генеральный секретариат с соответствующими департаментами, были признанные властью еврейские общины с избранным на широчайших демократических началах представительством, и сверх всего этого евреи принимали еще очень активное участие в общеукраинской политике. И рядом со всем этим революционным благополучием шли без перерыза еврейские погромы, начавшиеся почти одновременно с организацией украинской власти, ставшие особенно жестокими в период так называемой директории и не прекращавшиеся до тех пор, пока существовала вооруженная украинская сила. В истреблении евреев и еврейского добра соревновались сечевики, вольные казаки и всякого другого наименования украинские полки с местным крестьянством и городским людом. «Петлюровцы» были для евреев правобережной Украины такой же угрозой, таким же страшилищем, как в других местах казаки и черкесы белой армии.(...)

...Как могут, в особенности люди, сидевшие вместе с Петлюрой и с другими героями Украинской революции за одним столом и вместе с ними перестраивавшие мир, забыть о погромных подвигах своих идейных собратьев и весь пыл своего горячего еврейского сердца направлять против белых, против контрреволюции? Между тем они-то больше всего усердствуют. О еврейской крови, пролитой потомками и последователями Хмельницкого, Гонты и Железняка, охотнее всего забывают; где не вспомнить невозможно, там торопятся пройти поскорее дельше, и даже в свободных работах, где этого шила никак уже не утаить, связывают погромы с украинством, т. е. с расой (какая контрреволюционная ересь!), с «повстанческой стихией», с чем угодно, но только не с революцией, не с революционной идеологией, не с революционной властью...

А в этой мысли для всякого, не продавшего души словесному бесу, вся суть: погромы — продолжение безвластья.(...)

...Дело не так обстоит, что была смута, гибли евреи и неевреи, а евреев истребляли и левые и правые. Этим еще не все сказано. Нужно еще прибавить, что еврек были не только объектом воздействия во время этой тяжкой смуты. Они также действовали, даже чрезмерно действовали. Еврей вооружал и беспримерной жестокостью удерживал вместе красные полки, огнем и мечом защищающие «завоевания революции»; по приказу этого же еврея тысячи русских людей, старики, женщины, бросались в тюрьмы, чтобы залогом их жизни заставить русских офицеров стрелять в своих братьев и отдавать честь и жизнь свою за злейших своих врагов. Одним росчерком пера другой еврей истребил целый род, предав казни всех находившихся на месте, в Петрограде, представителей дома Романовых, отнюдь не различая правых и виноватых, не различая даже причастных к политике и к ней не причастных. Пробираясь тайком с опасностью для жизни по железной дороге на юг, к белой армии, русский офицер мог видеть, как на станциях северо-западных губерний по команде евреев-большевиков вытаскивались из вагонов чаще всего русские люди: евреи оставлялись, потому что сумели приспособиться к диким правилам большевиков о передвижении; русский офицер не мог этого не видеть, потому что это бросалось в глаза и евреям, которые мне об этом с горечью и с ужасом рассказывали.

О подвигах евреев-большевиков можно было бы еще долго рассказывать. Что мы, все прочие, в это время делали? Только что вышла книга, задача которой изобличить наших врагов; на деле она есть жестокое обличение евреев. Сколько тут суеты, сколько крикливости, сколько стремления всюду быть и все переделать! Евреи не только устраивали автономию национальных меньшинств, творя новое право, «какого не знает ни одна страна в Европе», но и украинскую автономию очень деятельно созидали. Так как история делалась тогда скоро, писалась на пишущих машинах, то от автономии быстро докатились до суверенности Украины, и еврейские партии, за исключением Бунда, щедро согласились (хотя и с тревогой) и на суверенность Украинского Учредительного собрания, т. е. фактически на признание самостийности Украины. Но, отмечает бытописатель, представителями и русских партий, высказавшихся против этого, выступили т о ж е е в р е и. Затем возник вопрос о заключении Украйной сепаратного мира; тут уже и еврейские и общерусские партии высказались против, но опять-таки «представителями от этих общерусских партий выступили евреи». И с украинцами и против украинцев, и за Россию и против России—евреи. Я-то знаю, сколько стот и Щац-Анин, и все «Объединенные», и Бунд, сколько их вместе наберется и какой их вес в еврействе. Но, во-первых, тут кроме них и вместе с ними действовели численно очень значительные и по общественному весу очень влиятельные группы, как сионисты; во-вторых, такова всякая революционная общественность: говорит от имени всех меньшинство, ничтожная часть, выдающая себя за целое и другими за таковое принимаемое; в данном случае отождествлять это меньшинство со всем еврейством было тем более позволительно, что догму о спасительности революции для евреев еврейское общество яро отстаивало тогда, не менее горячо стоит за нее и теперь.

Но имеем же мы право иметь свои партии, своих автономистов, своих федералистов; е если мы так добродетельны, что, кроме евреев, бывших за отделение юге России, были и другие, желавшие сохранить видимую призрачную связь между Югом и Севером, то уж совсем благополучно,— чего от нас еще хотят, чего могут от нас хотеть еще? Имеем, имеем все прева, все и еще немного. Но до чего это тошнотворно слышать, до чего нелепо и непристойно твердить все о своих правах и требовать уважения к ним там и тогда, где и когда ты же изо всех снл раздуваешь огонь, пожирающий без остатка все права, даже самые бесспорные, и под пеплом своим хоронящий и правых и виноватых. Помещик имел несомненное право владеть своей землей, им приобретенной на законном основании или унаследованной от предков; офицер русской армии не только право имел быть офицером, но и обязан был. Пришла революция и не только объявила помещичью землю «народной», а власть офицера передала солдатским комитетам, но также приговорила к смерти прежних владельцев этих прав, помещика и офицера. Фактически это было так. Я помню обращение к солдатам, выпущенное Совдепом первого созыва, в котором и евреи играли немаловажную роль, и имевшее целью успокоить возбуждение против командного состава. Солдаты должны были быть ангелами небесными или, по крайней мере, сплошь мудрецами, Сократами, чтобы после этого вразумления не охотиться за офицерами: так оно успокаивало. Но если бы этого и подобных воззваний, которым счету нет, и не было вовсе, но осталась бы та же жестокая действительность,—разве революция и революционеры были бы тогда более приемлемыми для тех, кто от них страдает? Это только человек с извращенными мозгами, воспитанный на прокламациях, ничего, кроме прокламаций и программ, в мире не видит. Нормальный человек думает и чувствует иначе. Он видит, что поднявшаяся смута слепо, без разбора уничтожает все, что ему дорого от Державы Российской до его родного гнезда, от царской семьи до самых близких ему по крови людей: отца, сына, родного брата. Среди действительных добровольцев белой армии вряд ли было много таких, у которых революция не отняла самого ценного, самого дорогого. Он видит дальше, что в этой смуте евреи принимают деятельнейшее участие в качестве большевиков, в качестве меньшевиков, в качестве автономистов, во всех качествах, а все еврейство в целом, поскольку оно революции не делает, на нее уповает и настолько себя с ней отождествляет, что еврея—противника революции всегда готово объявить врагом народа. И этот нормальный и жестоко от революции страдающий человек делает свои выводы. Он также отождествляет нас с революцией, но по-своему и для своих целей; признав евреев воплощением революции, он и сам по-революционному поступает, то есть бьет без разбору. Та же смута позволяет ведь каждому давать волю рукам. Мы же, присваивая себе право участвовать в революции во всех ее видах и в высочайшей степени, требуем, чтобы окружающие в обращении с нами соблюдали все писаные и неписаные законы спокойного нереволюционного времени и с судейским беспристрастием отличали виновного еврея от невиновного,— иначе мы кричим: погром! Это применение двух мер, эта несоответствующая ни обстановке, ни нашему собственному поведению требовательность создает нам больше врагов, чем само участие в революции, ибо есть в этом что-то противоестественное, вызов природе вещей.

Кто сеет ветер, пожинает бурю. Это сказал не французский остроумец, не буддийский мудрец, а еврейский пророк, самый душевный, самый скорбный, самый незлобивый из наших пророков. Но и это пророчество, как многие другие, нами забыто; вместе с многими великими ценностями мы и эту потеряли. Мы сеем бури и ураганы и хотим, чтобы нас ласкали нежные зефиры. Ничего, кроме бедствий, такая слепая, попросту глупая притязательность принести не может.

Поднимется, я знаю, вопль: оправдывает погромы!(...) Я знаю цену этим людям, мнящим себя солью земли, вершителями судеб и во всяком случае светочами во

Израиле, светоносцами. Я знаю, что они, с уст которых не сходят слова: черная сотня и черносотенцы, сами черные, темные люди.(...) Мимо них — к выводам.

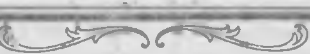
Первый касается нашего поведения, нашего способа держать себя в обществе народов. Уже тот факт, что наши жертвы составляют только часть жертв, поглощенных губительной смутой, требует от нас с повелительной необходимостью, чтобы мы меньше выпячивали свою боль, меньше кричали о своих потерях. Пора нам понять, что плач и рыдания не всегда свидетельствуют о глубокой потрясенности рыдающего, чаще — о душевной распущенности, о недостатке культуры души. Та самая баба, которая, отдав в город ребенка в больницу, спрашивает врача, когда прийти за распиской, т. е. за свидетельством о смерти, в другой обстановке, в деревне, где это принято, рвет на себе волосы над трупиком своего ребенка и оглашает окрестности воплями. Культурные же люди провожают своих дорогих к последнему месту упокоения со стиснутыми зубами и тихими, часто незримыми слезами. Культура, углубляя и утончая переживания человека, делает такую сдержанность возможной. Она же требует сдержанности, и смысл этого требования таков: ты не один в мире, и печаль твоя не может заполнить вселенной. Когда же, как в нашем случае, горя край непочатый и, по слову поэта, «скорбью народной переполнилась наша земля», то выставление напоказ своего горя, своей только боли свидетельствует не только о недостатке душевной дисциплины, но также о неуважении к чужому горю, к чужим страданиям, к тому же — к таким страданиям, которые не должны бы быть чужими. Три тысячи лет уже живет еврейский народ сознательной жизнью на земле, и где у нас хоть следы, хотя бы только слабые признаки аристократизма, присущего обыкновенно древним родам? Мы — демократы, и все наше поведение согласуется с кодексом, составленным Ликургами из Психоневрологического института за Невской заставой; этого рода демократизм — начало и конец нашей мудрости. Но история прощает несоответственное поведение еще меньше светского общества: здесь «не принято», там не приемлется.

Но нас били вдвойне, мы страдаем, как россияне и как евреи, нас истребляла и революция и контрреволюция, и большевики и белые. И это я слыхал уже не раз, и должен по совести сказать, что у меня нет ни уверенности, ни даже веры в то, что евреи пострадали от смуты больше коренного русского населения. Стольким путями смерть, смутой разнузданная, пробиралась именно к русским людям, как к власть имущим, воинам, землевладельцам, столько других путей вели и ведут смерть в безразличную, однородную деревенскую Русь — достаточно вспомнить красную армию, это совершеннейшее орудие самоистребления, пополняющуюся почти исключительно деревенским людом, или бесчисленные набеги большевиков на деревню за хлебом,— что считать тут, в этой области черной печали, наше первенство само собой понятным отнюдь невозможно. Для сравнения же нет данных. Ибо если мы свои потери можем еще определять гадательными числами, то русские и этого делать не могут. Кто считал русские слезы, кто русскую кровь собирал и мерил. Да и как считать и мерить в этом безбрежном и бездонном море! Что мы могли это делать, этим мы обязаны тому, что мы выделяемся из общего фона, что нас мало, что каждый из нас на виду и на счету. Это «право меньшинств», не предусмотренное версальским синклитом, но обеспеченное природой вещей.

Но пусть даже так, пусть наши бедствия более велики, наши страдания более тяжки. Почему это возражение против меня и почему о сугубых и трегубых страданиях наших говорят в позе победителей наши национал-социалисты и иные патентованные патриоты еврейские, чтущие смуту больше отца и матери и пуще всего охраняющие ее престиж? Если для нас смута оказалась более гибельной, чем для всех других, то отсюда следует только, что евреям нечего было принимать такое деятельное участие в ней, и не приходится теперь заботиться о возможном ее продлении, что нам, наоборот, по отношению ко всяким потрясениям нужно проявлять особую осторожность, семь раз отмерить и один раз отрезать, ибо они нам дороже всего обходятся. Тут же люди умудряются и за революцию распинаться и вопить на весь мир: революция нас уничтожает! Одно из двух. Либо для евреев так важно мир перестроить, водворить в нем равенство, самоопределение и всякие другие блага, что мы, не считаясь с жертвами, должны дело вести и до конца довести,— тогда гордитесь нашими жертвами, как павшими за великое дело, чтите их память, а не нарушайте их покой воплями о погромах, тогда это жертвы нашего героизма, а не чужого зверства. Либо мы себе такой роскоши позволить не можем и обременить свою совесть пролитой еврейской кровью вам страшно — тогда принесите повинную за прошлое и воздержитесь от греха революционного словоблудия в будущем...



КРИТИКА

Отечественный архив

Ив. БУНИН И ЕГО «ВОСПОМИНАНИЯ»

В 1950 году в парижском издательстве «Возрождение» вышла последняя прижизненная книга И. А. Бунина «Воспоминания». Отдельные страницы из нее были известны раньше — Иван Алексеевич знакомил с ними публику на своих литературных вечерах, у себя дома «на четвергах», печатал в нью-йоркской газете «Новое русское слово».

И все же выход в свет «Воспоминаний» вызвал у многих шоковую реакцию. Как в свое время «Исповедь» и «В чем моя вера» Л. Н. Толстого, так и книга Бунина потрясли устоявшиеся, казавшиеся незыблемыми мнения и авторитеты. Г. В. Адамович в своей книге «Одиночество и свобода» (Нью-Йорк, изд-во им. Чехова, 1955) писал: «Над «ароматными осиянностями» или «бледнопепельными жемчужностями» Бальмонта, над развеселившимся морем Горького хохотал и Бунин (как и Л. Н. Толстой. — В. Л.). По-видимому, единственный из своих сверстников и современников был он наделен острейшим, непогрешимым чувством фальши, чувством, заставлявшим его болезненно морщиться даже от монологов некоторых чеховских героинь. Всякая взвинченность, всякое чрезмерное нажимание педали было для него,— и осталось до последних его дней,— мучительно. В те годы он читал Толстого и недоумевал: если еще жив человек, пишущий с такой глубокой, правдивой и окончательной полнотой, к чему эти искания, эти метания, нередко удовлетворяющиеся словесной мишурой? Можно было бы сказать и иначе: если есть стихи Пушкина, к чему стихи Бальмонта, и как может человек, обладающий чутьем и слухом, Бальмонта после Пушкина читать?

Вспоминая на склоне лет свои давние отвращения и отталкивания, Бунин торжествовал. В конце концов победителем оказался он, и поколения, пришедшие за ним, согласились без малейших оговорок, что Пушкин лучше Бальмонта и нисколько в сравнении с ним не увял, а Толстой лучше псевдоноваторов, вроде Пшибышевского и других. Спорить тут не о чем, для всякого, не сошедшего с ума человека это дважды два четыре» (стр. 111—112).

Адамович, вероятнее всего, не знал, что Бунин, никогда не страдавший самоуверенностью и самовлюбленностью, еще и еще проверял справедливость собственных убеждений. «Неужели так жестоко заблуждаются тысячи и тысячи восторженных поклонников «великого пролетарского художника»? — так, возможно, размышлял Иван Алексеевич.— А вдруг я сам что-то неправильно понял, не разглядел?» И он время от времени вновь возвращался к книгам Горького.

Хмурым, серым и скучным днем 20 января 1942 года, когда пухлые облака низко нависали над Грасом, где в годы второй мировой войны Бунин жил в наемном доме, закутавшись в одеяла, страдая от холода и голода, натянув меховые перчатки, он пробовал перечитывать Горького.

В тот же день в дневнике появилась запись: «Вареньку Олесову» (...) читал лет 40 тому назад с отвращением. Теперь осилил только страниц 30 — нестерпимо — так пошло и бездарно, несмотря на все притворство автора быть «художником». «Косые лучи солнца пробирались сквозь листву кустов сирени и акаций, пышно разросшихся у перил террасы, дрожали в воздухе тонкими золотыми лентами... Воздух был полон запаха липы, сирени и влажной земли...» (И липы и сирени цветут вместе.)

Немногим раньше, 4 сентября 1940 года, он также перечитывал Алексея Максимовича — «Мальву» и «Озорника». И вновь дневниковая запись: «Вполне лубок. И хитрый, и преднамеренный».

Еще в тридцать шестом году, после смерти Горького, Бунин писал: «...Горький уничтожал мужика и воспевал «Челкашей», на которых марксисты, в своих революционных надеждах и планах, ставили такую крупную ставку».

Бунин ненавидел челкашей, отрицающих труд и лишенных всяческих нравственных устоев, как и различных теоретиков «всеобщего блага». По этим самым теориям кучка полуинтеллигентов, далеких от народа и полезного труда, стала с маниакальным упорством и жертвами кроить новое общество и готовить «светлое будущее всех трудящихся».

Мировоззрение Бунина в молодые годы было воспитано на христианских проповедях Л. Н. Толстого. (Не случайно, проживая еще в Полтаве, Иван Алексеевич торговал книгами издательства «Посредник» и удручал себя набиванием обручей на бочку — из идейных соображений, встречался и переписывался со Львом Николаевичем.) В трактате «Что такое искусство?» (1897—1898) Толстой писал: «Если теория оправ-

дывает то ложное положение, в котором находится известная часть общества, то, как бы ни была неосновательная теория и даже очевидно ложна, она воспринимается и становится верою этой части общества. Такова, например, знаменитая, ни на чем не основанная теория Мальтуса о стремлении населения земного шара к увеличению в геометрической, а средств пропитания в арифметической прогрессии, и вследствие этого о перенаселении земного шара; такова же выросшая на Мальтусе теория борьбы за существование и подбора, как основания прогресса человечества. Такова же теперь столь распространенная теория Маркса о неизбежности экономического прогресса, состоящего в поглощении всех частных производств капитализмом. Как ни безосновательны такого рода теории и как ни противны они всему тому, что известно человечеству и сознается им, как ни очевидно безнравственны они,— теории эти принимаются на веру без критики и проповедуются с страстным увлечением, иногда веками, до тех пор, пока не уничтожатся те условия, которые они оправдывают, или не сделается слишком очевидной нелепость проповедуемых теорий»[1].

Эти теории, словно круги по мутной воде, широко разбегались по российскому пространству, достигая порой самых глухих уголков и порождая тысячи и тысячи челкашей.

Персонаж бунинской «Деревни», болтающийся без дела полуграмотный мужик Дениска, безумно любящий колбасу и без стеснения бранящий царя и господ, собирается ехать в Тулу: «Може, место какая выйдет...»

Из карманов поддевки торчат свернутые в трубочки цветные обложки книжек. Как выясняется, это «Маруся», «Жена-развратница», «Наивная девушка в цепях насилия» и... «Роль пролетариата в России». Работать Дениска не хочет и по этой причине люто ненавидит «эксплутаторов», и еще заявляет, что «скоро заживет он за первый сорт».

«Деревня» принесла Бунину не только славу, но и поношения «прогрессивных сил» за проповедь «реакционных идей», за «черные, жестокие, неправдоподобные краски». Иван Алексеевич заявлял о трагическом распаде деревни, разрушении веками сложившегося уклада жизни. И разлагали деревню как раз эти самые «прогрессивные силы», убеждавшие в необходимости сломать отлаженный хозяйственный механизм, объявлявшие христианскую религию — основу народной морали — «пережитком тяжелого прошлого». Главное, что было в их учениях,— призыв к материальному благу и экономическому прогрессу, как будто новая изба и полный кошелек гарантируют человечеству насыщенную духовную жизнь и гармоническое развитие.

Бунин, вслед за Толстым, предупреждал: лишенные нравственных опор люди опустятся до скотства и самых страшных преступлений. «Прогрессивные силы» не хотели слушать. Позже Иван Алексеевич не раз изумится: чего тут было больше — глупости или злонамеренности?

Среди соблазнителей толпы были и люди от литературы. По мнению Бунина, это новые люди новой литературы, совершенно не схожие с прежними «властителями дум и чувств». Чуть ли не все они были от природы богато одарены, обладали чудовищной энергией. Но силы эти были порочны, лживы и спекулятивны. И смущали они толпу «с огромной силой актерства, с гомерической лживостью и беспримерной неутомимостью». Это играющие во всякую чертовщину символисты с Брюсовым во главе, Горький с его ужимками и актерством, Маяковский, который «выделялся среди всех тех мошенников, хулиганов, что назывались футуристами». Затем появился один «из самых знатных вельмож, богачей и скотоподобных холуев советской Москвы» Демьян Бедный, и в это время «всяческое кощунственное непотребство расцвело уже махровым цветом». «Среди наиболее мерзких богохульников был еще Бабель... В числе ненормальных вспоминается еще некий Хлебников».

И как следствие всего этого вселенского безумия — бессмысленное зверство: «в мире зоологическом никогда не бывает такого бессмысленного зверства,— зверства ради зверства,— какое бывает в мире человеческом и особенно во время революций; зверь, гад действует всегда разумно, с практической целью: жрет другого зверя, гада только в силу того, что должен питаться, или просто уничтожает его, когда он мешает ему в существовании, и только этим и довольствуется, а не сладострастничает в смертоубийстве, не упивается им «как таковым», не издевается, не измывается над своей жертвой, как делает это человек, — особенно тогда, когда он знает свою безнаказанность, когда порой (как, например, во время революций) это даже считается «священным гневом», геройством и награждается: властью, благами жизни, орденами вроде ордена какого-нибудь Ленина, ордена Красного Знамени; нет в мире зоологическом и такого скотского оплевания, оскорбления, разрушения прошлого, нет «светлого будущего», нет профессиональных устроителей всеобщего счастья на земле и не длится будто бы ради этого счастья сказочное смертоубийство без всякого перерыва целыми десятилетиями при помощи набранной и организованной с истинно дьявольским искусством миллионной армии профессиональных убийц, палачей из самых страшных выродков, психопатов, садистов, — как та армия, что стала набираться в России с первых дней царствия Ленина, Троцкого, Дзержинского, и прославилась уже многими меняющимися кличками: Чека, ГПУ, НКВД...»[2].

Бунин разверзает перед нами самые темные тайники человеческих душ, и этим он родствен Достоевскому. Читая его, словно погружаешься в мировой мрак, в черное, провальное естество. Но кроме этого хаоса и чертовщинства, преступлений ради пре-

[1] Л. Н. Толстой. ПСС. М., 1951, т. 30, с. 77—78.
[2] «Воспоминания». Париж, 1950, с. 33—34.

ступлений, Бунин показывает и величие Духа, от Бога озаренного, существующего в человеке и алкающего часа своего. Для Бунина образец «божественной прелести», вызывающий в нем восторженное удивление,— Толстой.

«Я чуть не с детства жил в восхищении им»,— радостно признается Бунин в своих «Воспоминаниях». И вот наконец произошла первая, давно и страстно желанная встреча: «Мы сидели возле маленького столика. Довольно высокая старинная фаянсовая лампа мягко горела под розовым абажуром. Лицо его было за лампой, в легкой тени, я видел только очень мягкую серую материю его блузы да его крупную руку, к которой мне хотелось припасть с восторженной, истинно сыновней нежностью...»[3].

Вот он, истинно русский характер, с его глубокой ненавистью к всякой нечисти, попирающей родину, и с самозабвенной любовью к тем, кто укрепляет ее славу и величие! И этот характер во всей кристальной чистоте воплотился в авторе «Воспоминаний», написанных страстным, проповедническим тоном человека, глубоко уверенного в своей правоте, защищающего от темных сил адовых, вещающих лукавые учения, спасающего самое дорогое — Россию. Да, Бунин в своих «Воспоминаниях» гневен, но это гнев праведный, ибо он обращен на тех, кто, назвавшись пастырем, завлекал народ на гибель. Он сродни гневу Того, кто бичом изгнал из храма менял.

Публикуем главы из «Воспоминаний», незнакомые советскому читателю[4].

Валентин ЛАВРОВ.

[3] Там же, с. 73.
[4] С разрешения нашей редакции в сокращенном виде эти «Воспоминания» печатались в газете «Московский комсомолец» (октябрь 1990 г.).

ИВАН БУНИН

ВОСПОМИНАНИЯ

Горький

Начало той странной дружбы, что соединяла нас с Горьким,—странной потому, что чуть не два десятилетия считались мы с ним большими друзьями, а в действительности ими не были, — начало это относится к 1899 году. А конец — к 1917. Тут случилось, что человек, с которым у меня за целых двадцать лет не было для вражды ни единого личного повода, вдруг оказался для меня врагом, долго вызывавшим во мне ужас, негодование. С течением времени чувства эти перегорели, он стал для меня как бы несуществующим. И вот нечто совершенно неожиданное:

— L'écrivain Maxime Gorki est décédé... Alexis Pechkoff connu en littérature sous le nom Gorki, était né en 1868 à Nijni-Novgorod d'une famille de cosaques...*

Еще одна легенда о нем. Босяк, теперь вот казак... Как это ни удивительно, до сих пор никто не имеет о многом в жизни Горького точного представления. Кто знает его биографию достоверно? И почему большевики, провозгласившие его величайшим гением, издающие его несметные писания миллионами экземпляров, до сих пор не дали его биографии? Сказочна вообще судьба этого человека. Вот уже сколько лет мировой славы, совершенно беспримерной по незаслуженности, основанной на безмерно счастливом для ее носителя стечении не только политических, но и весьма многих других обстоятельств, — например, полной неосведомленности публики в его биографии. Конечно, талант, но вот до сих пор не нашлось никого, кто сказал бы наконец здраво и смело о том, что такое и какого рода этот талант, создавший, например, такую вещь, как «Песня о соколе», — песня о том, как совершенно неизвестно зачем «высоко в горы вполз уж и лег там», а к нему прилетел какой-то ужасно гордый сокол. Все повторяют: «босяк, поднялся со дна моря народного...» Но никто не знает довольно знаменательных строк, напечатанных в словаре Брокгауза: «Горький-Пешков Алексей Максимович. Родился в 68-м году, в среде вполне буржуазной: отец — управляющий большой пароходной конторы; мать — дочь богатого купца-красильщика...» Дальнейшее — никому в точности неведомо, основано только на автобиографии Горького, весьма подозрительной даже по одному своему стилю: «Грамоте — учился я у деда по псалтырю, потом, будучи поваренком на пароходе, у повара Смурого, человека сказочной силы, грубости и — нежности...» Чего стоит один этот сусальный вечный горьковский образ! «Смурый привил мне, дотоле люто ненавидевшему всякую печатную бумагу, свирепую страсть к чтению, и я до безумия стал зачитываться Некрасовым, журналом «Искра», Успенским, Дюма... Из поварят попал я в садовники, погло-

* Скончался писатель Максим Горький... Алексей Пешков, известный в литературе под именем Горький, родился в 1868 г. в Нижнем Новгороде в казацкой семье... (*фр.*).

щал классиков и литературу лубочную. В пятнадцать лет возымел свирепое желание учиться, поехал в Казань, простодушно полагая, что науки желающим даром преподаются. Но оказалось, что оное не принято, вследствие чего я поступил в крендельное заведение. Работая там, свел знакомство со студентами... А в девятнадцать лет пустил в себя пулю, и, прохворав, сколько полагается, ожил, дабы приняться за коммерцию яблоками... В свое время был призван к отбыванию воинской повинности, но, когда обнаружилось, что дырявых не берут, поступил в письмоводители к адвокату Ланину, однако же вскоре почувствовал себя среди интеллигенции совсем не на своем месте и ушел бродить по югу России...»

В 92-м году Горький напечатал в газете «Кавказ» свой первый рассказ «Макар Чудра», который начинается на редкость пошло: «Ветер разносил по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны... Мгла осенней ночи пугливо вздрагивала и пугливо отодвигалась от нас при вспышках костра, над которым возвышалась массивная фигура Макара Чудры, старого цыгана. Полулежа в красивой свободной и сильной позе, методически потягивал он из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и говорил: «Ведома ли рабу воля широкая? Ширь степная понятна ли? Говор морской волны весело ли ему сердце? Эге! Он, парень, раб!». А через три года после того появился знаменитый «Челкаш». Уже давно шла о Горьком молва по интеллигенции, уже многие зачитывались и «Макаром Чудрой» и последующими созданиями горьковского пера: «Емельян Пиляй», «Дед Архип и Ленька»... Уже славился Горький и сатирами — например, «О чиже, любителе истины, и о дятле, который лгал», — был известен как фельетонист, писал фельетоны (в «Самарской газете»), подписываясь так: «Иегудиил Хламида». Но вот появился «Челкаш»...

Как раз к этой поре и относятся мои первые сведения о нем: в Полтаве, куда я тогда приезжал порой, прошел вдруг слух: «Под Кобеляками поселился молодой писатель Горький. Фигура удивительно красочная. Ражий детина в широчайшей крылатке, в шляпе вот с этакими полями и с пудовой суковатой дубинкой в руке...» А познакомились мы с Горьким весной 99-го года. Приезжаю в Ялту, иду как-то по набережной и вижу: навстречу идет с кем-то Чехов, закрывается газетой, не то от солнца, не то от этого кого-то, идущего рядом с ним, что-то басом гудящего и все время высоко взмахивающего руками из своей крылатки. Здороваюсь с Чеховым, он говорит: «Познакомьтесь, Горький». Знакомлюсь, гляжу и убеждаюсь, что в Полтаве описывали его отчасти правильно: и крылатка, и вот этакая шляпа, и дубинка. Под крылаткой желтая шелковая рубаха, подпоясанная длинным и толстым шелковым жгутом кремового цвета, вышитая разноцветными шелками по подолу и вороту. Только не детина и не ражий, а просто высокий и несколько сутулый, рыжий парень с зеленоватыми, быстрыми и уклончивыми глазками, с утиным носом в веснушках, с широкими ноздрями и желтыми усиками, которые он, покашливая, все поглаживает большими пальцами: немножко поплюет на них и погладит. Пошли дальше, он закурил, крепко затянулся и тотчас же опять загудел и стал взмахивать руками. Быстро выкурив папиросу, пустил в ее мундштук слюны, чтобы загасить окурок, бросил его и продолжал говорить, изредка быстро взглядывая на Чехова, стараясь уловить его впечатление. Говорил он громко, якобы от всей души, с жаром и все образами и все с героическими восклицаниями, нарочито грубоватыми, первобытными. Это был бесконечно длинный и бесконечно скучный рассказ о каких-то волжских богачах из купцов и мужиков, — скучный прежде всего по своему однообразию гиперболичности, — все эти богачи были совершенно былинные исполины, — а кроме того и по неумеренности образности и пафоса. Чехов почти не слушал. Но Горький все говорил и говорил...

Чуть не в тот же день между нами возникло что-то вроде дружеского сближения, с его стороны несколько даже сентиментального, с каким-то застенчивым восхищением мною:

— Вы же последний писатель от дворянства, той культуры, которая дала миру Пушкина и Толстого!

В тот же день, как только Чехов взял извозчика и поехал к себе в Аутку, Горький позвал меня зайти к нему на Виноградную улицу, где он снимал у кого-то комнату, показал мне, морща нос, неловко улыбаясь счастливой, комически-глупой улыбкой, карточку своей жены с толстым, живоглазым ребенком на руках, потом кусок шелка голубенького цвета и сказал с этими гримасами:

— Это, понимаете, я на кофточку ей купил... этой самой женщине... Подарок везу...

Теперь это был совсем другой человек, чем на набережной, при Чехове: милый, шутливо-ломающийся, скромный до самоунижения, говорящий уже не басом, не с героической грубостью, а каким-то все время как бы извиняющимся, наигранно-задушевным волжским говорком с оканьем. Он играл и в том и в другом случае, — с одинаковым удовольствием, одинаково неустанно, — впоследствии я узнал, что он мог вести монологи хоть с утра до ночи и все одинаково ловко, вполне входя то в ту, то в другую роль, в чувствительных местах, когда старался быть особенно убедительным, с легкостью вызывая даже слезы на свои зеленоватые глаза. Тут обнаружились и некоторые другие его черты, которые я неизменно видел впоследствии много лет. Первая черта была та, что на людях он бывал совсем не тот, что со мной наедине или вообще без посторонних, — на людях он чаще всего басил, бледнел от самолюбия, честолюбия, от восторга публики перед ним, рассказывал все что-нибудь грубое, высокое, важное, своих поклонников и поклонниц любил поучать, говорил с ними то сурово и небрежно, то сухо, назидательно, — когда же мы оставались глаз на глаз или среди близких ему людей, он становился мил, как-то наивно радостен, скромен и застенчив даже излишне. А вторая черта состояла в его обожании культуры и литературы, разговор о которых был настоящим коньком его. То, что сотни раз он говорил мне впоследствии, начал он говорить еще тогда, в Ялте:

— Понимаете, вы же настоящий писатель прежде всего потому, что у вас в крови культура, наследственность высокого художественного искусства русской литературы. Наш брат, писатель для нового читателя, должен непрестанно учиться этой культуре, почитать ее всеми силами души, — только тогда и выйдет какой-нибудь толк из нас!

Несомненно, была и тут игра, было и то самоунижение, которое паче гордости. Но была и искренность — можно ли было иначе твердить одно и то же столько лет и порой со слезами на глазах?

Он, худой, был довольно широк в плечах, держал их всегда поднявши и узкогрудо сутулясь, ступал своими длинными ногами с носка, с какой-то, — пусть простят мне это слово, — воровской щеголеватостью, мягкостью, легкостью, — я немало видал таких походок в одесском порту. У него были большие, ласковые, как у духовных лиц, руки. Здороваясь, он долго держал твою руку в своей, приятно жал ее, целовался мягкими губами крепко, взасос. Скулы у него выдавались совсем по-татарски. Небольшой лоб, низко заросший волосами, закинутыми назад и довольно длинными, был морщинист, как у обезьяны — кожа лба и брови все лезли вверх, к волосам, складками. В выражении лица (того довольно нежного цвета, что бывает у рыжих) иногда мелькало нечто клоунское, очень живое, очень комическое, — то, что потом так сказалось у его сына Максима, которого я, в его детстве, часто сажал к себе на шею верхом, хватал за ножки и до радостного визга доводил скачкой по комнате.

Ко времени первой моей встречи с ним слава его шла уже по всей России. Потом она только продолжала расти. Русская интеллигенция сходила от него с ума, и понятно почему. Мало того, что это была пора уже большого подъема русской революционности, мало того, что Горький так отвечал этой революционности: в ту пору шла еще страстная борьба между «народниками» и недавно появившимися марксистами, а Горький уничтожал мужика и воспевал «Челкашей», на которых марксисты, в своих революционных надеждах и планах, ставили такую крупную ставку. И вот, каждое новое произведение Горького тотчас делалось всероссийским событием. И он все менялся и менялся — и в образе жизни, и в обращении с людьми. У него был снят теперь целый дом в Нижнем Новгороде, была большая квартира в Петербурге, он часто появлялся в Москве, в Крыму, руководил журналом «Новая жизнь», начинал издательство «Знание»... Он уже писал для Художественного театра, артистке Книппер делал на своих книгах такие, например, посвящения:

— Эту книгу, Ольга Леонардовна, я переплел бы для Вас в кожу сердца моего!

Он уже вывел в люди сперва Андреева, потом Скитальца и очень приблизил их к себе. Временами приближал и других писателей, но чаще всего ненадолго: очаровав кого-нибудь своим вниманием, вдруг отнимал у счастливца все свои милости. В гостях, в обществе было тяжело видеть его: всюду, где он появлялся, набивалось столько народу, не спускающего с него глаз, что протолпиться было нельзя. Он же держался все угловатее, все неестественнее, ни на кого из публики не глядел, сидел в кружке двух, трех избранных друзей из знаменитостей, свирепо хмурился, по-солдатски (нарочито по-солдатски) кашлял, курил папиросу за папиросой, тянул красное вино, — выпивал всегда полный стакан, не отрываясь, до дна, — громко изрекал иногда для общего пользования какую-нибудь сентенцию или политическое пророчество и опять, делая вид, что не замечает никого кругом, то хмурясь и барабаня большими пальцами по столу, то с притворным безразличием поднимая вверх брови и складки лба, говорил только с друзьями, но и с ними как-то вскользь, они же повторяли на своих лицах мимолетнейшие выражения его лица и, упиваясь на глазах публики гордостью близости с ним, будто бы небрежно, будто бы независимо, то и дело вставляли в свое обращение к нему его имя:

— Совершенно верно, Алексей... Нет, ты не прав, Алексей... Видишь ли, Алексей... Дело в том, Алексей...

Все молодое уже исчезло в нем — с ним это случилось очень быстро, — цвет лица у него стал грубее и темнее, суше, усы гуще и больше, — его уже называли унтером, — на лице появилось много морщин, во взгляде — что-то злое, вызывающее. Когда мы встречались с ним не в гостях, не в обществе, он был почти прежний, только держался серьезнее, увереннее, чем когда-то. Но публике (без восторгов которой он просто жить не мог) часто грубил.

На одном людном вечере в Ялте я видел, как артистка Ермолова, — сама Ермолова и уже старая в ту пору! — подошла к нему и поднесла ему подарок — чудесный портсигарчик из китового уса. Она так смутилась, так растерялась, так покраснела, что у нее слезы на глаза выступили:

— Вот, Максим Алексеевич... Алексей Максимович... Вот я... вам...

Он в это время стоял возле стола, тушил, мял в пепельнице папиросу и даже не поднял глаз на нее.

— Я хотела выразить вам, Алексей Максимович...

Он мрачно, усмехнувшись в стол и, по своей привычке, дернув назад головой, отбрасывая со лба волосы, густо провор-

чал, как будто про себя, стих из «Книги Иова»:

— «Доколе же Ты не отвратишь от меня взора, не будешь отпускать меня на столько, чтобы слюну мог проглотить я?»

А что если бы его «отпустили»?

Ходил он теперь всегда в темной блузе, подпоясанной кавказским ремешком с серебряным набором, в каких-то особенных сапожках с короткими голенищами, в которые вправлял черные штаны. Всем известно, как, подражая ему в «народности» одежды, Андреев, Скиталец и прочие «Подмаксимки» тоже стали носить сапоги с голенищами, блузы и поддевки. Это было нестерпимо.

Мы встречались в Петербурге, в Москве, в Нижнем, в Крыму, — были и дела у нас с ним: я сперва сотрудничал в его журнале «Новая жизнь», потом стал издавать свои первые книги в его издательстве «Знание», участвовал в «Сборниках Знания». Его книги расходились чуть не в сотнях тысяч экземпляров, прочие — больше всего из-за марки «Знания», — тоже неплохо. «Знание» сильно повысило писательские гонорары. Мы получали в «Сборниках Знания» кто по 300, кто по 400, а кто и по 500 рублей с листа, он — 1000 рублей: большие деньги он всегда любил. Тогда начал он и коллекционерство: начал собирать редкие древние монеты, медали, геммы, драгоценные камни; ловко, кругло, сдерживая довольную улыбку, поворачивал их в руках, разглядывая, показывая. Так он и вино пил: со вкусом и с наслаждением (у себя дома только французское вино, хотя превосходных русских вин было в России сколько угодно).

Я всегда дивился — как это его на все хватает: изо дня в день на людях, — то у него сборище, то он на каком-нибудь сборище, — говорит порой не умолкая, целыми часами, пьет сколько угодно, папирос выкуривает по сто штук в сутки, спит не больше пяти, шести часов — и пишет своим круглым, крепким почерком роман за романом, пьесу за пьесой! Очень было распространено убеждение, что он пишет совершенно безграмотно и что его рукописи кто-то поправляет. Но писал он совершенно правильно (и вообще с необыкновенной литературной опытностью, с которой и начал писать). А сколько он читал, вечный полуинтеллигент, начетчик!

Всегда говорили о его редком знании России. Выходит, что он узнал ее в то недолгое время, когда, уйдя от Ланина, «бродил по югу России». Когда я его узнал, он уже нигде не бродил. Никогда и нигде не бродил и после: жил в Крыму, в Москве, в Нижнем, в Петербурге... В 1905 году, после московского декабрьского восстания, эмигрировал через Финляндию за границу; побывал в Америке, потом семь лет жил на Капри, — до 1914 года. Тут, вернувшись в Россию, он крепко осел в Петербурге... Дальнейшее известно.

Мы с женой лет пять подряд ездили на Капри, провели там целых три зимы. В это время мы с Горьким встречались каждый день, чуть не все вечера проводили вместе, сошлись очень близко. Это было время, когда он был наиболее приятен мне.

В начале апреля 1917 года мы расстались с ним навсегда. В день моего отъезда из Петербурга он устроил огромное собрание в Михайловском театре, на котором он выступал с «культурным» призывом о какой-то «Академии свободных наук», потащил и меня с Шаляпиным туда. Выйдя на сцену, сказал: «Товарищи, среди нас такие-то...» Собрание очень бурно нас приветствовало, но оно было уже такого состава, что это не доставило мне большого удовольствия. Потом мы с ним, Шаляпиным и А. Н. Бенуа отправились в ресторан «Медведь». Было ведерко с зернистой икрой, было много шампанского... Когда я уходил, он вышел за мной в коридор, много раз крепко обнял меня, крепко поцеловал...

Вскоре после захвата власти большевиками он приехал в Москву, остановился у своей жены Екатерины Павловны, и она сказала мне по телефону: «Алексей Максимович хочет поговорить с вами». Я ответил, что говорить нам теперь не о чем, что я считаю наши отношения с ним навсегда конченными.

1936 г.

Маяковский

Кончая свои писательские воспоминания, думаю, что Маяковский останется в истории литературы большевицких лет как самый низкий, самый циничный и вредный слуга советского людоедства по части литературного восхваления его и тем самым воздействия на советскую чернь, — тут не в счет, конечно, только один Горький, пропаганда которого с его мировой знаменитостью, с его большими и примитивными литературными способностями, как нельзя более подходящими для вкусов толпы, с огромной силой актерства, с гомерической лживостью и беспримерной неутомимостью в ней оказала такую страшную преступную помощь большевизму поистине «в планетарном масштабе». И советская Москва не только с великой щедростью, но даже с идиотской чрезмерностью отплатила Маяковскому за все его восхваления ее, за всяческую помощь ей в деле развращения советских людей, в снижении их нравов и вкусов. Маяковский превознесен в Москве не только как великий поэт. В связи с недавней двадцатилетней годовщиной его самоубийства московская «Литературная газета» заявила, что «имя Маяковского *воплотилось* в пароходы, школы, танки, улицы, театры и другие *долгие* дела». Десять пароходов «Владимир Маяковский» плавают по морям и рекам. «Владимир Маяковский» было начерчено на броне трех танков. Один из них дошел до Берлина, до самого рейхстага. Штурмовик «Владимир Маяковский» разил врага с воздуха. Подводная лодка «Владимир Маяковский» топила корабли в Балтике. Имя поэта носят: площадь в центре Москвы, станция метро, переулок, библиотека, музей, район в Грузии, село в Армении, поселок в Калужской области, горный пик на Памире, клуб литераторов в Ленинграде, улицы в пятнадцати городах, пять театров, три городских парка, школы, колхозы...» (А вот Карлу Либкнехту не повезло: во всей советской России есть всего-навсего единственный «Гусиный колхоз имени Карла Либкнехта»). Маяковскому пошло на пользу даже его самоубийство: оно дало повод другому советскому поэту, Пастернаку, обратиться к его загробной тени с намеком на что-то даже очень возвышенное:

> Твой выстрел был подобен Этне
> в предгорьв трусов и трусих!

Казалось бы, выстрел можно уподоблять не горе, а какому-нибудь ее действию — обвалу, извержению... Но поелику Пастернак считается в советской России да многими и в эмиграции тоже гениальным поэтом, то и выражается он как раз так, как и подобает теперешним гениальным поэтам, и вот еще один пример тому из его стихов:

> Поэзия, я буду клясться
> тобой и кончу, прохрипев:
> ты не осанка сладкогласца,
> ты лето с местом в третьем классе,
> ты пригород, а не припев.

Маяковский прославился в некоторой степени еще до Ленина, выделился среди всех тех мошенников, хулиганов, что назывались футуристами. Все его скандальные выходки в ту пору были очень плоски, очень дешевы, все подобны выходкам Бурлюка, Крученых и прочих. Но он их всех превосходил силой грубости и дерзости. Вот его знаменитая желтая кофта и дикарски раскрашенная морда, но сколь эта морда зла и мрачна! Вот он, по воспоминаниям одного из его тогдашних приятелей, выходит на эстраду читать свои вирши публике, собравшейся потешаться им: выходит, засунув руки в карманы штанов, с папиросой, зажатой в углу презрительно искривленного рта. Он высок ростом, статен и силен на вид, черты его лица резки и крупны, он читает, то усиливая голос до рева, то лениво бормоча себе под нос; кончив читать, обращается к публике уже с прозаической речью:

— Желающие получить в морду благоволят становиться в очередь.

Вот он выпускает книгу стихов, озаглавленную будто бы необыкновенно остроумно: «Облако в штанах». Вот одна из его картин на выставке, — он ведь был и живописец: что-то как попало наляпано на полотне, к полотну приклеена обыкновенная деревянная ложка, а внизу подпись: «Парикмахер ушел в баню»...

Если бы подобная картина была вывешена где-нибудь на базаре в каком-нибудь самом захолустном русском городишке, любой прохожий мещанин, взглянув на нее, только покачал бы головой и пошел дальше, думая, что выкинул эту штуку какой-нибудь дурак набитый или помешанный. А Москву и Петербург эта штука все-таки забавляла, там она считалась «футуристической». Если бы на какой-нибудь ярмарке балаганный шут крикнул толпе становиться в очередь, чтобы получать по морде, его немедля выволокли бы из балагана и самого измордовали бы до бесчувствия. Ну, а русская столичная интеллигенция все-таки забавлялась Маяковским и вполне соглашалась с тем, что их выходки называются футуризмом.

В день объявления первой русской войны с немцами Маяковский влезает на пьедестал памятника Скобелеву в Москве и ревет над толпой патриотическими виршами. Затем, через некоторое время, на нем цилиндр, черное пальто, черные перчатки, в руках трость черного дерева, и он в этом наряде как-то устраивается так, что на войну его не берут. Но вот наконец воцаряется косоглазый, картавый, лысый сифилитик Ленин, начинается та эпоха, о которой Горький незадолго до своей насильственной смерти брякнул: «Мы в стране, освещенной гением Владимира Ильича Ленина, в стране, где неутомимо и чудодейственно работает железная воля Иосифа Сталина!» Воцарившись, Ленин, «величайший гений всех времен и народов», как неизменно называет его теперь Москва, провозгласил:

«Буржуазный писатель зависит от денежного мешка, от подкупа. Свободны ли вы, господа писатели, от вашей буржуазной публики, которая требует от вас порнографии в рамках и картинках, проституции в виде «дополнения» к «святому искусству» вашему?»

«Денежный мешок, порнография в рамках и картинках, проституция в виде дополнения...» Какой словесный дар, какой убийственный сарказм! Недаром твердит Москва и другое: «Ленин был и величайшим художником слова». Но всего замечательней то, что он сказал вскоре после этого:

«Так называемая «свобода творчества» есть барский анахронизм. Писатели должны непременно войти в партийные организации».

И вот Маяковский становится уже неизменным слугою РКП (Российской Коммунистической партии), начинает буянить в том же роде, как буянил, будучи футуристом: орать, что «довольно жить законами Адама и Евы», что пора «скинуть с корабля современности Пушкина», затем — меня: твердо сказал на

каком-то публичном собрании (по свидетельству Е. Д. Кусковой в ее статьях «До и после», напечатанных в прошлом году в «Новом русском слове» по поводу моих «Автобиографических заметок»):

«Искусство для пролетариата не игрушка, а оружие. Долой «Бунинновщину» и да здравствуют передовые рабочие круги!»

Что именно требовалось, как «оружие», этим кругам, то есть, проще говоря Ленину с его РКП, единственной партией, которой он заменил все прочие «партийные организации»? Требовалась «фабрикация людей с материалистическим мышлением, с материалистическими чувствами», а для этой фабрикации требовалось все наиболее заветное ему, Ленину, и всем его соратникам и наследникам: стереть с лица земли и оплевать все прошлое, все, что считалось прекрасным в этом прошлом, разжечь самое окаянное богохульство, — ненависть к религии была у Ленина совершенно патологическая, — и самую зверскую классовую ненависть, перешагнуть все пределы в беспримерно похабном самохвальстве и прославлении РКП, неустанно воспевать «вождей», их палачей, их опричников,— словом, как раз все то, для чего трудно было найти более подходящего певца, «поэта», чем Маяковский с его злобной, бесстыдной, каторжно бессердечной натурой, с его площадной глоткой, с его поэтичностью ломовой лошади и заборной бездарностью даже в тех дубовых виршах, которые он выдавал за какой-то новый род якобы стиха, а этим стихом выразить все то гнусное, чему он был столь привержен, и все свои лживые восторги перед РКП и ее главарями, свою преданность им и ей. Ставши будто бы яростным коммунистом, он только усилил и развил до крайней степени все то, чем добывал себе славу, будучи футуристом, ошеломляя публику грубостью и пристрастием ко всякой мерзости. Он называл звезды «плевочками», он, рассказывая в своих ухабистых виршах о своем путешествии по Кавказу, сообщил, что сперва *поплевал* в Терек, потом *поплевал* в Арагву; он любил слова еще более гадкие, чем плевочки, — писал, например, Есенину, что его, Есенина, имя «публикой о*соплено*», над Америкой, в которой он побывал впоследствии, издевался в том же роде:

Мамаша
грудь
ребенку дала.
Ребенок,
с каплями на носу
сосет
как будто
не грудь, а доллар —
занят серьезным бизнесом.

Он любил слово «блевотина», — писал (похоже, что о самом себе):

Бумаги
гладь
облевывает
пером,
концом губы поэт
как блядь рублевая.

Подобно Горькому, будто бы ужасно ненавидевшему золото, — Горький уже много лет тому назад свирепо назвал Нью-Йорк «Городом Желтого Дьявола», то есть золота, — он, Маяковский, золото тоже должен был ненавидеть, как это полагается всякому прихлебателю РКП, и потому писал:

Пока
доллар
всех поэм родовей,
лапя,
хапая,
выступает,
порфиру надев, Бродвей:
капитал —
его препохабие!

Горький посетил Америку в 1906 году, Маяковский через двадцать лет после него — и это было просто ужасно для американцев: я недавно прочел об этом в московской «Литературной газете», в почтенном органе Союза советских писателей, там в статье какого-то Атарова сказано, что на его столе лежит «удивительная, подлинно великая книга» прозы и стихов Маяковского об Америке, что книга эта «плод пребывания Маяковского в Нью-Йорке» и что после приезда его туда «у американских мастеров бизнеса были серьезные причины тревожиться: в их страну приехал великий поэт революции!»

С такой же силой, с какой он устрашил и разоблачил Америку, он воспевал РКП:

Мы
не с мордой, опущенной вниз,
мы — в новом, грядущем быту,
помноженном на электричество
и коммунизм...
Поэтом не быть мне бы,
если б
не это пел:
в звездах пятиконечных небо
безмерного свода РКП.

Что совершалось под этим небом в пору писаний этих виршей? Об этом можно было прочесть даже и в советских газетах:

«3-го июня на улицах Одессы подобрано 142 трупа умерших от голода, 5-го июня — 187. Граждане! Записывайтесь в трудовые артели по уборке трупов!»

«Под Самарой пал жертвой людоедства бывший член Государственной думы Крылов*, врач по профессии: он был вызван в деревню к больному, но по дороге убит и съеден».

В ту же пору так называемый «Всероссийский староста» Калинин посетил юг России и тоже вполне откровенно засвидетельствовал:

«Тут одни умирают от голода, другие хоронят, стремясь использовать в пищу мягкие части умерших».

Но что до того было Маяковским, Демьянам и многим, многим прочим из их числа, жравшим «на полный рот», носившим шелковое белье, жившим в самых знаменитых «Подмосковных», в московских особняках прежних московских миллионеров! Какое дело было Владимиру Маяковскому до всего того, что вообще совершалось под небом РКП? Какое небо, кроме этого неба, мог он видеть? Разве не сказано, что «свинье неба вовеки не видать»? Под небом РКП при начале воцарения Ленина ходил по колено в крови «революционный народ», затем кровопролитием занялся Феликс Эдмундович Дзержинский и его сподвижники. И вот Владимир Маяковский превзошел в те годы даже самых отъявленных советских злодеев и мерзавцев. Он писал:

Юноше, обдумывающему житье,
решающему —
сделать бы жизнь с кого,
скажу, не задумываясь:
делай ее
с товарища Дзержинского!

Он, призывая русских юношей идти в палачи, напоминал им слова Дзержинского о самом себе, совершенно бредовые в устах изверга, истребившего тысячи и тысячи жизней:

«Кто любит жизнь так сильно, как я, тот отдает свою жизнь за других».

А наряду с подобными призывами не забывал Маяковский славословить и самих творцов РКП, — лично их:

Партия и Ленин
кто более
матери истории ценен?
Я хочу,
чтоб к штыку
приравняли перо.
С чугуном чтоб
и с выделкой стали
о работе стихов
от Политбюро
чтобы делал доклады Сталин.

И вот слава его, как великого поэта, все растет и растет, поэтические творения его издаются «громадными тиражами по личному приказу из Кремля», в журналах платят ему за каждую строку даже в одно слово гонорары самые что ни на есть высокие, он то и дело вояжирует в «гнусные» капиталистические страны, побывал в Америке, несколько раз приезжал в Париж и каждый раз имел в нем довольно долгое пребывание, заказывал белье и костюмы в лучших парижских домах, рестораны выбирал тоже наиболее капиталистические, но «поплевал» и в Париже, — заявил с томной брезгливостью пресыщенного пшюта:

Я не люблю
парижскую любовь —
любую самочку
шелками разукрасьте,
потягиваясь, задремлю,
сказав «тубо»
собакам озверевшей страсти.

«Большим поэтом» окрестил его, кажется, раньше всех Горький: пригласил его к себе на дачу в Мустамяки, чтобы он прочитал у него в небольшом, но весьма избранном обществе свою поэму «Флейта-позвоночник», и когда Маяковский кончил эту поэму, со слезами пожал ему руку:

— Здорово, сильно... Большой поэт!

А всего несколько лет тому назад прочитал я в журнале «Новоселье», издававшемся тогда еще в Нью-Йорке, нечто уже совершенно замечательное:

«Потуги вычеркнуть Маяковского из русской и всемирной литературы отброшены последними годами в далекое архивное прошлое».

Это начало статейки, напечатанной в «Новоселье» г-ном Романом Якобсоном, очень видным славистом, весьма известным своими работами по изучению «Слова о полку Игореве», — он, русский по происхождению, когда-то учившийся в одной гимназии с Маяковским в Москве, был сперва профессором в Праге, затем в Нью-Йорке и наконец получил кафедру в Харвардском университете, лучшем в Америке.

Не знаю, кто «тужился» развенчать Маяковского, — кажется, никто. И вообще г. Роман Якобсон напрасно беспокоится: относительно всемирной литературы он, конечно, слегка зарапортовался, рядом со «Словом о полку Игореве» творения Маяковского навряд будут в ней, но в будущей, свободной истории русской литературы Маяковский будет, без сомнения, помянут достойно.

Гегель, фрак, метель

Революционные времена не милостивы: тут бьют и плакать не велят, — плачущий считается преступником, «врагом народа», в лучшем случае — пошлым мещанином, обывателем. В Одессе, до второго захвата ее большевиками, я однажды рассказывал публично о том, что творил русский «революционный народ» уже весною 1917 года и особенно в уездных городах и деревнях, — я в ту пору приехал в имение моей двоюродной сестры в Орловской губернии, — рассказал, между прочим, что в одном господском имении под Ельцом мужики, грабившие это имение, ощипали догола живых павлинов и пустили их, окровавленных, метаться, тыкаться куда попало с отчаянными воплями, и получил за этот рассказ жестокий нагоняй от одного из главных сотрудников одесской газеты «Рабочее слово», Павла Юшкевича, напечатавшего в ней в назидание мне такие строки:

«К революции, уважаемый академик Бунин, нельзя подходить с мерилом и пониманием уголовного хроникера, оплакивать ваших павлинов — мещанство, обывательщина, Гегель недаром учил о разумности всего действительного!»

Я ответил ему в одесской доброволь-

* Петр Петрович. Род. в 1859 г. Ординатор Сам. губ. б-цы. Доброволец войны 1904—1905 гг. (см. «Члены Гос. думы». Первый созыв 1906—11, с. 283. М., 1906).

ческой газете, которую редактировал тогда, что ведь и чума, и холера, и еврейские погромы могут быть оправданы, если уж так свято верить Гегелю, и что мне все-таки жаль елецких павлинов: ведь они и не подозревали, что на свете существовал Гегель, и никак поэтому не могли им утешиться...

Все это я не раз вспоминал в Константинополе, когда, бежав из Одессы от большевиков, второй раз уже прочно овладевших ею, мы стали наконец (в начале февраля 1920 года) эмигрантами и чувствовали себя в некотором роде тоже весьма ощипанными павлинами. Я часто бывал в Константинополе в прежние, мирные годы. Теперь, словно нарочно, попал в него в тринадцатый раз, и это роковое число вполне оправдало себя: в полную противоположность с прошлым, все было крайне горестно теперь в Константинополе. Прежде я всегда видел его во всей красоте его весенних дней, веселым, шумным, приветливым; теперь он казался нищим, был сумрачен, грязен то от дождя, то от таявшего снега, мокрый, резкий ветер валил с ног на его набережных и на мосту в Стамбул, турки были молчаливы, подавлены оккупацией союзников, их презрительной властью над ними, грустны и ласковы только с нами, русскими беженцами, еще более бесправными, чем они, а несчастными уже до последнего предела, во всех смыслах. Меня то и дело охватывало в те константинопольские дни чувство радостной благодарности Богу за тот душевный отдых, что наконец послал Он мне от всего пережитого в России за три последних года. Но материальное положение наше не внушало радости: и мне и Н. П. Кондакову, с которым мы покинули Одессу и были неразлучны и в Константинополе, надо было искать прочного прибежища и средств к существованию в какой-нибудь славянской стране — в Софии, в Белграде, в Праге, — где эмигрантам было легче всего как-нибудь устроиться. И вот, дождавшись наконец виз и первого поезда, — они были тогда еще очень редки после всех тех разрушений, что произвела четырехлетняя война и в Европе, и на Балканах, — мы уехали из Константинополя в Софию. Я имел официальное поручение устно осведомить нашего посла в Белграде о положении наших дел и на фронте и в тылу одесской области, должен был поэтому посетить и Белград, — это давало мне к тому же надежду как-нибудь устроиться там, — но по пути в Белград мы с женой прожили почти три недели в Софии. И то, что мы не погибли там, как не погибли в Черном море, было тоже чудом.

Болгария была оккупирована тогда французами, и потому русских беженцев, прибывавших туда, устраивали по квартирам французы. В Софии многих из них они поселили в одном из больших отелей, поселили там и нас с Кондаковым, и началось с того, что мы оказались среди множества тифозных больных, заразиться от которых ничего не стоило. А кончилось — для меня — вот чем. За несколько дней до нашего отъезда из Софии я был, в числе некоторых прочих, приглашен в гости, на вечернюю пирушку к одному видному болгарскому поэту, содержавшему трактир, и там просидел почти до рассвета, — ни хозяин, ни военный болгарский министр, бывший в числе приглашенных, ни за что не отпускали меня домой, министр даже кричал на меня в избытке дружеских чувств:

— Арестую, если вздумаете уходить!

Так и вернулся я домой, — только на рассвете и не совсем трезвый, — а вернувшись, тотчас заснул мертвым сном и только часов в одиннадцать дня вскочил с постели, с ужасом вспомнив, что приглашен на какую-то политическую лекцию Рысса, человека очень обидчивого, и что лекция эта должна была начаться в девять утра, — в Софии публичные лекции, доклады часто бывали по утрам. Желая поделиться с женой своим горем, я перебежал из своего номера в ее, как раз напротив моего, минут через десять вернулся в свой — и едва устоял на ногах: чемодан, в котором хранилось все наше достояние, был раскрыт и ограблен дотла, — на полу было разбросано только то, что не имело никакой ценности, — так что мы оказались уже вполне нищими, в положении совершенно отчаянном. Замки чемодана были редкие, подобрать к ним ключи было невозможно, но я, проснувшись, сам отпер чемодан, чтобы взять из него золотой хронометр, посмотреть, который час, — я благоразумно не взял его вчера с собой, зная, что мне придется возвращаться с вечера у поэта поздно, по темной и пустынной Софии, — и, посмотрев, бросил чемодан незапертым, а хронометр положил на ночной столик у постели, с которого, разумеется, исчез и он. Однако судьба оказалась ко мне удивительно великодушна: взяла с меня большую взятку, но зато спасла меня от верной смерти, — почти тотчас же после того, как я обнаружил свою полную нищету, кто-то, уж не помню, кто именно, принес нам страшную весть о том, что случилось там, где должен был читать Рысс: меньше чем за минуту перед его появлением на эстраде под ней взорвалась какая-то «адская машина», и несколько человек, сидевших в первом ряду перед эстрадой, — в котором, вероятно, сидел бы и я, — было убито наповал.

Кто обокрал нас, было вполне ясно не только нам, но и всякому из наших сожителей по отелю: коридорным в отеле был русский, «большевичок», как все его звали, желтоволосый малый в грязной косоворотке и поганом сюртучишке, горничной — его возлюбленная, молчаливая девка, похожая на самую дешевую проститутку в одесском порту, «личность мистериозная», как назвал ее болгарский сыщик, посланный арестовать и ее, и коридорного болгарской полицией, но французы тотчас вмешались в дело и приказали его прекратить: нижний этаж отеля занимали зуавы, среди которых мог оказаться вор. И вот болгарское правительство предложило мне бесплатный проезд до Белграда в отдельном вагоне третьего класса, наиболее безопасном от тифозных вшей, и небольшую сумму болгарских денег на пропитание до Белграда. А в Белграде, где нам пришлось жить в этом вагоне возле вокзала на запасных путях, — так был переполнен в ту пору Белград, — я не только никак не устроился, но истратил на пропитание даже и то, что подарило мне болгарское правительство. Сербы помогали нам, русским беженцам, только тем, что меняли те «колокольчики» (деникинские тысячерублевки), какие еще были у некоторых из нас, на девятьсот динар каждый, меняя, однако, только один «колокольчик». Делом этим ведал князь Григорий Трубецкой, заседавший в нашем посольстве. И вот я пошел к нему и попросил его сделать для меня некоторое исключение — разменять не один «колокольчик», а два или три, — сославшись на то, что был обокраден в Софии. Он посмотрел на меня и сказал:

— Мне о вас уже докладывали, когда вы пришли. Вы академик?

— Так точно, — ответил я.

— А из какой именно вы академии?

Это было уже издевательство. Я ответил, сдерживая себя сколько мог:

— Я не верю, князь, что вы никогда ничего не слыхали обо мне.

Он покраснел и резко отчеканил:

— Все же никакого исключения я для вас не сделаю. Имею честь кланяться.

Я взял девятьсот динар, забывши от волнения, что мог получить еще девятьсот на жену, и вышел из посольства совершенно вне себя. Как быть, что делать? Возвращаться в Софию, в этот мерзкий и страшный отель? Я тупо стоял на тротуаре и уже хотел брести в свой вагон на запасных путях, как вдруг открылось окно в нижнем этаже посольского дома и наш консул окликнул меня:

— Господин Бунин, ко мне только что пришла телеграмма из Парижа от госпожи Цетлиной, касающаяся вас: виза в Париж и тысяча французских франков.

В Париже, в первые годы двадцатых годов, мы получали иногда письма из Москвы всякими правдами, неправдами, чаще всего письма моего племянника (умершего лет пятнадцать тому назад), сына той троюродной сестры моей, о которой я уже упоминал и в имении которой, в селе Васильевском, я подолгу живал многие годы — вплоть до нашего бегства оттуда в Елец и дальше, в Москву, на рассвете 23 октября 1917 года, вполне разумно опасаясь быть ни за что ни про что убитыми тамошними мужиками, которые неминуемо должны были быть пьяными поголовно 22 октября, по случаю Казанской, их престольного праздника. Вот в хронологическом порядке некоторые выдержки из этих писем, в своем роде довольно замечательных:

— Лысею. Ведь от холода почти четыре года не снимаю шапки, даже сплю в ней.

— Та знаменитая артистка, о которой я тебе писал, умерла. Умирая, лежала в почерневшей от грязи рубашке, страшная, как скелет, стриженная клоками, вшивая, окруженная докторами с горящими лучинами в руках.

— Был у старухи княжны Белозерской. Сидит в лохмотьях, голодная, в ужасном холоде, курит махорку.

— Я задыхался от бронхита, с великим трудом добыл у знакомого аптекаря какой-то мази для втирания в грудь. Раз вышел в нужник, а сосед-старичок, следивший за мной, вбежал ко мне и стал пожирать эту мазь: вхожу, а он, весь трясясь, выгребает ее пальцами из баночки и жрет.

— На днях один из жильцов нашего дома пошел к своему соседу узнать, который час. Постучавшись, отворил к нему дверь и встретился с ним лицом к лицу — тот стоял в дверях. «Скажите, пожалуйста, который час?» Молчит, только как-то странно ухмыляется. Спросил опять — опять молчит. Хлопнул дверью и ушел. Что же оказалось? Сосед стоял, чуть касаясь ногами пола, в петле: вбил железный костыль в притолоку, захлестнул бечевку... Прибежали прочие жильцы, сняли его, положили на пол. В окаменевшей руке была зажата записка: «Царствию Ленина не будет конца».

— Из нашей деревни некоторые переселяются в Москву. Приехала Наталья Пальчикова со всеми своими ведрами, ушатами. Приехала «совсем»: в деревне, говорит, жить никак нельзя, и больше всего от молодых ребят: «настоящие разбойники, живорезы». Приехала Машка, — помнишь девку из двора Федьки Рыжего? У нас объявлен к выходу самоедский словарь, скоро будут выходить «Татарские классики», но железнодорожное сообщение адское. Машка на пересадке в Туле неподвижно просидела в ожидании московского поезда на вокзале целых трое суток. Приехала Зинка, дочь васильевского кузнеца. Ехала тоже бесконечно долго, в страшно тесной толпе мужиков. Сидя и не вставая, стерегла свою корзину, перевязанную веревками, на которой сидел ее мальчик, идиот с головой вроде тыквы. В Москве повела его в Художественный театр — смотреть «Синюю птицу»...

— Один наш знакомый, очень известный ученый, потерял недавно рубль и, говорит, не спал всю ночь от горя. Жена его осталась в деревне. Ей дали угол в прихожей за шкапами в их бывшем доме, давно захваченном и населенном мужиками и бабами. На полу грязь, стены ободраны, измазаны клопиной кровью... Каково доживать жизнь, сидя за шкапами!

— Во дворе у нас, в полуподвальной дворницкой, живет какой-то краснолицый старик с серой кудрявой головой, пьяница. Откуда-то оказался у него совсем новый раззолоченный придворный мундир, большой, длинный. Он долго таскал его по двору, по снегу, ходил по квартирам, хотел продать за выпивку, но никто не покупал. Наконец приехал в Москву из деревни его знакомый мужик и купил. «Ничего! — сказал он. —

Этот муидир свои деньги оправдает! В нем пахать, например, самое разлюбезное дело: его ни один дождь не пробьет. Опять же тепел, весь в застежках. Ему сносу не будет!»

— Стали появляться в Москве и другие наши земляки. На днях явился наш бывший садовник: приехал, говорит, «повидаться со своим барином», то есть со мной. Я его даже не узнал сразу: за то время, что мы не виделись, рыжий сорокалетний мужик, умный, бодрый, опрятный, превратился в дряхлого старика с бледной от седины бородой, с желтым и опухшим от голода лицом. Все плакал, жаловался на свою тяжкую жизнь, просил устроить его где-нибудь на место, совершенно не понимая, кто я такой теперь. Я собрал ему по знакомым кое-какого тряпья, дал на обратную дорогу несколько рублей. Он, дрожа, пихал это тряпье в свой нищенский мешок, со слезами бормотал: «Теперь я и доеду и хлебушка куплю!» Под вечер ушел с этим мешком на вокзал, на прощанье поймал и несколько раз поцеловал мне руку холодными, мокрыми губами и усами.

— Я был на одном собрании молодых московских писателей. В комнате холод, освещение как на глухом полустанке, все курят и лихо харкают на пол. О вас, писателях-эмигрантах, отзывались так: «Гнилые европейцы! Живые мертвецы!»

— Писатель Малашкин, шестипалый, мещанин из Ефремовского уезда. Говорит: «Я новый ромэн кончил. Двадцать восемь листов. Написано стихийно, темпераментно!»

— Писатель Романов — мещанин из Белевского уезда. Желтоволосый, с остренькой бородкой. Пальто «клёш», черные лайковые перчатки, застегнутые на все пуговицы, лакированная трость, «артистическая» изломанная шляпа. Самомнение адское, замыслы грандиозные: «Пишу трилогию «Русь», листов сто будет!» К Европе относится брезгливо: «Не поеду, скучно там...» Писатель Леонов, гостивший у Горького за границей, тоже скучал, все говорил: «Гармонь бы мне...»

— Помнишь Варю Б.? Она живет теперь в Васильевском, «квартирует» в избе Красовых, метет и убирает церковь, тем и зарабатывает кусок хлеба. Одевается как баба, носит лапти. Мужики говорят: «Прибилась к церкви. Кто ж ее теперь замуж возьмет? Ведь какая барышня прежде была, а теперь драная, одни зубы. Стара, как смерть».

В деревне за городом Ефремовом Тульской губернии, в мужицкой полуразрушенной избе, доживал в это время свои последние дни мой старший брат Евгений Алексеевич Бунин. Когда-то у него было небольшое имение, которое он после мужицких бунтов в 1905 г. вынужден был продать и купить в Ефремове небольшую усадьбу, дом и сад. И вот стали доходить ко мне в Париж сведения и о нем:

— Ты, вероятно, не знаешь, что Евгения Алексеевича выгнали из его дома в Ефремове, теперь он живет в деревне под городом, в мужицкой избе с провалившейся крышей. Зимой изба тонет в сугробах, в щели гнилых стен несет з метель снегом... Живет тем, что пишет портреты. Недавно написал за пуд гнилой муки портрет Васьки Жохова, бывшего звонаря и босяка. Васька заставил изобразить себя в цилиндре и во фраке, — фрак и цилиндр достались ему при грабеже имения ваших родственников Трухачевских, — и в плисовых шароварах. По плечам, по фраку военные ремни с кольцами...

Прочитав это, я опять невольно вспомнил поэта Блока, его чрезвычайно поэтические строки относительно какой-то мистической метели:

«Едва моя невеста стала моей женой, как лиловые миры первой революции захватили нас и вовлекли в водоворот. Я, первый, так давно хотевший гибели, вовлекся в серый пурпур серебряной Звезды, в перламутр и аметист метели. За миновавшей метелью открылась железная пустота дня, грозившая новой вьюгой. Теперь опять налетевший шквал — цвета и запаха определить не могу».

Этот шквал и был февральской революцией, и тут для него определились наконец цвет и запах «шквала».

Тут он написал однажды стишки о фраке:

> Древний образ в черной раме,
> Перед ней подлец во фраке.
> В лентах, в звездах, в орденах...

Когда «шквал» пришел, фрак достался Ваське Жохову, изображенному моим братом не только во фраке, но и в военных ремнях с кольцами: лент, звезд, орденов Васька тогда еще не имел. Перечитывая письмо племянника, хорошо представляя себе эту сгнившую, с провалившейся крышей избу, в которой жил Евгений Алексеевич, в щели которой несло в метель снегом, вспомнил я и перламутр и аметист столь великолепной в своей поэтичности блоковской «метели». За гораздо более простую ефремовскую метель и за портреты Васек Жоховых Евгений Алексеевич поплатился жизнью: пошел однажды за чем-то — верно, за гнилой мукой какого-нибудь другого Васьки — в город, в Ефремов, упал по дороге и отдал душу Богу. А другой мой старший брат, Юлий Алексеевич, умер в Москве: нищий, изголодавшийся, едва живой телесно и душевно от «цвета и запаха нового шквала», помещен был в какую-то богадельню «для престарелых интеллигентных тружеников», прилег однажды вздремнуть на свою койку и больше уже не встал. А наша сестра Марья Алексеевна умерла при большевиках от нищеты и чахотки в Ростове-на-Дону...

Приходили ко мне сведения и о Васильевском:

— Я недавно был в Васильевском. Был в доме, где ты когда-то жил и писал: дом, конечно, населен, как и всюду, мужицкими семьями, жизнь в нем теперь вполне дикарская, первобытная, грязь не хуже, чем на скотном дворе. Во всех комнатах на полу гниющая солома, на которой спят, попоны, сальные подушки, горшки, корыта, сор и мириады блох...

А затем пришло уже такое сообщение:

— Васильевское и все соседние усадьбы исчезли с лица земли. В Васильевском нет уже ни дома, ни сада, ни одной липы главной аллеи, ни столетних берез на валах, ни твоего любимого старого клена...

«Вронский действует быстро, натиском, заманивает девиц, втирается в знакомство к Каренину, нагло преследует его жену и, наконец, достигает своей цели. Анна, которую автор с таким блеском выводит на сцену — как она умеет одеваться, как страстно увлекается «изяществом» Вронского, как нагло и мило обманывает мужа, — Анна падает как весьма ординарная, пошлая женщина, без надобности, утешая себя тем, что теперь оба довольны — и муж, и любовник, ибо обоим она служит своим телом, «изящным, культурным» телом... Граф Толстой обольстительно рисует пошловатый мир Вронского и Анны... А ведь граф Толстой даровитый писатель...»

Что это такое? Это пример того, до чего договариваются некоторые в предреволюционные и революционные времена. В шестидесятых годах да и в семидесятых не одни болван, ненавидевший «фрак», тоже договаривался до чудовищных нелепостей. Но был ли болваном тот, чьи строки я только что привел? Строки, которые мог написать лишь самый отчаянный болван, негодяй и лжец, которого мало было повесить на первой осине даже за одни только каверзные кавычки в этих строках? Это писал совсем не болван, это писал Алексей Сергеевич Суворин, ставший впоследствии столь известным, писал в семидесятых годах. Ведь даже злейшие враги считали его впоследствии большим умом, большим талантом. А Чехов писал ему о его литературном вкусе даже восторженно:

«У вас вкус литературный — превосходный, я верю ему как тому, что в небесах есть солнце».

Из нашей почты

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга жителей сел Малокурильское, Крабозаводское о. Шикотан

Мы, жители о. Шикотан, считаем, что последние полтора года ведется явная подготовка передачи Южных Курил Японии. Голос курильчан в защиту своих интересов, интересов страны не слышен. Центральной прессой, телевидением рекламируются лишь идеи народных депутатов Ельцина, Афанасьева, Гулия... Японцы под реваншистские лозунги, аккомпанемент российских адвокатов, при бессилии пограничников, практически заняты грабежом шельфа Курил.

За спиной курильчан решается ВСЕ—где и сколько ловить рыбы, ее цена; будем мы жить в бараках или в нормальных человеческих условиях. Теперь наших детей и внуков хотят лишить РОДИНЫ, а нас — будущего! Мы требуем неукоснительного исполнения Конституции СССР и Закона о границе!

Судьба Южных Курил — наша судьба, и решать ее должны мы сами!

НЕТ — 35 тысячам беженцев с Южных Курил!

Курилы были, есть и должны быть российскими!

Избиратели о. Шикотан выражают недоверие народному депутату Гулию и требуют его отзыва.

Жители о. Шикотан приглашают Президента СССР М. С. Горбачева посетить Южные Курилы.

По поручению участников митингов (более 780 человек)

**председатель историко-патриотического общества В. В. НАУМОВ,
секретарь И. М. ФИШЕЛЕВ.**

ОККУПАНТ?

В 1939 году я окончил 10 классов, поступил в институт и... вместо учебы — армия.

И нужно было пройти с того времени половине века, чтобы в результате стараний ребят из «Взгляда» и «команды» Виталия Коротича мне стало известно, что я — оккупант.

А вообще-то, если учесть почти научные изыскания их высоких идеологов и покровителей, получается, что я даже дважды оккупант!

Одним объектом оккупации названа Бессарабия, вторым — Литва. Я же пребывал в заблуждении, считая себя освободителем.

28 июня 1940 года в районе Бендер меня ввели в заблуждение встречающие нас с радостью восторженные толпы жителей,

которым, надо полагать, не нравилось, что их территория с 1918 года была оккупирована Румынией.

С августа 1940 года полк, в котором я служил, направили в Литву. И здесь ввела в заблуждение литовская молодежь, с которой приходилось часто встречаться.

Волейбольную и баскетбольную команды нашего 110-го артполка попросили выступать за клубную команду «Динамо» города Вильнюс (тогда Вильно). В поездках на игры много общались с гражданским населением, ходили свободно, без опаски, в любое время. Ведь «Взгляда» тогда еще не было, и радетели разных рангов в Литву еще не приезжали, так что «непросвещенные» литовцы видели в нас освободителей (с нашим приходом Вильнюс и прилегающие к нему территории были возвращены Литве).

Ну, а если серьезно? На фронте я был с первой минуты до Победы, и за все это время даже во вражеских воззваниях — устных и письменных — не встречал презрительных, оскорбительных обращений ни в адрес Красной Армии, ни в адрес русского народа. Злобные воззвания были, но чаще в духе «увещевания», старающиеся вбить клин на идеологической почве. Однако все это было бесполезно. Для русского народа, да и для всех народов страны, война, как и в 1812 году, была поистине священной.

Но то, что не допускал враг, в какой-то мере преклоняясь перед самоотверженностью и воинскими достоинствами противника, с лихвой восполнили... не знаю, как их именовать.

Физиономии ребят из «Взгляда» или слащаво улыбающийся Коротич у меня не вызывают чувства гнева. Наверное, гнев — это достаточно высокое чувство. У меня же в данном случае, как и во всех подобных, возникает чувство гадливости. Впрочем, это моя личная реакция.

Но ведь должны же быть государственные гарантии защиты от глумления над святынями народными!

Р. БУЙГЛИШВИЛИ.

Нижний Тагил.

ТОЛЬКО ПАМЯТЬ ОДНА И ОСТАЛАСЬ

Живя далеко от Родины, мы, русские люди, все время думаем о событиях, которые происходят на нашей земле.

Я внучка известного в свое время профессора ботаника Бахтина Вениамина Сергеевича.

Мой дед был арестован 21 апреля 1933 года и только посмертно реабилитирован 21 февраля 1958 года. Умер он в тюрьме 17 сентября 1941 года в Томской области. Эти сведения нам дали после его реабилитации.

Мой дед внес большой вклад в науку, но, как видно, русские умы мешали Ленину, Сталину, Кагановичу и им подобным...

Устроив погром, отняв у помещиков земли и хозяйства, уничтожив их как «класс», они приступили к уничтожению русской интеллигенции.

Мой дед Бахтин В. С., Наумов Николай Александрович и Ячевский Артур Артурович были создателями института ВИЗР, все трое были арестованы.

Вавилов пришел в институт лишь в 1936 г. (а в 40-м и его забрали, несмотря на то, что он был назначен Сталиным). Целых три года (1933—1936) ВИЗР почти не существовал. Это ли не вредительство!

Искусственный голод и смерть — вот что дала нам советская власть. Однако, сгоняя русских с земли, советская власть другой рукой раздавала эту землю.

В середине 20—30-х годов земля русская раздавалась еврейским семьям, которые и малейшего представления не имели о сельском хозяйстве.

Вот что пишет Марк Поповский в своей книге «Три жизни доктора Хавкина»: «...советская власть охотно и совершенно безвозмездно предоставляет каждой еврейской семье кусок земли стоимостью 8.000 рублей. Советские власти относились к этим проектам в те годы доброжелательно, ведь ЕКО (еврейское колонизационное общество) и американская организация «Джойнт», действовавшая в том же направлении, были источниками валюты. Советы даже стали выделять согласным осесть на землю евреям по 15 десятин (16 1/3) гектара на семью. О размахе развернувшейся в ту пору акции «оземления» говорит уже тот факт, что «Джойнт» в 1921—1924 годах израсходовала на помощь российским евреям 24,5 миллиона долларов. Позднее, опять-таки по согласию с советскими властями, интересы «Джойнта» представляла в СССР организация «Агро-Джойнт», снабжавшая евреев-поселян жильем, семенами и сельскохозяйственной техникой. К 1926 году с помощью западных филантропов при поддержке (значительно более скромной) советской власти из городов в земледельческие поселки перебралось почти 77 тысяч евреев. К 1929 году число их удвоилось. О еврейской сельскохозяйственной колонизации в первом издании Большой советской энциклопедии говорилось, что она «сильно возрастала в последние годы в результате активной помощи по предоставлению трудящимся евреям земли в разных районах».

Поповский, конечно, пишет с еврейской точки зрения г. Хавкина, но тем самым обнажает многие факты и настроения.

Между тем сами «великие деятели» постоянно ездили в немецкие санатории для поправки своего здоровья, а также в Италию, Францию, Швейцарию и т. д.

Русские же люди для «поправки своего здоровья» отправлялись в тюрьмы или сразу расстреливались, чтобы уже никогда «не поправиться».

Возвращаясь к моей семье, скажу, что другой мой дед (со стороны бабушки) Бибиков Алексей Алексеевич, дворянин, помещик Калужской и Самарской губерний, был близким другом Л. Н. Толстого, хотел преобразовать Самару в культурный центр. Он построил там два кинотеатра, библиотеку, собор (его рушили 6 лет!), а также известную на всю Россию кумысную лечебницу.

Вот вкратце мои корни, которые были обрублены чужими людьми и затеряны. Только Память одна и осталась.

Так тяжело сознавать, что когда-то богатая, хлебосольная, златоглавая Россия за 73 года советской власти превращена в голодную, обывательскую страну.

73 года бесконечной лжи, страха за свою жизнь, за жизнь своих детей. Вот что дала нам советская власть.

Запасы старой России иссякли, иссякло и терпение русского народа.

Давайте смотреть правде в глаза: Россию нужно начинать строить заново.

Если мы будем надеяться на «доброго» американского дядюшку, то, поверьте, придется дорого поплатиться за это. Всякая помощь может обойтись «боком» для русских. Сейчас «добрые дяди» полны «ценных идей», в основном сводящихся к тому, что можно получить от русских.

Обо всем этом можно долго говорить, но, думаю, уместнее привести слова философа и провидца В. В. Розанова, написанные им накануне Пасхи, в апреле 1918 г. Его статья «С Печальным Праздником» — это не только трагическая «констатация» результатов событий 1917—1918 годов, но и грозное предупреждение нам, сегодняшим, рискующим вновь превратиться в «толчею «общественных элементов»... не руководимых национальным интересом»:

«Утописты-мечтатели, понятия не имеющие и никогда не имевшие о русском народе, вообразили, что за одно послушание золотых речей их народ этот отдаст и красное яичко в Христово Воскресение и братское целование при встрече друг с другом, — даже отдаленно знающих один другого людей, — и всю великую обрядность и наряд церковный и народный.

Народ послушался было их на несколько месяцев, но уже теперь испытывает в тяжелых воздыханиях, что значит променять родную историю, скованную в груди этого самого народа, на клубную болтовню разных заезжих людей и туземных господ, подражавших этим заезжим людям. Прошло всего 14 месяцев, и Россия испытала такой погром и разгром самое себя, перед которым бледнеют все бедствия, вынесенные нами в нашей многотрудной и терпеливой истории.

Воистину, нет сил больше терпеть и переносить. Ни татарское жестокое нашествие, ни вхождение в Россию Наполеона, ни Крым и Севастополь, ни половцы и печенеги не вносили в Россию и малой доли того крушения сил ее, какое внесли эти всего 14 месяцев. Буквально, мы стоим как бы при начале русской истории, буквально — русская история как бы еще и не начиналась. Приходится опять заводить все сначала, приходится тысячелетнего старца сажать за азбуку, как младенца, и выучивать первым складам политической азбуки.

Ни о каком красном звоне, ни о каком ВОСКРЕСНОМ событии не может идти речи в теперешнем населении России, которое забыло свою историю и веру, им же самим, этим населением, возделанную.

Виноградарь сам вырвал лозу, им когда-то посаженную, и пахарь затоптал поле, им вспаханное. Все это под трезвон разглагольствований, в котором была бездна злобы и не было никакого смысла. Кому-то понадобилось возбудить эту злобу, — кому-то понадобилось затемнить этот смысл.

Понадобилось призвать русских людей друг на друга, возбудить сословную или так называемую «классовую рознь», хотя с чужого голоса русские люди впервые выучились или, вернее, начали выучиваться произносить слово «класс». Как будто князья русские не на тех же ворогов вели Русь, на которых шли и простые ратники, вчерашние хлеборобы; как будто вообще «езда» не состоит из ямщика, коней и саней...

Но кому-то понадобилось распрячь русские сани, и кто-то устремил коня на ямщика, с криком — «Затопчи его!», ямщика на лошадь, со словами — «Захлещи ее!», и поставили в сарай сани, сделав невозможною «езду».

Кому-то понадобилось приостановить русское движение, кто-то явно испугался его и начал нашептывать ядовитые шепоты о классовой розни. Кто-то давно начал мутить и возмущать Русь. Не «классовые интересы» занимали этого врага Руси. Ему нужно было ослабить всю Русь.

И вот Русь повалилась и развалилась, как глина в мокрую погоду.

Еще вернее будет сравнение, если мы скажем, что она развалилась под идущим железнодорожным поездом.

Со временем история разберет и укажет здесь виновных. Хотя и теперь уже очевидно, что в Государственной думе четырех созывов не было с самого же начала ровно ничего ГОСУДАРСТВЕННОГО; у ней не было самой заботы о Государственном и Государевом деле, и она только как кокотка придумывала себе разные названия или прозвища, вроде «думы народного гнева» и тому подобное. Никогда, ни разу в Думе не проявлялось ни единства, ни творчества, ни одушевления. Она всегда была бесталанною и безгосударственною Думою.

Сам высокий титул — «Думы» — к ней вовсе не шел и ею вовсе не оправдался. Ибо в ней было что угодно другое — кроме «думанья». Образование так называемого «прогрессивного блока» в ней было крушение последних ГОСУДАРСТВЕННЫХ надежд на нее.

Все партии соединились — даже и националисты, даже и правые, чтобы ОБЕЗГОСУДАРИТЬ Россию, сделать из нее толчею так называемых «общественных элементов» или общественных сил, не руководимых более одною государственною силою и национальным интересом. <...>

Россия обезгосударилась, но и вышло кое-что непредвиденное: она перестала кому бы то ни было и чему бы то ни было повиноваться. Она начала просто распадаться, деформироваться, переходить в состояние первобытности и дикости <...>

Россию нужно строить сначала, моля Бога об одном, чтобы это была летаргия, а не смерть. <...>

Нина БАХТИНА.

Нью-Йорк.

От редакции

ПОЭТЫ — НЕ ПЕШКИ В ЛИТЕРАТУРНОЙ ИГРЕ

С грустью наблюдаешь, как замечательный византолог С. С. Аверинцев пытается включиться в сегодняшние литературные игры. «...Сколько сотрудников «Нашего современника» ни разобьются в лепешку, — Пастернак и Мандельштам останутся великими (русскими поэтами. — А. К.)», — заявил он в «Литературной газете» (№ 44, 1990).

Если уж Сергей Сергеевич удостоил вниманием критику нашего журнала, ему должно быть известно, что главный редактор «Нашего современника» не раз писал на его страницах именно о названных поэтах — с неизменной уважительностью. Даже в предвыборном выступлении С. Куняева, напечатанном в газете «Советская Россия» (23.02.1990), цитировались строки Б. Пастернака. О Пастернаке и Мандельштаме — именно как о поэтах, в судьбе и творчестве которых отразились важнейшие события XX века, — писал заместитель главного редактора А. Казинцев. Причем еще в начале восьмидесятых, когда подобный взгляд вызывал сопротивление чиновников от литературы. В том же духе не раз высказывались постоянные авторы журнала — В. Кожинов, В. Бондаренко и др.

Впрочем, можно допустить, что напряженная общественная деятельность С. Аверинцева (недавно он вступил в «Антифашистский комитет», который на фоне межнациональных конфликтов в Молдове, Средней Азии и Закавказье пытается отыскать ростки антисемитизма) не оставляет времени для чтения. Хотя в таком случае научная добросовестность должна была бы удержать ученого от безосновательных утверждений.

Можно было бы и не реагировать на неудачный публицистический ход маститого ученого, если бы он не отражал определенную тенденцию. Не раз, устно и письменно, нас обвиняли в недооценке творчества О. Мандельштама и В. Пастернака. Похоже, оппоненты и не считают нужным заглядывать в наш журнал. Достаточно того, что у него «р у с о ф и л ь с к а я» репутация. А раз так, то он, его литературная позиция «по определению» противопоставляется позиции Пастернака и Мандельштама как представителей иной культуры.

Какой же? В Америке и в Израиле противопоставление доводят до логического конца. Творчество названных поэтов рассматривают вне русской литературной традиции, их книги занимают место в экспозициях израильской литературы.

В нашей стране, к счастью, до такой крайности дело не доходит. Как будто даже напротив—требуют признать этих авторов выдающимися русскими поэтами. Оставим в стороне некоторую наивность, если не сказать больше, требований — поэты не «назначаются» великими, тут слово за историей литературы. Но вот что важно принципиально — действительно ли те, кто так подчеркнуто печется о реноме Пастернака и Мандельштама, стремятся выявить их связь с русским народом, его культурой, идеалами, нравственными ценностями. Здесь и впрямь ключевой вопрос, ведь сегодня как никогда важен творческий пример этих замечательных поэтов, с «обожаньем» писавших о русском народе, видевших в России не «тысячелетнюю рабу», а воплощение свободы человеческого духа.

Эти актуальнейшие вопросы неизменно выпадают из поля зрения исследователей Пастернака и Мандельштама. Более того, когда они были рассмотрены в статье А. Казинцева «Путь» («Москва», № 2, 1990), элитарная критика предпочла не заметить поднятые проблемы. И это естественно, ибо Пастернак и Мандельштам яростно боролись с элитарностью в искусстве и жизни. Как сокрушительна их критика всякого рода претензий на исключительность, избранность, как поучительно восторженное и бережное внимание к «простому народу»!

Борис Пастернак и Осип Мандельштам с гордостью называли себя русскими поэтами. И недостойно в пропагандистских целях противопоставлять их журналу писателей России.

Поправка

В статье М. Коврова «Единственный театр, который я люблю» (№ 7) допущена ошибка: строчки А. Вознесенского «Уберите Ленина с денег! Он для сердца и для знамен» приписаны Е. Евтушенко (Е. А. Евтушенко является автором другого эпохального стихотворения «Считайте меня коммунистом».)

Редакция и автор статьи считают, что ошибка произошла из-за сходства идеологической лексики, свойственной обоим поэтам, крупным идеологам своей эпохи, долгие годы создававшим «религиозный» культ «вождя всемирного пролетариата», и приносят пострадавшим свои извинения.



В этом номере
мы знакомим читателя
с работами
заслуженного
художника РСФСР
Петра ЧУСОВИТИНА.
Беседу с ним
читайте
в ближайших номерах

1. "Бесы"

2. "Балда и чёрт".

